

# ГРАНИ

GRANI

# 164

# 1992

Verlagsort: Frankfurt/M., April-Juni

## "ГРАНИ"

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической жизни. Проза, поэзия, очерки современности, философия, публицистика, литературная критика и пр.

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества; способствовать публикации произведений, которые не могут быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. Из широко известных авторов в "Граних" были опубликованы произведения:

А. Ахматовой, Л. Бородина, М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова, В. Войновича, З. Гиппиус, В. Гроссмана, Ю. Домбровского, Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина, Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна, С. Левицкого, Н. Лосского, В. Максимова, О. Мандельштама, В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы, Б. Пастернака, К. Паустовского, А. Платонова, Г. Подъяпольского, Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова, А. Солженицына, В. Солоухина, М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина...



МОСКВА  
«ТЕППА» - «TERRA»  
1992

Журнал основан в 1946 году  
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947-1952 Е. Р. Романов

1952-1955 Л. Д. Ржевский

1955-1961 Е. Р. Романов

1962-1982 Н. Б. Тарасова

1982-1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984-1986 Г. Н. Владимов

Главный редактор  
Е. А. Самсонова-Брейтбарт



# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

---

Год XLVII

№ 164

1992

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Андрей БОГОСЛОВСКИЙ Перекати-поле. Глава из романа	5
Любовь ТУРБИНА Кто обживал своим теплом... Стихи	93
Мария СОЛОВЬЕВА Черная радуга. Рассказ и стихи	98
Алексей СМИРНОВ Перо. Рассказ	113
Леонид КУЗНЕЦОВ. В тихий час осеннего заката... Стихи	135
Евгения ПАВЛОВСКАЯ Поганый садик. Два рассказа	140
Виталий БЕСЕДИН Стихи	150

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Юрий ЛИННИК Его судьба – песочные часы. Поэзия Игоря Чиннова	151
--	-----

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Вадим САПОВ За строкой приговора. Документальная хроника	177
---	-----

## ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

- Сергей ЛАРИОНОВ**  
**Разбудите спящих** 238

## ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

- В. Ю. СОФРОНОВ**  
**Когда наследство не в радость** 281

## ПУБЛИЦИСТИКА

- Борис ГАБЕ**  
**Письмо многоуважаемым коллегам** 292

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- Галина ЧИСТЯКОВА**  
**Авось и повезет**  
*(Юлий Ким. Летучий ковер. М., 1990)* 307

- Изнутри и снаружи**  
*(А. Караулов. Вокруг Кремля. М., 1991)* 312

- Валерий ПЕТРОЧЕНКОВ**  
**Имеющий быть одиноким**  
*(Григорий Марк. Гравер. США, 1991)* 317

- КОРОТКО ОБ АВТОРАХ** 318

*Обложка работы художника Н. Мишаткина*

© 1992 Possev-Verlag, V. Gorachek KG  
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt am Main 80  
West Germany

Андрей БОГОСЛОВСКИЙ

## Перекаати-поле\*

### 1

И сколько же раз повторялась вся эта дорожная, железная карусель!

С детства раннего Сергей запомнил...

Утро, даже не утро еще, полусветок, только-только солнце всходит. Они с отцом едут в Польшинск. Он просыпается на верхней полке, любопытство пересиливает, и он, отодвинув занавеску, выглядывает в окно. Станция. Что-то звеняще-вякающе гундосит вокзальное радио. Платформа пуста. Все какое-то очень серое, раннее. Из вяканья радио всё же узнается, что это Курск. За окном проходит железнодорожник в фуражке. Лицо у него невыспавшееся, бледное, с седой щетиной. В руках молоток на длинной палке. Пройдя немного подалее, он наклоняется, бьет молотком по колесам, и слышатся металлические удары. К противоположному краю подходит поезд "Ростов н/Д - Москва", запыленный и спящий. Ни одного лица не видно в окнах, лишь смятая белизна занавесок. И тут же по их составу проходит судорога и поезд медленно трогается.

И опять стучат колеса, опять плывут за окном дорожные картины. Он свешивается с полки и

---

\* Глава из одноименного романа.

смотрит вниз. Спит, покачиваясь, его отец, спят попутчики. Лежат на столике газетные свертки с едой. Все еще спит... Он забирается под одеяло. Ему тепло и хорошо, они едут в Полыnsk. Сергею шесть лет.

А карусель дорожная продолжалась. И сколько же раз в жизни это повторялось?.. Утро, вагон просыпается. У туалетов очереди. Пахнет земляничным мылом и кислым угольком от титана с кипятком. Он стоит в коридоре и курит. Многие тоже стоят и курят, с переброшенными через шею вафельными полотенцами – ждут очереди в туалет. Обязательно шныряют дети и неуклюже ходят полные мамы с золотыми зубами, в цветастых ситцевых халатах. Мужчины одеты в синие тренировочные брюки с пузырями на коленях и висящими задками и в белые майки. Рядом бреется вслепую военный электробритвой "Харьков" и делает это он так яростно, что на него боязно смотреть. Полосатая дорожка на полу коридора сбилась на сторону и на коричневом линолеуме видны мокрые следы. Во всю орет поездное радио – народные инструменты. Проводники разносят по купе чай, – он светложелтый и на вкус очень пыльный и железный. А за окном серо, сыплет мелкий дождик. Запыленные стекла окон все в хрустальных трещинах дождевых струй. Там всё то же: сивые луга, изрытые колеями проселки, кучки деревьев, уныло нахохлившихся под огромным, свинцовым небом. Под стрекот балалаек и домр, под разливы баянов тянутся за окном пригорки, кусты, слагбаумы, насыпи, далекие села. Мелькнет на широком фоне полей одинокий велосипедист, мелькнут ремонтные рабочие, сплошь бабы, в оранжевых жилетах, мелькнет стая мальчишек с удочками. Мальчишки белобрысые, стриженные, босые, в закатанных штанах и линялых майках. Плывет за окном Россия... И есть ощу-

щение, что никогда не кончится это, что это было и будет вечно. Вот ведь тридцать с лишним лет Сергей это сознательно наблюдал и ничего не менялось. А любит ли он эти картины, эти сгустки бытия Родины, схваченные дорогой, — неизвестно.

Нынешняя поездка в Полыnsk была несколько необычной. Впервые Сергей выступал в ней в роли гида или, как называл его дядюшка: "мой чичероне". Как ни куражился Иван Иванович, заявляя, что в Советском Союзе его ничего не интересует, однако после разговора с братом он вдруг возгорелся страстной идеей посетить то место, где впервые увидел свет, а именно Полыnsk. Брат и племянник долго отговаривали его от этого, приводя в пример сложности дороги, резкий перепад давления и температуры по сравнению с Москвой, его больное сердце, но Иван Иванович был непреклонен.

— О, Бог мой, как вы не хотите понять! — говорил он, разгуливая по комнате на шарнирно дергающихся ногах. — Каждый человек должен знать то место, где его родила матушка. Ежели он не знает, то кто ж он получается. Монстр какой-нибудь, без роду без племени.

— Ваня, это полтора суток поездом по жаре! — восклицал Дмитрий Иванович. — Кроме того, там всё разительным образом изменилось, ни мельницы нет, ни ссыпки нашей. Даже дома нашего не осталось. Да ведь ты и не помнишь ничего, пять лет тебе и было только, когда мы уехали из Полынска.

— Иван Иванович, я, как врач, решительно не советую вам ехать, — монотонно твердил Сергей. Ему не хотелось ехать в Полыnsk, брать отпуск за свой счет и возиться с престарелым дядей, да и работы в больнице было много. — Вы сами рассказывали, что врачи в Париже не рекомендовали вам менять климатические зоны. Уже одна поездка в

Москву наверняка сказала на вашем сердце, а тут и еще одна поездка. С Кавказом шутки плохи, там уже и в мае жара чуть не до сорока может дойти.

— Ну и отлично, ну и отлично! — скалил зубы Иван Иванович и всё мерял шагами комнату в непонятном волнении. — Я жару переношу в порядке вещей. Это здесь ни к чему. Главное — моральная сторона, друзья мои. Я клянусь вам, что вернусь оттуда совершенным юношей, — и дядюшка застенчиво хихикал.

Пришлось Дмитрию Ивановичу, тяжело вздыхая и почесывая седой пух на затылке, садиться к телефону. Через Союз писателей он с трудом выбил купе в "СВ", ибо везти заграничного брата классом ниже было бы просто негостеприимным. Потом списывались с дальними родственниками Кубышкиными, выясняя что и как. Выяснилось же, что гостиницу все никак не достроят, а в Доме колхозника сплошные клопы и тараканы. Впрочем, Кубышкины охотно пригласили Сергея и Ивана Ивановича пожить у них, место, мол, есть. Потом возили Ивана Ивановича во французское консульство для улаживания каких-то формальностей.

Вечер накануне отъезда Иван Иванович посвятил сбору чемодана. Он решил взять с собой лишь один чемодан, самый вместительный. Дмитрий Иванович с удивлением смотрел, как брат укладывает в чемодан рубашки, костюмы, галстуки, белье, обувь, туалетные принадлежности и делает это с такой аккуратностью и расчетливостью, каким похвастовалась бы самая педантичная женщина.

— Ну ты, Ваня, прямо аккуратист, — сказал он, покачивая головой. — Я обычно все до кучи сваливал. С Любашей у нас всегда схватки были из-за этого.

— Видишь ли, мне много приходилось ездить и потому появилась такая привычка, — нравоучи-

тельно объяснил Иван Иванович. — Кроме того, вещи у меня всегда хорошие, дорогие и если их бросать каждый раз, они быстро испортятся, а так они живут долго. И просто я не люблю, чтобы все валялось, во всем нужен порядок.

И как ни хорохорился Иван Иванович, а ночью спал плохо, прислушивался к тиканью часов, шарил глазами по темной комнате, пил воду. Предстоящая поездка его волновала, он ждал от нее чего-то значительного и боялся обмануться в своих ожиданиях.

Наконец час отъезда настал. На Курский вокзал дядю с племянником провожали Дмитрий Иванович и Надежда, которая напекла им на дорогу пирожков, напасла каких-то сухих колбас и консервов. Когда они стали было возражать, она отменяла все их возражения резким жестом руки и словами:

— Ладно, ладно, еще неизвестно, как там со снабжением. В любом случае пригодится.

И вот поплыли привычные дорожные картины... Часов в десять они поужинали холодными котлетами, яйцами, пирожками и малосольными огурцами, которые заготовили дома, и выпили чаю, такого же железистого и пыльного на вкус, каким он был в детстве Сергея. Потом Сергей залез на верхнюю полку и погрузился в детектив, сунутый ему Надеждой, потом стал вспоминать самую Надежду и впервые подумал со времени их разрыва, что они поторопились с разводом и всё еще можно было склеить.

Иван Иванович же просматривал журнал "Жур де Франс", который ему дали в консульстве. Он даже посмеялся, настолько этот журнал показался ему чужим после двух недель, проведенных в Москве, а ведь мир, представленный этим журналом, был его настоящим миром. Он нетерпеливо проли-

стнул рекламу, встречи президента, программы сенаторов, пролистнул яркие страницы домов мод и фыркнул на светской хронике Эдгара Шнайдера. Шнайдера, как бывший светский хроникер, он презирал. Шнайдер писал куцо и отвратительно, но зато всё время позировал на фотографиях среди виконтов, баронесс и звезд эстрады на фоне Альп, Довиля или в ночных кабаре.

Наступила ночь, и они погасили свет. Стучали колеса. Ранним утром Сергей проснулся оттого, что состав стоял. Это был Курск. Платформа была серой. Железнодорожник в фуражке и с молотком на длинной палке о чем-то беззвучно говорил с проводницей их вагона. Внизу, свернувшись калачиком, посапывал во сне дядюшка. Поблескивал его лысый череп. "Нет, почти ничего не меняется, — подумал Сергей. — Или мы меняемся вместе с жизнью и потому не замечаем этих перемен, как не замечаем старения людей, с которыми живем рядом".

## 2

Утром доедали уже пахнущие прелью котлеты и подернувшиеся белесой пленочкой огурцы с черствыми пирожками. Иван Иванович плотно обосновался в коридоре, курил сигарету за сигаретой и смотрел в окно. Голубой взгляд его приобрел неожиданную цепкость и избирательность и из всего видимого им за окном вагона он выхватывал для памяти какие-то наиболее важные для него моменты и картины. Почему-то очень запомнилась девочка лет десяти, в платочке, сидящая на грядке с капустой у домика путевого обходчика. Поезд шел медленно, и Иван Иванович детально рассмотрел ее уже загорелое, наивное личико и прошептал про себя: "Это мое детство..."



Неожиданно для себя самого он заметил, что уже несколько дней, как думает по-русски. Во Франции, особенно в последние годы, когда почти с русскими не общался, он думал только по-французски и лишь тогда (а было это очень редко), когда приходил в церковь и разговаривал с двумя-тремя знакомыми на родном языке, некоторые мысли у него проскальзывали по-русски. Русских знакомых у него осталось совсем мало и все то были люди старые, давно прекратившие общение, утратившие связи меж собой и вполне офранцузившиеся. Больше всех дружил он с Котей Кривенко, с которым некогда учился в лицее. Котя был владельцем небольшого ресторанчика и тоже женился на француженке, но еще до войны. Вот уж пять лет, как Котя Кривенко умер, схоронили его на Сент-Женевьев де Буа, а на месте его ресторанчика разместился ночной частный клуб "CHARLO". Будучи в Сент-Женевьев де Буа в последний раз четыре года назад в годовщину смерти Коти, Иван Иванович с удивлением и ознобом заметил вдруг, что все знакомые, с которыми, казалось, еще вчера здоровался, что-то обсуждал, давно уже лежат в земле сырой. Он зашел тогда в церковку, поставил свечу Богородице, помолился, как мог, за мать, Котю, за себя, оставил в церковной кружке сто франков и уехал в Париж со смешанными чувствами облегчения и уныния.

Обедать дядя с племянником пошли в вагон-ресторан. Так как пришли они довольно поздно, основной наплыв посетителей уже схлынул, и они вдвоем сели за свободный столик со скатертью, покрытой всевозможными пятнами. В щербатой общепитовской вазочке торчала сухая гвоздика. Толстая, крашеная в рыжий цвет официантка положила перед ними меню. В меню всего и было, что сыр, колбаса копченая, суп-лапша, бифштекс рубленый и чахохбили из кур.

– Пиво есть? – спросил Сергей.

– Было, уже разобрали, – откликнулась официантка сонно. – Ну, чего будете брать?

Они заказали лапшу и чахохбили. Белого хлеба тоже не оказалось, был только черный. Сергей с сомнением поглядел на Ивана Ивановича.

– Ну, дядя, опять будете говорить, что у нас ничего нет?

– Э, друг мой, – улыбнулся Иван Иванович. – Я, кажется, уже привык к тому. Не то плохо, что у вас мало чего есть, а то плохо, что вы, видно, привыкли к этому и вам ничего уже и не нужно. Есть сухой сыр – и хорошо, а не будет, так вы и на домашнем хлебе с огурцамипуститесь в путешествие. В Западной Европе такого быть не может.

– Так уж и не может? У вас все питаются только в ресторанах?

– Ну, наверно, нет, – пожал плечами Иван Иванович. – Но у вас ресторан – это Ресторан! С большой буквы, веселье, музыка... Вы ведь водили меня с Наденькой в "Интурист"... Так сказать, предмет роскоши. А у нас ресторан – это место, где вы можете перекусить в обеденный перерыв. И всегда это будет быстро и вполне съедобно. Кроме того, в маленьком кварталчике у нас ресторанов больше, чем во всей Москве. И поверьте, они не пустуют.

– Правильно говоришь, дед, – вмешался в разговор здоровенный парень, одетый в несвежую голубую рубашку и истертые чуть не до дыр джинсы. Зеленоватые его глаза были полны веселого озорства, татарские скулы туго обтягивала обветренная кожа, а во рту сияло несколько золотых зубов. Вид у него был шальной, приветливый и угрожающий одновременно. Он без спросу сел за их столик, перетаскивая бутылку портвейна и стакан. – Сейчас еще стаканов попросим, – сказал он и представился: – Витек. Витьком меня кличут.

Иван Иванович даже вроде обрадовался появлению нового лица, дружелюбно назвал себя, а Сергей, покоробленный нахальностью парня, лишь угрюмо кивнул.

– Вот верно ты, дед, про Запад заметил, – продолжал парень, разливая вино в принесенные стаканы. – У их там культура, всякое-такое, да? А у нас бутылку раздавить спокойно не дадут.

– А много ты по заграницам ездил? – с усмешкой спросил Сергей.

– Сколько ни ездил – всё мое! – ответил парень задиристо.

– Сережа, дайте человеку сказать, – вмешался Иван Иванович. – А вы, Виктор, вправду, где за границей были?

– Я-то, положим, нигде не был, – сознался, наконец, парень. – Но многие люди, которые там были, рассказывали.

– Где это рассказывали? – настаивал Сергей.

– Где, где... У... – и Виктор мощно выругался, объясняя где именно. – Чего ты клеишься? У хозяина я был, только-только откинулся. – Он ощерил золотые зубы и загадочно произнес: – Я оттуда, где вечно снежные шапки над вулканами!

– На Камчатке, значит, тянул, – покивал Сергей понимающе.

– Не-а, парился я в Кировской, а там на химии был.

– Досрочный? – Сергей глядел на парня с интересом, с каким человек, никогда не бывавший в джунглях, смотрит на знаменитого путешественника.

– Точно, за ударный труд скостили. На свободу с чистой совестью!

– Что, что? – заговорил тут Иван Иванович, ничего не понявший из диалога молодых людей и только крутящий головой от одного к другому. – Я не очень... э-э-э... Объясните мне.

– Виктор сидел в лагере в Кировской области, его досрочно освободили за хорошее поведение и потом он работал на Камчатке, – с расстановкой, словно слабоумному или малому ребенку объяснил Сергей, потихоньку злорадствуя над дядюшкиным непониманием.

– Точно, – подтвердил Виктор и поднял стакан с портвейном. – Вздоргнем! За то, чтоб все умными были и не попадали к хозяину! Мое дело колеса! Меня жизнь ломала, но не согнула, гад буду! – Он залпом выпил, поставил стакан и строго заглянул Ивану Ивановичу в голубые глаза. – Дело такое, батя. В колоде тридцать шесть карт, из них четыре туза, один из них козырный... – Он сделал паузу, а потом яростно рявкнул: – Так вот это не мой!

– Что? – растерянно и даже испуганно спросил порозовевший Иван Иванович.

– Ничего, это Виктор шутит, – сказал Сергей успокаивающе, а сам с тревогой посмотрел на испещренные татуировкой руки их нового знакомого.

– Шучу, – спокойно согласился Витек. – Вы до куда едете?

– В Полыnsk, – пробормотал Иван Иванович, несколько успокаиваясь.

– О! – восхитился Виктор. – И я туда же! К родным, теплым местам. У меня мамахен с сестренкой в Полынске остались, и сам я коренной полынчанин. – Он произнес это так, как если бы по меньшей мере родился в экзотическом Сингапуре или на Таити.

– Так надо отметить ваше возвращение, – разволновался сентиментально Иван Иванович, так, по-видимому, и не поняв, кто перед ним сидит. – Официантка! Официантка! – А когда тяжелая официантка подошла, восторженно сказал: – Принесите нам три коньяка. Только, пожалуйста, французского.

- Нету французского, - мрачно буркнула официантка.

- Почему же нету? - заговорил вдруг Сергей. Ему вновь стало обидно оттого, что действительно - о чем дядюшка ни попросит, - ничего нету.

- А вы когда-нибудь видали, чтоб наши алкаши в поездах французский коньяк пили? - вполне резонно вопросом на вопрос ответила официантка.

- Нет, не видал, - согласился Сергей и засмеялся. - Тогда давайте какой есть.

Коньяк оказался дагестанским.

В купе, укладываясь на полку, чтобы немного отдохнуть после обеда, Иван Иванович проговорил:

- А он милый молодой человек, этот Виктор.

- Очень милый, если не прирежет нас, - откликнулся Сергей, тоже забираясь на свою полку. - Вы что же, дядюшка, не поняли, что он уголовник? Самый настоящий, да, да. - Увидев изменившееся лицо Ивана Ивановича, Сергей продолжал пугать его. - Это он так просто с нами поговорил, прикидывал, а сам наверняка за нами проследил, куда мы идем. Не случайно-то про Полыньск спрашивал, наводил. А вы еще и сами, Иван Иванович, - коньяк, да еще французский! Он и решил, вероятно, что денег у нас куча... Я думаю так, что ночью он нас попытается ограбить... - Сергей свесился с полки и сделал страшные глаза. - А может быть, и зарезать! Я видел - у него из кармана нож выпирал.

Иван Иванович сложил губы трубочкой, страдальческими запятыми вздернул брови и все гладил машинально свой череп.

- Этого не может быть! - прошептал он трагически. - Мы сейчас же должны заявить в криминальную полицию!

- Да будет вам, Иван Иванович, я же пошутил, - улыбнулся Сергей и поудобнее улегся на подушке, доставая из сетки детектив. - Никто нас резать не будет, успокойтесь.

Поезд мчался на юг. Противно звенели ложечки в стаканах, как маленький моторчик трещал металлический ободок сетки, соприкасаясь со стенкой, бухали колеса, всё потрескивало, скрипело, раскачивалось в разные стороны – скорость была велика. Иван Иванович хотел, но не мог заснуть. Было жарко из-за бьющего в окно солнца, а спустить дерматиновую шторку он не догадался. "Действительно, может, мне не стоило ехать", – подумал он, с дрожью вспоминая золотые зубы Витька.

### 3

"Тах! Ба-бах брах-там-там, тух ту-ту-ту-тух!!!" – Иван Иванович проснулся от перестрелки. Он резко поднялся, сел в постели и оглянулся дикими глазами.

Нет, всё было спокойно. Это всего-навсего были выстрелы колес – поезд на стрелке перебегал с пути на путь. Мирно потрескивало купе, все так же звенели ложечки в стаканах. За окном вечерело, и закат над полями был разноцветный, в сотни тонов и оттенков. Иван Иванович привычно помассировал сердце и коротко выдохнул: "Merde!"\*

Просто он увидел сон, бывший некогда явью. В сорок третьем году он отправился из Парижа к Вогезам провести двухнедельный отпуск. Об этом знали все знакомые и соседи, а на самом деле он ехал туда как связной лондонского центра. На явочной квартире в небольшом местечке возле Эпиналь, он должен был передать связному маки пакет. Что было в том пакете Иван не знал, и вообще эта поездка была очень рискованной: с его русской

---

\* Дерьмо (фр.).

фамилией при поимке ему было бы несдобровать. Успехи советских войск на восточном фронте ожесточили немцев, и гестапо заработало, как никогда активно.

Он доехал до Эпиналь на поезде, а потом на автобусе до того местечка, которое ему называли. Он шел беззаботно и грыз кислое яблоко, сорванное по дороге. И когда он уже собирался подойти к двухэтажному, беленькому домику с вывеской "Chez oncle Georges", из-за угла выскочило несколько немецких мотоциклов с колясками, с солдатами в касках и они тотчас открыли по домику огонь из пулеметов и автоматов. Из домика стали отстреливаться. Дробно, сливаясь в кашу, загремели очереди, зазвенело разбитое стекло, от дверей полетели щепки...

Нестеров метнулся за угол и побежал по каменистой улочке куда-то вниз, под гору, навстречу рыжим квадратам виноградников. Больше всего он страшился облавы, уже представляя себе пыточную камеру в гестапо. Никогда, ни до ни после этого случая, он не был так испуган. Очнулся он уже далеко и с удивлением увидел, что до сих пор сжимает в мокрой ладони огрызок яблока... Тогда обошлось. Ему удалось вернуться в Эпиналь, а потом и в Париж, но на всю жизнь запомнил он эти внезапные выстрелы, запомнил свой страх и постепенно всё это перешло в его сны, мучающие его время от времени.

– С добрым утром, Иван Иванович, – сказал Сергей шутливо, свешиваясь с полки. – Как чувствуете себя? Дорогу нормально переносите?

– Совершенно, – с отсутствующим видом откликнулся дядюшка. – Вот только гадкие сны снятся. Отчего бы это, а? Что наука говорит про сны?

Сергей с интересом посмотрел на дядю, ловко спрыгнул с верхней полки и сел рядом с ним, в ногах.

– А наука, насколько я знаю, о снах так ничего толкового сказать и не может. Это как раз один из аспектов науки, – а сновидениями теперь занимаются, – который никаких результатов не дает. Тут океан догадок, Иван Иванович, а точнее – загадок.

– Что у вас за носки такие? – проговорил Иван Иванович строго, скосив глаза на необутые ноги племянника. – Напомните мне в Москве, мы пойдем в вашу "Березку" и купим вам дюжину нормальных носков. Вы же молодой мужчина...

– О, Боже мой! Есть ли предел вашей филантропии! – молитвенно сложив руки, воскликнул Сергей. – Спасибо, спасибо, родной, за ваши прелестные слова! Спасибо за то, что меня, сирого и убогого...

– Не кривляйтесь! – брезгливо отстранил его Иван Иванович. – Я этого не люблю... – Он пожевал губами с резкими складочками у углов. – Так вы говорите, что сны пока не объяснили. Что же, они тогда от Бога?

– Ага, от Бога, – охотно сказал Сергей. – Если так начать мыслить, то всё от Бога: и носки, и паровоз, и сны.

– Но это так и есть! – растерянно воскликнул Иван Иванович. – Хотя вы, конечно, настоящий атеист.

– Я не атеист, я – врач, – уже серьезней сказал Сергей. – Я работаю в отделении экстренной хирургии, мне каждый день приходится сталкиваться с самыми разными человеческими болезнями. Тут и тромбоз, и ножом молодого парня ударили в печень, и острый приступ панкреатита... И ни разу! – он приблизил лицо с пронзительно заблестевшим голубым, нестеровским взглядом, – ни разу я не



видел, чтобы высшие силы вмешались в болезнь, в боль человека и ему помогли. Помогаю я со своим ножом и капельницами. Вот так. И потому разговоры о вмешательстве Божьем мне, простите, не только смешны, но и противны. Вы помираете, а когда я вас спасаю, то начинаются разговоры: вот есть Бог на земле, Он не захотел, мол, моей смерти. А это не Бог, это я вас от смерти спас! – Он вытянул руки и потряс ими, словно желая убедить Ивана Ивановича, что именно этими руками он спасал людей от смерти.

– Но породил-то вас кто?! – выкрикнул Иван Иванович.

– Породили меня мама и папа, – несколько даже высокомерно сказал Сергей. – Любовь Николаевна и Дмитрий Иванович. Нестеров моя фамилия. И придумал ее не Бог, а люди.

– Но люди-то откуда?!

– От верблюда, – грубо сказал Сергей. – Ладно, дядюшка, что-то мне надоела эта беседа. Вы меня не поймете, я вас не пойму. Пойдемте лучше в вагон-ресторан и попробуем на сей раз рубленый бифштекс. Ведь что, в сущности, есть на свете возвышенной рубленого бифштекса? Пожалуй, только рыба нототения... У меня в дороге всегда дикий аппетит разгуливается.

Вдоль качающего и мотающего в разные стороны состава, пройдя несколько вагонов, они вновь добрались до вагона-ресторана. Толстая официантка их сразу узнала и, памятуя о лихих чаевых, данных ей Иваном Ивановичем, и о французском коньяке, приветливо закивала им, указывая на пустой столик с чистой скатертью.

– Тут товарищи из киногоруппы должны были сидеть, – сказала она. – Но видно загуляли, никто не пришел. – И интимно склонившись к ним огромной отвисшей грудью, доверительно сообщила: – Лангетик можно сообразить? Как?

Сообразили лангетик, жесткий, правда, как подошва. Пока ели лангетик, запивая невесть откуда взявшимся пивом, поезд подошел к Ростову. На перроне сновало множество людей, катили тележки носильщики, кто-то бежал с чемоданами. Вспыхнули в сумерках фонари и внутренности стеклянных киосков, насморочно загундосило радио.

— А мы ведь жили здесь, в Ростове, — произнес Иван Иванович, с трудом пережевывая жесткое мясо искусственными зубами. — Из Полынска, во время революции мы именно сюда приехали. Я здесь и в приготовительный класс гимназии пошел. Вот не помню только, как та улица называлась, на которой мы жили. Александровская, что ли?.. Да нет, вроде по-другому. Как же все меняется на свете!

— Да, возможно, — кивнул головой Сергей, хотя не очень-то поверил в слова дяди. "Ни черта он не помнит!" — подумал он еще.

В купе они зажгли свет и опустили шторку. Стало очень уютно. Стоило только представить себе ночь, туман на сырых лугах, болота, кваканье лягушек в промозглом воздухе и огромные, темные, пустые пространства, и тут же — поезд, летящий в ночи, и покойное, теплое купе, рассекающее искоркой океан мрака, как делалось сразу радостно, что ты не там, в ночном тумане и сырости, а здесь, в теплом, светлом купе.

Сергей начал расспрашивать дядю про Париж, его путешествия в молодости, и Иван Иванович, увлекшись, рассказывал до позднего часа. Уж они Тихорецк проехали, а Иван Иванович только-только закончил свои рассказы — так увлекся. Сергей пожелал ему спокойной ночи и сказал, что проснуться им надо к четырем часам утра — там и будет Полыnsk.

Иван Иванович опять попытался спать, но уже

совсем не спалось... Поезд так грохотал, что временами становилось страшно. Синий свет под потолком не успокаивал, а наоборот, возбуждал и вселял в сердце непонятное, томительное волнение. "Я стар, – настойчиво внушал себе Иван Иванович. – Поздно мне этак-то волноваться". Но грудь томило и никуда от этого было не деться. В голову лезли странные, расхристанные мысли и воспоминания наваливались тяжелым грузом. "Это оттого, что я старый, – подумал Иван Иванович. – Старые люди без воспоминаний не могут... А мне семьдесят...". Он подумал, что еще в шестьдесят игриво подмигивал консьержке мадам Альбер... Десять лет назад... А сейчас что? Нет, путь почти закончен.

От этих печальных мыслей Ивану Ивановичу стало невыразимо горько. Он поднялся и, опять подплясывая и шатаясь, как пьяный, от хода поезда, снял пижаму и надел рубашку и костюм. Вышел в коридор, вертя в пальцах сигарету. Курить он стал в России много, но объяснял это всё волнением и потому не очень-то беспокоился.

В коридоре было тихо и тускло, за окнами – непролазная ночь. И все равно было жарко, не единого ветерка. Нагретый за день вагон отдавал тепло, а кондиционеры были отключены. "Может, выйти на тормоз?" – прикинул Иван Иванович старыми словами и, поматываясь в такт поезду, двинулся по коридору, глядя в окна, отражавшие реальный мир: коридор, лампы, строй закрытых дверей и его самого, лысого и крадущегося от шаткости осторожно, как кошка. А за отражениями стлалось гигантское пространство России.

В тамбуре действительно было прохладнее и гуляли тоненькие сквознячки. У стены стоял какой-то темный, неопределенного цвета мешок. Иван Иванович щелкнул зажигалкой и закурил, стараясь проникнуть взглядом в законную черно-

ту. Внезапно ему сделалось холодно, он передернул плечами и почувствовал, что к нему возвращается то смутное волнение, которое он испытывал всю дорогу в поезде до Москвы.

Неожиданно то, что Иван Иванович принял за мешок, зашевелилось и послышался тихий стон. Показалась голова со спутанными волосами, покрытые темной щетиной щеки и подбородок и блеснули два маленьких глаза. Человек с трудом поднялся, расправил занемевшее тело и еще раз тихо-ненько простонал.

— Кто это? Кто?! — воскликнул Иван Иванович, пугаясь и давясь дымом.

— Вы не бойтесь, — раздался ломкий, хрипловатый голос. — Я тут так просто, я посижу до следующей станции... Вы только не бойтесь, — в голосе слышалась униженная просьба.

Иван Иванович приблизился и разглядел человека крайне маленького роста, невзрачного, одетого в жуткий бурый костюм, потерявший всякую форму. Он глядел на Ивана Ивановича заискивающим взглядом. Весь он был такой грязный, заброшенный и оттого даже смешной, что Иван Иванович не смог сдержать улыбки.

— Да нет, что же, сидите, пожалуйста, — сказал он, сделав успокаивающий знак рукой и, взглядевшись еще раз в его лицо, спросил: — Может быть, вам плохо?

— Ох, плохо мне, плохо, — простонал тихо человек. — Пью я сильно, дорогой товарищ, теперь на меня ломота напала, все внутри горит.

— Вам вина надо выпить, — сочувственно покачал Иван Иванович головой.

— Нет, нельзя, — сокрушенно ответил человек. — Я уж теперь точно знаю. Ежели я в таком виде еще алкоголя какого выпью, у меня завихрения сделаются, буду всякую нечисть видеть и себя

забуду совсем. Мне сейчас перетерпеть надо, перетомиться несколько времени, а то и помереть недолго.

Иван Иванович погладил лысую голову. Ему и противен был этот странный человек, и жалость он тоже вызывает и сочувствие, и негодование, и интерес, ибо примеряешь его жуткое, низкое положение на себя: а не дай-то Бог со мной бы такое случилось. Чур меня, чур!

– Что же вы так? – произнес Иван Иванович. – У вас, вероятно, горе какое-нибудь? – И неожиданно для самого себя прибавил: – Может, вам денег нужно?

– Нет, нет! – быстро взмахнул тот руками. – Спасибо вам на добром слове. Ничего не нужно. Горя у меня никакого нет, милый человек, а просто соскочил я со своей ступени и загремел по лестнице. Вот бока и болят, пока я ступеньки-то пересчитывал. – Он как-то по-собачьи нервно почесался, и Ивану Ивановичу показалось, что все тело его и голову покрывает клочковатый, серо-бурый мох, и вздрогнул. Появилось чувство брезгливости.

– С каких ступеней? – машинально спросил он.

Человечек повернул голову на тонкой шее и внимательно посмотрел на Ивана Ивановича мутными, с нездоровой слезкой глазами. Дунуло ветерком, вагон резко качнуло и на мгновение ослепил мелькнувший за окном одуряюще яркий проектор.

#### 4

– А я думал, думал и пришел к выводу, что человеческая жизнь – это та же лестница. Ступени, ступени... – сказал человечек, загадочно сморщившись.

– Ну, это не ново, – брезгливо отмахнулся Иван Иванович.

– Не в том смысле, как вы понимаете, – сказал вдруг строго неожиданный собеседник. – Дело не в высоте ступени, на которую ты ступил, а в истинности, в праведности ступени.

Иван Иванович встрепенулся, услышав эти слова, которые никак не ожидал услышать из уст спившегося бродяжки.

– Вы верующий? – уже с большим интересом спросил он.

– Верующий? – человечек задумался. – Нет, пожалуй. Я в культы верить не могу, всякая ортодоксальность мне претит. В смысле людей религиозных – я неверующий. А вообще – верю... Но не в этом дело, я о ступенях договорю. Иной раз человек, стоящий порядком на сто ступеней ниже другого человека, он и в человеческом смысле, и в Божеском, если о некой вере говорить, стоит неизмеримо выше того, который на вершине, потому что на своей ступени стоит. Может, ему от рождения выпало стоять на высоте, как говорится, в довольстве и признании, а он вниз спустился. Почему? Потому – почувствовал свое предназначение. А другой-то – ноль, ничтожество, да шаг у него ухватистый, широкий, – он и влез куда-то в поднебесье, а место его не там. Нет, не там! И вот тот, который вниз спустился, а на своем месте стоит, куда мне милее, да и всем полезней, чем тот, который залез наверх, не зная, чего ему там делать.

Человечек мучительно закашлялся, так, словно все его нутро выворачивало наизнанку. Иван Иванович молча ждал, когда он прокашляется. Тот сплюнул на пол липкую слюну и глухо охнул.

– Станный вы человек и говорите избитые истины, – сказал Иван Иванович с сожалением, пожевываясь от сквозняка. – В Бога вы не веруете, с похмелья мучитесь, а какие-то ступени изобрели.

– А мне эти ступени дороже Бога, – ответил

маленький и замшелый. – Потому что они мои. Может, они-то и есть Бог во мне... Был у меня знакомый, в министерской семье родился. Отец министр, мать академик. Бывает такой? А? Живи, как говорится, и вверх лезь по ступеням. А он – тьфу вас! Не хочу! И простым учителем в школу. И беден, и незнатен, но поколение за поколением учил ребят добру и истине, и на своей ступени стоял. А другой был знакомый – пшикалка, ноль без палочки. Так он там подсуетился, тому подкивнул, этому траля-ля и даже не по ступеням, на лифте проехался. И вот сам теперь в министрах. А? А толк-то от него какой?

– Это верно, – вдруг заинтересовался Иван Иванович, доставая новую сигарету и щелкая зажигалкой.

– А если верно, то чего ж вы сразу с таким презрением, – спросил человечек немного обиженно.

– Больной я, простужен, – пробормотал Иван Иванович смущенно первое, пришедшее на ум. – Не обращайтесь внимания.

– Все мы на ступенях своих стоим, – да на своих ли? – продолжил собеседник, помолчав немного и поводя головой, видимо, пережидая приступ тошноты. – Про знакомых это я выдумал. Никаких подобных знакомых у меня не было, это всего лишь пример. Только в жизни часто именно так бывает, ох-ох, как часто-то...

– М-да, – неопределенно откликнулся Иван Иванович. – А отчего ж в Бога-то вы не веруете? Ведь всё, что вы говорите, – это слова праведные, Божьи. Я... как сказать... правильно вы все понимаете.

– А как в него верить? – точно раздумывая, спросил себя человечек. – Трудно. На свечи да на иконы меня не взять – я не малолеток, в жизни-то потерялся. Есть, которые от большой беды начинают верить... – Тут он опять натужно закашлялся и

сплюнул на пол. – Так у меня большой беды в жизни не было, всё, как у всех. Теперь рассудим здраво... Саваоф с бородой, а? Мистика! Ну ведь дурь же чистая! – Для верности он даже постучал пальцем по зеленой, железной стенке. – Иисус Христос? Не спорю, может, и был такой человек, что-то проповедующий, да и с учениками, но живой человек и только живой человек. Да вот оброс наивными и глупыми легендами. В эту тьму-таракань тоже не хочу верить. А вообще верю я потому, что не знаем мы истины. Если есть на свете нечто, создавшее нашу землю, галактику и так далее, должно же быть еще какое-то нечто, что первое нечто, нас создавшее, создало в свою очередь. А? Мне говорили, что на эту тему многие тома были написаны, да только я их не читал, а если что-то начинал читать – со скуки валился. О важных и простых вопросах и писать надо просто, а то в словесной чепухе завязли, догадки все строят, а высказать их маломальски по-человечески не могут. А я человек, обычный человек, ты мне ясно все растолкуй. И тут мы упираемся в понятие бесконечности, ее и материализм не отрицает. Если все бесконечно, то и нет ничего конечного в созидании. И это здорово обидно...

– Почему же обидно?

– Потому обидно, что никогда мы не узнаем, почему созданы, и не узнаем конечного пункта назначения всего сущего. Разговоры об эволюции начинаются: мол, рождаемся для того, чтоб дать жизнь последующему, а оно даст жизнь последующему... А последующее для чего? Чтоб дать жизнь последующему... Глупо, обидно и... глупо! Нет логики. Точнее, смысла нету. Вот так вот это переливать из пустого в порожнее, а для чего – хренушки вам знать. Родиться-то просто, помереть еще проще... Только вот для чего, а? Я не хочу просто так жить,



хочу знать для чего. И не сиюминутные цели – жить для людей, для пользы общества... Это всё так. А само общество для чего? Я не знаю, общество не знает. Вот и крутись тут. Тут обычный Бог мелок будет, слишком много в нем земной истерики взято. Он на эти вопросы мне ответа не дает.

– Ах, какой вы путаник! – сказал Иван Иванович с досадой. – Бог ведь и есть всё вокруг, он же и бесконечен. Вы атеист, наверное?

– Атеизм – тоже вера, – поморгал маленький глазками. – Что толку верить в то, что ты во что-то не веришь. Ведь во что-нибудь другое, да веришь. А-а... И тут опять в бесконечность утыкаешься.

– Значит, любая вера не нужна... и вообще? – рассердился Иван Иванович. – А как же не верить? Ведь это... – Он задумался и выкопал слово: – Ведь это – цинизм!

– Верить надо, – сказал человечек твердо. – Без веры мы ничтожны. Только во что верить – вот вопрос. В человека голодного верить, который человек и силой своей человеческой силен, или в то, как Христос пятью хлебами голодных накормил за так. В это верить стыдно...

Человек замолчал. Иван Иванович тоже молчал, глядя в сторону, и думал, что воистину Россия всегда была полна правдоискателями, чудаками и блаженными, которые всегда только всё путали и во всё вносили беспорядок, и, видно, людям этой страны на роду написано мучиться самими ими рождаемыми неразрешимыми вопросами.

– Ну, а при чем же тут ваша лестница? – кисло спросил он.

– А это от человеческих качеств – кто больше справедливостью и правдой наделен, кто меньше, тот так себя на ступени и ставит.

– Но ведь кто-то наделяет их этими качествами! – возвысил голос Иван Иванович, совсем запутавшись.

– Кто-то наделяет, – согласился человечек. – Только никто не знает – кто. И никогда не узнает, я думаю.

– А может быть, это Бог?

– Может, и Бог, – еще охотнее согласился собеседник.

– Боже мой! – Иван Иванович всплеснул руками. – А вы-то ступень свою знаете?

Тот горько, безнадежно потряс головой:

– Да нет же, оттого и мучаюсь. Да никто до конца свою ступень не знает и не узнает... Лишнее подтверждение бесконечности. Иллюзиями живем. Социальные системы – иллюзии, добро и зло – это тоже иллюзия. Бог в тебе и во мне – иллюзия.

”Иллюзия... – пробормотал про себя Иван Иванович. – А может, это верно”?..

– А вот скажите, – произнес он и даже зажмурился. – Скажите... А вот поцелуй, пятьдесят лет назад бывший, но навсегда оставшийся в памяти, – иллюзия?

– Брат мой, – тихо сказал маленький и замшелый. – Разве я знаю? Разве могу? Я вчера в канаве от пьяного дурмана проснулся и увидел грязную воду в луже. Быть может, это лучшая минута в моей жизни была... Разве ж я знаю? Разве ж я ответчик тебе?..

– Кто же вы? – спросил Иван Иванович обморочно, наполнившись мистическим страхом от последних смутных слов человечка.

– Человек я, – ответил тот. – Маленький я, пьяный человек. Может быть, даже слабоумный. Вы меня не бойтесь и не ругайтесь только на меня. Мне сейчас очень худо, больной я совсем. Только бы мне до Кропоткина доехать, я и сойду...

И тут действительно в тамбур вошла проводница, неприязненно оглядела стоящих мужчин, но смолчала, а потом даже пробурчала:

– Кропоткин сейчас будет. Вам в Кропоткине выходить?

Поезд протарахтел и остановился. Проводница открыла ключом дверь, протерла тряпкой поручни и тут же маленький кулем свалился с лестницы и растворился в перспективе тусклой платформы.

Иван Иванович постоял еще немного, дождался, пока поезд тронется, и пошел в купе. Сергей давно спал и из-под одеяла торчала его босая нога. Ивану Ивановичу стало невыразимо одиноко, он ощутил себя потерянным и несчастным. Он тронул Сергея за ногу и, когда тот, сонный и взъерошенный, свесил голову, спросил:

– Сережа, Бог есть, по-вашему?

– А, черт! – пробормотал Сергей. – Который час? – И не дожидаясь ответа, сказал: – Бога, по-моему, нет, дядюшка. Спите спокойно.

Но Иван Иванович спокойно заснуть не смог. Вагон трясло. Чтоб собрать свои раздерганные мысли, он сосредоточился и только слышал равномерный перестук колес. И тут возникали слова маленького в унисон выстрелу колес: "Брат мой!", и тут же с новым перебором "Кого?". Брат мой – кого, брат мой – кого – слагалось из бесконечного повтора и, холодея, он отчетливо подумал: "Меня!.."

## 5

К Полынску они подъехали еще в темень и быстро выгрузились, ибо поезд стоял на станции всего две минуты. Ночь была теплой и в то же время свежей. Огромное, просторное небо было полно звезд, а легкий ветерок доносил из близких степей чуть горьковатый запах неведомых трав. Где-то недалеко за маленьким зданием вокзала кричали петухи.

Вокруг крохотной вокзальной площади с чахлым газоном в центре сомкнулись полукругом спящие белые домики с уютными палисадниками. У газона стояло две машины – огромный КАМАЗ и "Волга"–такси. Их водители курили и мирно беседовали, сидя на багажнике "Волги".

– Вам куда ехать? – спросил один из них, видимо, таксист, когда заметил Ивана Ивановича и Сергея, нагруженных багажом.

– На Школьную улицу, – сказал Сергей, поставил чемоданы на асфальт и отер пот со лба. – Это у рощи.

– Да я знаю, – шофер затоптал окурок и открыл багажник. – Поехали. С этим поездом, видно, никто уже не приедет. Шабаш.

– Интересно, а где же наш попутчик Витек? – вспомнил Сергей, усаживаясь в кабину. – Что-то не видать голубца.

Машина закрутила по совершенно темным, с редчайшими фонарями, улицам городка, дышащим покоем и сном, мимо мертвых ставней, черепичных крыш и длинных заборов, с нависающими над ними ветками яблонь и акаций. Фары выхватывали из черноты углы краснокирпичных и мазаных домов, ворота, калитки, колодцы и водоразборные колонки. В ночи городок казался совсем сельским, почти деревенским. Только позже проплыли за окном большой и темный кинотеатр и несколько пятиэтажек, в которых не светилося ни единого окна. Иван Иванович всю дорогу молчал, плотно слепив губы, сердито поеживался и медленно моргал, проклиная себя за то, что так разволновался и не смог уснуть хотя бы на час. А Сергей выпрашивал у шофера местные новости про рощу, стадион, водохранилище; узнал, что председателя горисполкома сняли с треском, а Школьную к осени обещают заасфальтировать.

Автомобиль резко свернул с асфальтированной улицы, мягко подпрыгивая на рессорах, проехал целый квартал заборов и, въехав на небольшой пригорок, остановился у приземистой саманной мазанки в три окна с шатким штакетником. Чуть-чуть развиднелось, словно ультрамариновую акварель неба размыли каплей воды. И первое, что увидели приехавшие, был небольшой гладкий пес с длинными ушами, сидящий у калитки с праздным видом, в сомнении склонивший голову на бок. Потом он почесался задней лапой и отошел от калитки немного в сторону.

– Деликатное животное, – заметил шофер, помогая выгружать вещи из багажника. – Не хочет людям мешать. Вот таких я уважаю.

Сергей негромко постучал в ближайшее окошко. Тут же в доме зажегся свет, заметались тени и из-за ситцевой занавески выглянуло старушечье лицо. А калитку уже отпирали, в ней появился высокий и чрезмерно худой старик в нижнем белье и накинута поверх пиджаке.

– Заходите, заходите, дорогие гости, – неожиданно сильным и молодым голосом сказал он. – А уж мы вас ждали, ждали, да и заснули этак-то... Вот ведь оказия!

Старики Кубышкины захлопотали вокруг приезжих, тут же возжелали их накормить, но Иван Иванович и Сергей их намерения отклонили и сказали, что хотят только одного – спать. Тогда хозяева провели их в отведенную им комнатку, выходящую единственным окном в густо заросший кустами и деревьями сад. Ивану Ивановичу предоставили кровать на сетке, а Сергею постелили на большом сундуке, покрытом истертым ковром. Мирно тикали престарелые ходики на стене и струя воздуха из сада слегка колебала тюлевую занавесочку на окне. Утомленные дорогой, они легли и быстро уснули...

Есть на земле великие люди. О них пишут книги, создают легенды, читают курсы лекций в университетах, всячески стараясь проникнуть в их существо и постичь глубину их замысла. А люди эти, несмотря на великое прозрение гениальности, такие же люди, как и те, что возводят их в символы и кумиры. Большой писатель после пророческих, мессианских почти фраз, почесывается и кричит жене: "Я к обеду кильку хочу!". Крупный режиссер, чье творчество полно туманных предзнаменований, перед которыми теряются исследователи, сидит на съемках, ковыряя спичкой в зубах, и думает: "Нет, эта молоденькая из массовки очень хороша. Надо бы... Сегодня нет, сегодня перезапись, а завтра с утречка...". Есть великие отношения таланта с Богом, есть великие миротворцы, озаренные невысказанной духовной силой и прозрением, но – увы, увы, увы! – почти нет среди них Великих Людей. А не великие никакие, скромные, лишенные сильных страстей творчества и катаклизмов судьбы, ходят по земле бухгалтеры, рабочие, сторожа, инженеры – полные ровной, огромной любви, которой лишены их прославленные современники.

Старики Кубышкины были из породы именно таких людей. Весь свой век они честно трудились, не гоняясь за лаврами, не делая себе карьеры, а просто живя с сознанием, что честный и полезный труд является основой основ всякой человеческой жизни. Герасим Анатольевич много лет проработал бухгалтером на элеваторе, а Анна Егоровна кассиршей в кинотеатре имени Кирова в городском саду и никогда им не казалось, что положение их незавидно, а должности мелки. Всякий труд уважался ими одинаково и не они делали различий между положением людей, если видели, что долг этими людьми исполняется добросовестно. Жизнь они вели хотя и провинциальную, с огородом, ку-

рами и слушанием радио, однако находили в ней свою прелесть, а если чувствовали, что начинали закисать, ехали в соседний большой город, ходили там в театры, на концерты, а несколько раз даже побывали в Москве и Ленинграде. Они много читали, собирали, как могли, книги, интересовались новостями. В цоме у них жило всегда несколько кошек и собак, которые приставали к ним как-то неожиданно, но потом уж оставались навсегда и становились яростными ревнителями хозяйских интересов. Кубышкины любили друг друга, любили людей, землю и делали это не натужно, с надрывом, как иные люди, а спокойно и ласково, почитая, что только добро естественно в мире.

Ныне Кубышкины уже давно вышли на пенсию. Герасиму Анатольевичу, который приходился Нестеровым троюродным братом, было семьдесят два года, а Анне Егоровне семьдесят. По-прежнему они читали, иногда ходили в кино. Анна Егоровна, маленькая, приземистая и седая, хлопотала по хозяйству, а до смешного худой, похожий на жердь Герасим Анатольевич возился с утра до вечера в небольшом саду, что-то сажая, окучивая и подвязывая. За ними по пятам ходили кошки и собаки, словно хотели им помочь, но толком не знали, как взяться за дело.

Поздним утром хозяева встретили Сергея и Ивана Ивановича за столом, накрытым в саду под дощатым навесом, по которому густо вился дикий виноград. На столе стояла большая глиняная миска с крупно нарезанными огурцами, помидорами и зеленым луком, обильно сдобренными постным маслом, свежий хлеб, вареное мясо, целое блюдо зелени, запотевший кувшин с молоком, масло, сыр.

— С добрым утречком, — закивала головой Анна Егоровна, когда отдохнувшие и умытые жгучей колодезной водой, они появились в саду. — Садитесь

покушать. Это мы пока на скорую руку, а уж обед я готовлю как следует.

Тощий Герасим Анатольевич, улыбаясь, пожал им руки, усадил на чисто выскобленную лавку.

— Может быть, вы выпить хотите? — спросил он застенчиво.

— Нет, нет, очень благодарны, — сказал Иван Иванович. Он благодушествовал. Солнечный, чистый день, пока еще прохладный, но уже с признаками надвигающейся жары, эта простая снедь на столе, добрые лица хозяев ему очень нравились. Он хорошо выспался и вчерашние ночные страхи и недоумения показались ему невсамделишными, хотя что-то важное они в нем и зацепили. Он с аппетитом ел и слушал, как Сергей рассказывает о здоровье Дмитрия Ивановича, о каких-то общих московских знакомых, слушал шелест листвы и пенье птиц и только счастливо жмурился от всего этого.

— Чувствительно вас благодарю, — сказал он, выпив молока и промокнув губы платочком. — У нас, знаете ли, с женой был небольшой дом под Парижем и мы там вели самый простой образ жизни. Да-с, вели, вели. Тоже пили молоко по утрам и ходили гулять на луг.

— А теперь что с домом? — участливо поинтересовалась Анна Егоровна.

— Я его продал после смерти жены, — Иван Иванович сразу опечалился и жалобно сложил губы трубочкой. — Это все-таки нелегко столько лет прожить рядом с человеком и в одну минуту лишиться... Нелегко! Кажется, еще вчера были первые трогательные встречи, а потом пустота и уже старость. Когда жизнь проходит вместе, то старость не замечаешь, а вот остался я один — и дряхлый совсем старичок! — Он молодцевато захихикал, блестя голубоватыми глазами и всем видом своим показывая, что вовсе никакой он не дряхлый старичок, а еще вполне крепкий мужчина.



— Это верно, — поддержал его Герасим Анатольевич. — Ведь нам с Анечкой вдвоем почти полтора века будет, а мы вот несколько возраста не чувствуем. Верно, старушка?

— Да уж верно, старичок, — засмеялась Анна Егоровна. — Только вы, Иван Иванович, старости не поддавайтесь. Это такая штука подлая. Я как на пенсию вышла, вдруг и вправду себя старухой ощутила. Хожу по дому, по улицам и думаю: никому ты, старуха, не нужна. Всю жизнь трудилась, трудилась, а теперь ничего от тебя не нужно...

— Ну уж, перестань, — перебил ее муж. — Ты у меня еще покрутишься... — Он довольно улыбнулся и потрогал великоватый ему воротничок старой голубенькой рубашки. — А я вас помню, Иван Иванович. Лет пять вам было, такой толстенный парнишка, розовощекий. Мы даже как-то с вами на лодках катались по Тереку. Не помните?

— Как же, как же, помню! — восторженно вскричал Иван Иванович. — Конечно, катались! Я вот и Дмитрию недавно говорил, что помню, как мы на лодках катались. Да, да! А вас вот не помню, извините. Маленький уж очень я был...

— Я на два года вас старше, потому и помню больше.

— Да, да, — Иван Иванович почувствовал, что солнце сместилось и теперь сквозь щели в досках навеса припекает голову. Он надел свою панаму и покрутил носом. — Да-с, вот как выходит. Прошли годы и теперь я старый человек и у меня большое сердце. Вы знаете, у меня не так давно был сердечный удар. Я месяц пролежал в госпитале, доктора чудом спасли мне жизнь.

Сергей хмыкнул и весело посмотрел на дядюшку.

— Не преувеличивайте, Иван Иванович, — сказал он. — Если бы вам доктора чудом спасли жизнь, вы

не тряслись бы на поезде через всю Европу, а потом через всю Россию. Может, функции сердца у вас и ослаблены, но страшного явно ничего нет.

– Боже мой, какие слова! – фальшиво засмеялся Иван Иванович. – Вы прямо какой-то злой демон, да, да! Ну да Бог с вами, вы так молоды, что можете не понимать наши старческие хвори. – Он покачал головой. – Я вот и попросил привезти меня сюда, чтобы хоть что-то вспомнить. Уж простите нас, что обременили. Как-то непонятно было бы приехать в Россию и не повидать места, где ты родился. Дикость бы получилась, ерунда. И пусть я ничего не вспомню, однако будет о чем подумать перед смертью. – Он зачертил пальцем по чистой скатерти. Все молчали.

К столу подошел ушастый утренний пес, видимо, любимец хозяев, ибо остальные кошки и собаки вкрадчиво циркулировали в отдалении. Пес наклонил голову и как-то так вздернул верхнюю губу, что показалось, что он иронически усмехается. Потом пес добродушно гавкнул и пошел куда-то по своим делам.

– Какая симпатичная собака, – проговорил Иван Иванович. – Как его зовут?

– Просперо его зовут, – с неудовольствием ответил Герасим Анатольевич. – Вот Аня выдумщица, всех наших кошек и собак называет именами литературных героев, даже неловко как-то. Вы читали "Три толстяка"?

– "Три толстяка"? Нет, не читал, – грустно покачал Иван Иванович головой. – Это какого же автора?

– Юрий Олеша.

– Не знаю, вроде бы у нас о таком не говорили. – Он посмотрел на часы. – Ого! Теперь самое время прогуляться, посмотреть ваш городок... Наш городок! Ведь и я тут родился, некоторым образом.

– Если сердце больное у вас, то поосторожней надо, – предупредил Герасим Анатольевич. – Сейчас жара навалится. У нас с пятнадцатого мая как зарядила жара – ни одного дождика. Даже за хлеб в районе опасаются.

– Мы в рощу с Иваном Ивановичем сходим, там попрохладней, – предложил Сергей. – А за рощей и к Тереку выйдем. Вспомните, как катались там на лодках.

– На лодках, да, да... Давно это было. – Иван Иванович вздохнул. – Ну что ж, спасибо за завтрак. Пойдемте, Сережа.

## 6

Так выходило, что городок Полынский за последние десятилетия остановился в своем поступательном движении и почти не рос. Лет двадцать пять тому назад строили неподалеку от него большой и важный канал и тогда он наполнился самым разнообразным строительным людом и некоторые осели в нем навсегда, обзавелись семьями и хозяйством. Увеличила свои мощности гардинная фабрика, построили водохранилище, стадион, два больших кинотеатра, консервный заводик. К станции стали на две минуты причаливать поезда дальнего следования. На этом расцвет Полынска как-то и остановился – никаких дальнейших сдвигов в структуре его жизни не намечалось и он затих и снова застыл в своей первозданности, лишь разрушался асфальт на центральных улицах, да приходило потихоньку в негодность поле стадиона в роще, на котором появились вездесущие стайки гусей. Гуси радостно гоготали, приветствуя окончание футбольного бума. Весь городок погружен был в зелень садов и жил мирной и сонной сельскохо-

зайственной жизнью, как то было с ним и сто лет назад, а пожалуй, и все двести, когда он еще только возник, как крохотный форпост русских войск на Кавказе.

Всего лучше в Полынке было весной, в начале мая, да золотой осенью – чуден тогда был тихий городок. Зимы же настоящей не было – гниль одна, простудная трясучка. Зимой земля размокала, сыпались холодные дожди, а то и мокрый снежок шел и среди голых деревьев да грязи было неприятно. Но тяжелее всего было в середине лета, когда наваливалась жара. Огромные степи, поля тянулись за Полынском и ни прохлады садов, ни близкое дыхание гор не спасали: испепеляло высокое солнце, сохли травы, дубела пыльная земля улиц, вяло вздрагивали пожухшие листья. Прямо как в Испании в часы сиесты всё население городка старалось в полдневный жар попрятаться от диких лучей, от неподвижного воздуха в относительную прохладу комнат, где резво гудели вентиляторы. Лениво ели люди первые арбузы да с тоской ожидали блаженного часа наступления вечера. Не все, конечно, дни были яростно жаркими, но и таких выпадало достаточно.

Прогулка Ивана Ивановича и Сергея на такой, примерно, день и вышла. Не успели они и десяти шагов сделать по Школьной улице, как взмокли, а Ивану Ивановичу стало трудно дышать и какая-то дурацкая лень охватила все тело. Сергей, вышедший без головного убора, теперь страдал и клял себя самыми разными проклятиями. Не послушали они утреннее местное радио, честно предупредившее о сорока градусах днем и давшее рекомендации сердечникам.

– Нам бы только до рощи дойти, там прохладнее, – пробормотал Сергей, с отвращением смахивая обильный пот с лица, – словно из сауны вы-

шел. — Как, Иван Иванович? А может, вернемся, отложим прогулку до более благоприятных...

— Об этом не может быть и речи, — резко сказал Иван Иванович, усилием воли ускоряя шаг. — Я совершенно в порядке.

— Ну смотрите, воля ваша, — невесело усмехнулся Сергей, глядя на апоплексически покрасневшую шею дядюшки. — Но только уговор: как почувствуете себя хуже, сразу скажете мне, ни в коем случае не скрывайте. Тут никакая гордость неуместна.

— Гордость и достоинство уместны всюду, — назидательно молвил Иван Иванович, отпыхиваясь.

— Это разные вещи. Достоинство штука хорошая, а вот гордость может легко перерасти в глупое чванство. Вы не согласны?

— Нет, не согласен. Вот вы не знаете, а в эмиграции часто только гордость спасала нас в самых униженных положениях.

— Ну, из унижительных положений вас, вероятно, выручало именно достоинство, — заметил Сергей. — Но все это высокие материи, а солнышко, извините, печет как следует, а вы больны. Тут самое время думать о здоровье, а не о гордости, тем более что в солнцепеке ничего унижительного нет.

— Я совершенно в порядке.

Так переговариваясь, они шли по пустым, полудеревенским улицам, купая ноги в горячей пыли. Захлопнули ставни дома, в основном каменные, добротные, в четыре-пять окон, но и белесых саманных домиков еще много встречалось. В чахлах островках травы у заборов бродили гуси. Проезжала, пыля, редкая машина или голый по пояс велосипедист с бессмысленными от жары глазами. Воздух был недвижим, застоен. В канаве лежала большая мохнатая собака с высунутым розовым языком и, подняв глаза, мученически смотрела в колеблемое жаром голубое, без облачка, небо.

Вскоре они вышли к роще, густой, тенистой, больше даже похожей на лес. У одного из двух каменных столбов ворот сидел старый-престарый старичок в барашковой шапочке, на самом припеке и, казалось, спал. Перед ним стоял мешок с семечками и в нем два стакана – большой и маленький.

– Это Рубен, – сказал Сергей. – Местная достопримечательность. Лет пятьдесят семечками торгует на этом месте. Несчастный старик, у него лет пятнадцать назад жена умерла от рака, так он вроде немного помешался. Как стбил у него маленький стакан пятак, а большой десять копеек, так и стбит, хотя у всех теперь идут по десять и по двадцать копеек. Только семечки у него никто не покупает.

– Почему же? – вяло поинтересовался Иван Иванович.

– Все почему-то решили, что от жены у него семечки заразились раком. Глупость, конечно.

– А раком заразиться нельзя? – вскинул очки дядюшка.

– Нельзя. – Сергей помедлил. – Хотя кто знает? Темна вода в облацех. У этого Рубена еще ручной баран был по имени Борис. Всегда рядом с ним в пыли лежал, да тоже умер, от старости вероятно.

Они вошли в рощу и сразу их охватила тенистая прохлада от плотно сомкнувшихся над головами крон высоких, больших деревьев. Почти у самого входа прыскал водой маленький, выкрашенный в голубую краску фонтанчик для питья. Какой-то пронзительно одинокий луч, прорвавшись сквозь листву, падал точно на бьющую струйку воды и она искристо и радужно переливалась. Зеленый полусумрак царил повсюду. Они по очереди приникали сухими и жаждущими уже губами к холодной, ломающей зубы воде и во взглядах их, что у Сергея, что у Ивана Ивановича, появилось блаженное удовлетворение.

— Какая вкусная вода, — сморщил нос Иван Иванович, оттирая с темных стекол очков набрызгавшиеся капли. — Вода моего детства. Подумать, я пил такую замечательную воду! — Он засмеялся.

— О-о-о! — значительно протянул Сергей, ловя ртом струйку. Сделал еще несколько глотков, а потом сказал: — Что ж, Иван Иванович, воду в детстве мы с вами пили одну и ту же. Ведь я полдетства провел в Полынске.

— Вы хорошо помните свое детство? — неожиданно спросил дядюшка.

— Ну, как сказать, — задумался Сергей. — Что-то лучше, что-то хуже. Но вот почему-то Полыньск помню превосходно.

— А у меня вот детство распадается на две половинки. Нет, на три. Одна, — это когда я еще в Полынске, маленький совсем. Это я помню плохо. Вторая половина — какие-то, знаете, вагоны, масса людей, Ростов, а потом опять вагоны и Севастополь. Уже осень была, но наш отец, а ваш дедушка повел нас к морю купаться. Я тогда впервые увидел море, и вода еще совсем не холодная была... А море было темно-синим. Я теперь всю жизнь, когда представляю море, то вижу его непременно темно-синим. Затем начинается третья половина, когда мы отплыли с мамой в Турцию. Но это уже не детство. Это что-то... Я не знаю, как сказать, но мне уже было трудно, как взрослому. Мне уже не в кубики играть надо было, а придумывать, как зацепляться... зацепиться за жизнь. Вы понимаете?

Сергей молча кивнул головой. В словах дяди была неясная, но почему-то понятная ему боль. И впервые, может быть, Сергей, искоса поглядев на Ивана Ивановича, подумал: "А ведь ему досталось в жизни, бедняге..."

Роща была дикой и именно благодаря своей дикости и неухоженности радовала привыкший к

зализанной природе взгляд. Они шли по выбитым в траве тропинкам, поперек которых вились корневища деревьев. Они прошли мимо маленькой полянки, зелено-золотой от солнца; вся она была в голубых и оранжевых полевых цветах. Над ними со слышным зудением плавали многочисленные пчелы. День тек густой, как мед. Людей северных, привыкших к прохладной скупости подмосковных лесочков или рязанских полей, всегда немного волнует юг, будоражит, гонит быстрее кровь. Казалось бы, ничего не было экзотического в полынской роще, однако Сергей жадно вдыхал горячий, полный каких-то непривычных запахов воздух. То ли цветы тут были другие, то ли испарения земли и зелени чувствовались сильнее – не смог бы он и сам объяснить. А когда вышли они, перевалив через сырой овраг, к Тереку, то вид серовато-мутной, широкой и быстрой реки, песчаные и каменистые отмели, плавни, – все это словно говорило о том, что река эта не из северной, спокойной России, а южная, горная, иная, живущая по другим законам.

– Это Терек, – сказал Сергей и, не удержавшись, добавил: – Тот самый, по которому вы катались в лодках. Узнаете?

Иван Иванович молчал, покачиваясь в пропыленных голубых парусиновых туфлях с пятки на носок, заложив руки за спину и глядя невидимыми за зеркальными стеклами очков глазами на реку. Быстро, с ровным шумом бежала вода. За далекими черными деревьями уступом выходящей к Тереку рощи пронеслась точечная стая птиц. Солнце перевалило зенит и ослепительным размытым шаром плавало в просторном небе. В воздухе витали запахи мокрой травы, тины, нагретого песка и даже ветерок тут появился – слабый, но очень приятный в этот раскаленный день, и зашуршал в камышах.



Ивану Ивановичу было страшно. Сначала, как увидел он Терек, ему и в самом деле показалось, что — да, именно здесь, в этом месте они и катались когда-то на лодках. К сердцу подступила сладкая тоска. А потом он подумал, что река эта, как текла тогда, 65 лет назад, так и теперь, такая же мутная, быстрая, холодная и ничто не меняется в ней, а у него итогом — прожитая жизнь. Всего-то жизнь... Как же мелка она, как же мелок человек с бременем своих страстишек и глупой суеты и как бес-смертно-высоки течение реки и синева неба. Думал он об этом не в первый раз и с годами всё чаще, но тут, воочию увидев реку детства, просто онемел и испугался. Страшно стало. Ему хотелось заплакать, высвободить страх, но он сдержался, пожевал губами и спросил:

— Вы не помните, кто сказал: нельзя войти в одну реку дважды?

— По-моему, кто-то из китайцев, — предположил Сергей.

Иван Иванович неловко присел на корточки, опустил руку в воду, провел ею по лицу и тяжело вздохнул. Рядом проклекала какая-то невидимая птица.

## 7

При выходе из рощи они задержались у Рубена и купили у него стакан семечек. Бедный старик так изумился самому этому факту, что ни под каким видом не пожелал взять с них деньги. Он только кивал головой в барашковой шапочке, улыбался в серебряную бородку и повторял старческим, разбитым голосом:

— Здоровья вам, здоровья вам...

— Ну что, нагулялись, Иван Иванович? — спросил Сергей. — Вернемся домой или есть еще порох в пороховницах?

– Есть, есть еще порох, – довольно бодро отвечал Иван Иванович. – Мне бы хотелось сходить туда, где прежде стоял наш дом. Я, правда, не уверен, что смогу найти то место. Я же говорил вам, что детские годы помнятся мне очень подозрительно. Вот я всё помню каких-то больших, хвостатых птиц возле нашего дома, наподобие павлинов. А ведь вряд ли у нас могли быть павлины.

– Нет проблем, – сказал Сергей. – Это место я вам покажу, мне его в младенческие еще годы отец много раз показывал. Дом ваш стоял до войны целым, а в войну в него прямиком снарядом угодило. На его месте сейчас часть городского сада – какие-то гипсовые пионерки стоят, фонтанчик небольшой и детская площадка. Это возле бывшего собора, прямо на площади.

– А что, собора тоже нету? – Ивану Ивановичу стало совсем грустно.

– Нет, собор есть, только не действующий. Сказать не соврать, там какие-то сельскохозяйственные районные организации заседают. А когда я еще маленький был, там находился городской универсальный магазин.

– Магазин в церкви? – Брови дядюшки отдернулись от очков и исчезли под низко надвинутой панамой. – Ну так, ну так... Понимаю... Что же, это ничего, это так... да... – Он вообще забормотал что-то невразумительное и пошел быстрее, но шагами резкими, неровными.

Кружным путем, ведомым Сергею с детских лет (он заявил, что непременно проведет Ивана Ивановича по тени), по совсем уже деревенским улочкам, поросшим бурьяном, мимо приземистых мазанок, под вполне слышное в тишине бляенье, хрюканье и куриное клекотанье, через огороды, полого спускавшиеся к Тереку, они неожиданно вышли к самому центру города, бывшей Соборной

площади, ныне площади имени Кирова. Тут стоял бронзовый памятник самому Кирову, высился купол небольшого собора, несколько странный без креста; белела арка входа в городской сад имени Кирова, по старинке еще именовавшийся зимним, от тех времен, когда в городке всего и было два кинотеатра: летний и зимний. Мощный натиск жары стал чуть спадать и, хотя колебалось еще в воздухе тяжелое марево и от асфальта улицы имени Кирова шло одуряющее дыхание адова пекла, начали появляться прохожие, у бочки с квасом выстроилась очередь, а по улице покатались неспешные велосипедисты, что позволило Ивану Ивановичу тонко улыбнуться и заметить:

– Ну, у вас тут прямо, как в Голландии...

Он долго стоял и смотрел сквозь деревянные прутья ограды сада на вялый фонтанчик, на красноватый песок аллеи, на гипсовую девочку-пионерку, отдающую салют. Ему вспомнилась смутно маленькая девочка в Москве 35-го года\*, отдававшая такой же салют с криком "Всегда готов!". На этом месте был некогда его дом, в котором он родился. Он мучительно пытался восстановить в памяти этот дом, комнаты, сад, птиц, похожих на павлинов, но ничего не выходило. Сидели на скамейках вокруг фонтанчика мамыши с детьми, проходили какие-то люди. Дети лазали по странным сооружениям из железа, а то залезали в фонтан и тогда от скамеек доносилось: "Руслан! Руслан, тебе говорю! Ну, вылезь обратно, злодей!.. Во, Марина, дитё у меня, отвернешься – привет!"

– Это очередь за квасом стоит? – спросил Иван Иванович, поворачивая от решетки. – Вы знаете, Сережа, я хотел бы выпить квасу. Я вот крошку ел, а самого кваса так и не попробовал.

– Желудок функционирует нормально? – на всякий случай спросил Сергей.

---

\* Иван Иванович был в Москве в 1935 году с французской делегацией и тогда же встретился с братом.

Квас Ивану Ивановичу не очень понравился. Он почмокал языком и отставил недопитую маленькую кружку. Они пошли дальше.

– В сущности вы были правы, – заговорил Иван Иванович несколько даже виноватым голосом. – Не стоило мне сюда ехать. Казалось, знаете, как посмотрю на то место, где когда-то родился, так всё у меня перевернется в душе. Сердце замирало. Иногда в Париже представляю себе, как я в Полынске стою у своего родимого дома, и начинаю плакать. Да, да, не улыбайтесь, плакать мне хотелось. Ведь всё время один, в одиночестве, со своими думами. А теперь посмотрел и – ничего. Душа спокойна. Вот-с.

– Ну во-от, – протянул Сергей с насмешкой и неожиданно подмигнул дяде. – Ехали, ехали и приехали. Боже мой, Иван Иванович, до чего вы сумбурный человек, семь пятниц на неделе у вас в любом вопросе. Разве можно так, дядюшка? Что же вы предлагаете – уехать завтра? Это не так просто, надо звонить отцу, чтоб он позвонил здешнему начальству, а оно, в свою очередь, должно помочь нам приобрести обратные билеты.

– Как это у вас все противно делается, – со злобой сказал Иван Иванович. – Ни поесть, ни выпить, ни поехать – никуда, никогда! Идиотически! Я не понимаю, нет. Может быть, это вам доставляет удовольствие? Мазохизм, а?

– Знаете что, Иван Иванович! – тоже обозлясь, возвысил голос Сергей. – Мне это, извините, надоело! Вы сами говорили, что в Советский Союз приехали только для того, чтоб повидаться с братом. Ну вот сидели бы и разговаривали. Нет, вас тянет по улицам бегать, вас тянет ехать чуть не за две тыщи километров, чтоб посмотреть на Терек, где вы на лодках катались во младенчестве, да на фонтанчик, где ваша усадьба стояла. И при этом всё вам не нравится, всё вам не так. Душа ваша, видите ли, пламенем не возгорелась!

– А почему вы на меня кричите?! – ощерился сразу Иван Иванович, оголив в оскале свои голубоватые, ровные зубы. – Кто дал вам право на меня кричать, черт возьми!

– Я на вас не кричу, – постарался спокойнее сказать Сергей, но всё еще выходило со злостью. – Но тоже хочу задать вопрос: а вам кто разрешил, приехав в чужую страну, старательно ее охаивать?

– Она мне не чужая, она моя! – выкрикнул Иван Иванович.

– Нетушки, – фальшиво заулыбался Сергей. – Вы распоряжайтесь у себя на Эйфелевой башне, а тут вы гость и извольте в гостях вести себя прилично.

– Вы мне нотаций не читайте! – уже просто взвизгнул Иван Иванович, и очки затрепетали у него на носу. – Вы еще мальчишка! Не вам меня учить! Самонадеянность какая...

– Может, я вам мешаю? – вкрадчиво проговорил Сергей, все еще улыбаясь нехорошей улыбкой. – Может, мне вообще удалиться?

– Идите куда хотите. Ваше общество, – вот Бог свидетель, – мне наслаждения не доставляет. Еще вы мне угрожать будете. Подумаешь, чичероне!

Сергей круто повернулся и зашагал по боковой улице, все никак не в силах стереть с лица издевательскую улыбку. Злость на дядюшку прошла, ему даже стало его немного жаль, – взъерошенного, оскаленного, старого, беспомощного, – но и повернуть уже не было никакой возможности. Скоро асфальт этой улицы кончился и под ногами захрустел камешек гравия. "А и черт с ним, – успокаивая себя, думал Сергей. – Пусть побегает по жаре, пусть дом поищет... Дурак старый!" И он ускорил шаги.

Иван Иванович посверкивал гневно очками некоторое время, а потом с испугом подумал, что

обратной дороги не знает. Но окликнуть Сергея он тоже не пожелал из гордости. Вспомнил еще, как часто говорила мать во времена их эмигрантских странствий, когда никак они не могли найти нужную улицу или дом: "Язык до Киева доведет". Он тряхнул головой, прислушался к себе и ощутил, насколько сильно устал. Рядом, на углу улицы, по которой пошел Сергей, был разбит крохотный скверик, отделенный от улицы изгородью пыльных кустов: клумба с яркими цветами, обязательными пчелами над ними, асфальтовая баранка вокруг клумбы и несколько скамеечек, под низко висящими зарослями сирени. Там была тень. Иван Иванович доковылял до скамеечки и тяжело плюхнулся на нее, изнемогая от усталости и духоты. Достал свежий белый платок и вытер совершенно мокрое от пота лицо.

Отдышавшись, Иван Иванович начал размышлять. Сначала он строил планы того, как можно разыскать в незнакомом городе нужную улицу, не спрашивая об этом прохожих. Почему-то вот именно это — спрашивать о дороге прохожих — казалось ему наиболее унижительным, как словно бы признаться в каком-то стыдном физическом недостатке. Здесь он, главным образом, уповал на территориальную незначительность Полынска. Потом он размышлял над полными какой-то мистической доверчивости словами "Язык до Киева доведет". Это, подумал он, мог придумать только человек, доведенный до крайней степени унижения, уж совсем не надеющийся на свои знания и свою волю. Скорее всего, это придумали какие-нибудь нищие или калики перехожие Киевской Руси, о которых им много говорили в лицее, сентиментально сравнивая их тернистый путь с участью российских эмигрантов. После этого задумался он о своей эмигрантской судьбе и о с горечью отозвавшихся в

нем словах Сергея: "Распоряжайтесь у себя на Эйфелевой башне!". Самым обидным казалось почему-то то, что на Эйфелевой башне Иван Иванович ни разу не был – все как-то было недосуг. Он и в Лувре-то был всего один раз, когда водил их туда преподаватель лицея, увлекавшийся искусством. Если и правда то, что в молодости хотел он ощущать себя французом, а потом и вообще гражданином вселенной, то к старости окончательно убедился, что из всего этого выходит только какой-то бред, а наиболее покойно и естественно ему в обществе русских людей. Это же он мечтал обрести и в России – покой и естественность, но не было тут у него ни того, ни другого. "Не на своей ступени я стою! – решительно подумал он. – Ощущаю в себе самом постоянную гадость. Прав Сергей – чужой я здесь. Французы у себя во Франции справедливо распределили между собой ступени, русские здесь распределили, а я остался вообще где-то за границами лестницы, где-то у самого подножья..."

– А в этом ничего нет страшного, – перебил его тускленький и какой-то сдавленный голос. Даже не голос, а скорее голосок.

– А? Вы? – испуганно встрепнулся Иван Иванович, пугаясь от того, что кто-то волез в его мысли, сумел их прочитать. – Кто вы? Как вы?

Почти рядом с ним на соседней лавочке сидел странный и удивительный человек. Он был горбат, сильно горбат, но не только горб делал его удивительным – он еще был карликом. Именно не лилипутом с детским личиком и пропорциональными частями тела, а самым настоящим карликом, которыми так любили тешиться русские императрицы XVIII века. Вид его ассоциировался у Ивана Ивановича с цирком, в котором он был однажды с матерью в Белграде в 21-м году. Там тоже участвовал горбатый карлик и он даже сейчас чуть не спросил

у этого – не он ли тогда дурашливо хихикал и снимал с клоуна рыжий парик. Но нет, у этого взгляд был пристальный, настойчивый, и самое удивительное заключалось в том, что он непонятно как прочитал мысли Ивана Ивановича. Это показалось ему непостижимым и даже чем-то опасным. Глаза у карлика синели невероятно – синие-синие, пронзительные и вездливые. Топорщился на горбатой спине черный, кажущийся пыльным пиджак, славно были сложены крестом маленькие ножки в порыжевших ботинках и, несмотря на жару, в новых, блестящих галошах.

– Вы кто? – уже осмысленней спросил Иван Иванович.

– Я – карлик, – тихо ответил тот. – А имя мое – Василий.

– А откуда вы меня знаете? Почему вы повторяете мои мысли?

– Мысли? – карлик Василий удивился. – Да вы же вслух говорили.

”Действительно, как это просто”, – подумал Иван Иванович. И на самом деле, как многие старые и одиноко живущие люди, Иван Иванович, сам того не замечая, часто стал разговаривать вслух. Он даже усмехнулся, покачав головой, хотя ему было не смешно.

– Что ж это за ступени такие? – пытливо спросил карлик, подсаживаясь поближе. Глаза его горели неподдельным любопытством.

– Есть такая теория, – неожиданно охотно отзывался Иван Иванович. –словно вся жизнь – это лестница и люди занимают на ней соответствующие ступени. Вся соль в том, что главное не в том, насколько высоко ты залез по лестнице, а в том, свою ли ты ступеньку занял. Ну... подходит ли она именно тебе.

– А вы, значит вроде как никакой ступеньки не



заняли? – все более оживлялся Василий и торопливо сунул Ивану Ивановичу довольно большую и крепкую ладонь. – Вас как величать-то?

– Иван Иванович. – Он поерзал на скамейке. – Выходит так, Василий, что не занял я никакой ступеньки. – И ему стало самого себя жалко.

– А грустить не надо, – сказал Василий оптимистично. – Тухлое это дело – печалям предаваться. Вот вы, Иван Иванович, поглядите, я почти карлик, да еще горбатый. Если бы я грустил всё время, то точно с ума бы сошел... Вы вот чего, вам непременно надо с Федотовым познакомиться. Он забавный, умный мужик, Федотов. Мы сейчас и пойдем к нему, тут рядом.

– Кто такой Федотов? – спросил Иван Иванович. У него было ощущение такое, будто все это происходит не с ним. Наверное, перегрелся на жару.

– Федотов – экскурсовод в нашем районном краеведческом музее. Умнейший и интеллигентный человек. Выпивает только вот маленько... Он тут и сидит рядышком, у Спиридона в подвале. Пойдемте, там прохладно, а то тут хоть и в тени, а всё никакой моготы нету.

Тут же, на главной улице находился подвальчик с вывеской "ВИНО". Возле него стоял старый мопед. Серенькая пушистая собачка подошла к мопеду, понюхала переднее колесо, задрала лапу и помочилась, после чего пошла дальше своей дорогой.

Они спустились по истертым каменным ступенькам (Василий толкнул Ивана Ивановича в бок, подмигнул и указал на ступени синим взглядом). В подвальчике было прохладно и на кирпичном полу стояло несколько больших бочек, а вокруг них бочки поменьше – столы и стулья, за которыми сидело несколько оловянных человек. Они пили вино и лениво переговаривались, с трудом цедя

тяжелые, как знойный воздух, слова. Хозяином тут был Спиридон, старый, седой, раздувшийся от вина и закуски, похожий на огромную корявую почку, грек. Хозяйствовал он тут еще с тридцатых годов, лет пятьдесят уже, наверно, и хотя всего-то он считался в райторге буфетчиком, однако так все привыкли к нему, что выходил он будто бы хозяином и владельцем этого подвала. Местное мужское население уважало Спиридона, а женщины его не любили, проклинали – многие судьбы сгнули там, в подвале, среди кирпичей, бочек и сладкой винной прохлады.

Карлик Василий подвел Ивана Ивановича к столу-бочке, за которым сидел пожилой лысый человек в очках и, близоруко вглядываясь, пытался что-то рассмотреть прямо перед собой в пустом воздухе.

– Григорий Иваныч, я гостя к тебе привел, – тоненько сказал Василий. – Вы садитесь, Иван Иваныч, в ногах правды нет.

– Федотов, – мрачно буркнул человек в очках, переводя взгляд на Ивана Ивановича. – Искусствовед. Рад знакомству. Вы, как я понимаю, приезжий?

Перед ним стоял двухлитровый графин с остатками вина и на маленькой тарелке лежали ломтики копченой колбасы. Видно было, что он изрядно успел подвыпить. Еще он противно чмокал толстыми, мокрыми губами.

– Да, я приезжий, – откликнулся Иван Иванович, устало опускаясь на маленькую бочку.

– Откуда?

– Я... – Иван Иванович чуть помедлил. – Из Москвы.

– Ну вот и скажите тогда – могли ли у нас быть зубробизоны?

– Не понял вас, – вскинул брови Иван Иванович.

Тогда, путаясь и икая, Федотов рассказал, что ведет долгую и изнурительную войну с областным начальством. Когда они готовили экспозицию в музее, то повесили наглядное пособие с изображением зубробизонов, и Федотов, ведя экскурсию, всегда тыкал указкой в пособие и сообщал, что в далекие времена на тучных лугах здесь паслись зубробизоны, а людей еще не было. Но приехали проверять музей из области и велели снять пособие, ибо никакие зубробизоны в этой полосе никогда не паслись. Зубробизонов сняли, но Федотов начал писать в инстанции, ездил в область, списался со специалистами, однако своего никак добиться не мог, и теперь вся его жизнь свелась к одному болезненному вопросу: были тут зубробизоны или не было.

— Я не понимаю, — замылся Иван Иванович. — Я как-то даже не знаком с вашей проблемой. Но, может быть, они все же были? — последняя фраза прозвучала у него вопросом.

— Вот! — крикнул Федотов и стукнул кулаком по бочке. — Были! А мне тут вкручивают, понимаешь!

— Вы не подумайте, — горячо заговорил Василий. — Вам в Москве трудно понять, вы думаете, что мы в провинции скисли все, ничего уже и не мыслим. Нет, нас волнуют многие вещи. В русской провинции, — глаза его залучились, — таится еще большая сила, от которой могут рухнуть миры! Вся чистота народа, весь его... Э-э...

— Нравственный потенциал, — подсказал Федотов.

— Весь его нравственный потенциал, всё это — в провинции. На нас, конечно, можно смотреть свысока, но стоит ли? — Василий плотно сжал губы.

К ним подошел мощный, старый, оплывший жиром Спиридон и поставил на стол еще один графин с вином и две тарелочки с колбасой.

- Угощайтесь, - пропитым басом бухнул он. - На дворе-то жарко?

- Жарко, - покивал Василий, наливая Ивану Ивановичу вина в сомнительной чистоты стакан. Спиридон отошел. - Да вы пейте, вино наше, полыньское, - добавил карлик.

- Я, видите ли, не пью, мне нельзя, - попытался отказаться Иван Иванович.

- Пейте, вкусно, - сказал Федотов. - За встречу, понимаешь.

Иван Иванович выпил нечто сладко-прохладное, липкое и дикое. Вино осело в голодном уже желудке тягучим, сосущим комом. Он попробовал пожевать колбасу, но она оказалась крайне жесткой, как каменной, и не поддавалась его искусственным зубам.

- А вы не подскажите мне, как я могу найти улицу Школьную? - выбрал время спросить Иван Иванович, ибо собеседники его случайные опять увлеклись разговором о зубробизонах.

- Вы там остановились у кого? - поинтересовался карлик.

- Да, у Кубышкиных. Вы знаете?

- А как же, - Василий покивал головой. - Хорошие люди, душевные. Немного далеко стоят от насущных проблем, а так - ничего. Я вас провожу туда, здесь у нас всё не далеко. - Он поднялся. - Прощай, Григорий Иванович. Я, может, скоро подойду к тебе сюда, договорим.

Федотов протянул Ивану Ивановичу руку и сказал серьезно:

- Вашингтон играет на руку Китаю. Что об этом в Москве думают?

Иван Иванович неопределенно пожал плечами и с облегчением вышел на улицу.

Солнце уже не пекло, и народу еще прибавилось. Карлик семенил рядом короткими ногами в

новеньких галошах и всё покашливал, побряхтывал.

— Вы меня это за Федотова извините, — сказал он наконец. — Я вас до него специально привел. У мужика дурь, пунтик, всё дело валится, жизнь под откос, спивается потихоньку. А тут, я подумал, мужчина представительный, вежливый, приезжий, подтвердит из вежливости-то про зубробизонов, Федотов и успокоится на некоторое время. Так? Так что извините.

— Ничего, — опавшим голосом пробормотал Иван Иванович. — Скоро уже?

Тут они и подошли к штакетнику Кубышкиных.

— Ну вот тут, — сказал Василий. — Будьте любезны. А если время будет, заходите ко мне. Так вот Школьная улица, — он махнул рукой, — а так вот Учительская, в конце водонапорная башня. У самой башни я и живу, меня всякий знает, вы только спросите. — Он осклабисто улыбнулся и пошел обратной дорогой, лишь горб его натягивал пыльный пиджак да шаркали галоши.

Во дворе Ивана Ивановича встретил рыжий Просперо. Он радостно помахал хвостом, твякнул и опять достойно отошел в сторонку — вот я какой, и чувства проявил, и себя не уронил в глазах человека. Из дощатой кухонки вышла Анна Егоровна, увидела родственника — жалкого, усталого, потного, — и ахнула, всплеснула руками.

— Иван Иванович, милый! Да где ж вы так! Сережка как пришел, — сказал, что вы поругались. Уж мы отчитали его, паршивца, а Герасим за вами отправился, на розыски.

— Пустое, — вяло улыбнулся Иван Иванович. — К чему беспокойство... — Вино вызвало изжогу и жажду. — Мне бы попить воды...

— Обедать! Обедать! — заполошилась Анна Его-

ровна. — Сейчас за стол. Вы ведь голодный, наверно. Мойте руки, помойтесь, я вам полотенце подам. Это ж надо, родного дядю в чужом городе бросить! Ну и молодежь теперь, без стыда и без совести!

9

С Сергеем примирение произошло в этот же день. Он сам подошел к Ивану Ивановичу и извинился.

— Да я не в обиде, Сережа, — сказал Иван Иванович, сидя на лавочке под виноградом. На столе стояла керосиновая лампа и возле нее вились целые рои крылатых мурашей. Возле уха иной раз тоненько, настойчиво звенел комар. — Видно, я что-то сказал непозволительное. Это меня надо прощать, стар становлюсь. Жизнь была бурная, бегал я всё, а теперь вроде покой, а покоя нету. Кажется, так и жил — лоскутьями какими-то. А? Это грустно, дружок. Так что обиды я в себе не несу.

Несмотря на подобное заявление, все последующие дни Иван Иванович гулял по городу один. Ему повезло: душащая жара сменилась по-летнему солнечными, но вполне терпимыми днями. По ночам несколько раз бушевала гроза, бил гром. Иван Иванович просыпался и потихоньку боялся под одеялом. Утром он вставал довольно рано, умывался и завтракал вместе со стариками Кубышкиными. С удовольствием выпивал стакан свежего молока, которое Кубышкины покупали у соседей. Потом он надевал панаму, солнечные очки и шел гулять.

Он ходил по улицам, разглядывал дома, сады и огороды, несколько раз наведывался в рощу, где всегда с удовольствием пил воду из синего фонтанчика и обязательно покупал стакан семечек у Рубена, хотя, впрочем, отойдя немного, высыпал их в

траву. Выходил он и к Тереку, подолгу стоял у текущей воды и пытался вызвать в памяти какие-то ассоциации, воспоминания, но все, что возникало, было больше похоже на призраки. От этого Иван Иванович раздражался, — ему так хотелось мира и покоя в душе, — а от этого он раздражался еще более, надувался и шел по городку похожий на художника и игрушечного индюка.

С Сергеем он разговаривал мало, но так странно, что тот почувствовал некие перемены, происходящие во внутреннем мире дяди.

Так, например, вернувшись однажды с прогулки, он сообщил, что был в кино. Там он смотрел какой-то румынский фильм, показавшийся ему страшно фривольным. Он долго качал головой, прищмокивал губами, а потом сказал Сергею так, словно выдавал какую-то глубокую тайну:

— Вот, Сережа, никогда не связывайте свою жизнь с артистками.

Это было странно, потому что никогда сам Иван Иванович с артистками связан не был и ничего, кроме журнальных сплетен, о них не знал.

Однажды, когда они уже улеглись спать в своей комнате, а за окном погромыхивало и пошел дождь, он неожиданно сказал громким шепотом:

— Вы знаете, Сережа, я в душе почти что коммунист...

— То есть? — удивился этому заявлению почти засыпающий Сергей.

— Я, кажется, не верю в Бога, — заговорщицки проговорил дядюшка.

— И вы считаете это достаточным для того, чтобы быть в душе коммунистом? — насмешливо спросил Сергей.

— А разве нет? — наивно изумился Иван Иванович. — Я думал... По крайности, мне казалось, что... э-э-э... основным законом коммунизма является полный атеизм...

Сергей тихо засмеялся, ничего ему не ответив, ибо это было бесполезно, но позже понял, что что-то такое свершается в душе Ивана Ивановича и смеяться над этим глупо и недостойно. И еще он понял, как остранен в этой жизни старый рантье, насколько нереальным он видит этот мир, полный как раз самых беспощадных реалий.

Иногда Иван Иванович принимался тихо петь. Скорее не петь, а мурлыкать под нос, и только тогда, когда был уверен, что за ним никто не наблюдает. Сергей проходил как-то раз по двору и услышал, как за тюлевой занавеской их комнаты трогательно тоненький голос дяди выводит старое танго: "Счастье мое я нашел в нашей дружбе с тобой...". Через день он рассказал, что был в роще и наблюдал на стадионе пионерский слет. А вечером, в укромном уголке сада, где душно было от запахов табака, флоксов и настурций, так же тихо и чистенько промурлыкал: "Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих...". Сергей чуть не расхохотался, но вовремя сдержал себя. Бывший владелец отеля, эмигрант из России, проживающий в Париже, признавался в том, что в душе он коммунист и распевал пионерские песни. Странно это было. Что же в жизни сонного, маленького городка подвигло Ивана Ивановича на такие глобальные для него перемены? Сергей не мог найти ответа, но все это казалось настолько забавным, что, думая о дядюшке, он растерянно улыбался.

А Иван Иванович действительно менялся, правда, в основном в мелочах и незаметно для себя. Он, например, неожиданно полюбил квас. Чуть не по часу отирался он теперь у квасной бочки, осушая кружку за кружкой и беседуя с хромым и страшно рябым продавцом дядей Андрюшей. Костыли его стояли тут же, прислоненные к бочке. Дядя Андрюша подолгу рассказывал Ивану Ивано-



вичу о войне, о всем пути его стрелкового полка, прошедшего от Киева с отступлениями, до Минска с наступлениями, где дядю Андрюшу трахнул осколок по правой ноге. Иван Иванович же рассказывал, как Вторая мировая война застала его в 39-м году в Польше. Дядя Андрюша все никак не мог понять – почему в 39-м и какие-такие ветры занесли тогда в Польшу Ивана Ивановича? Свою принадлежность к Французской республике тот тщательно скрывал. Тогда Иван Иванович ненатурально начинал кашлять и долго со вкусом пил коричневый холодный квас.

Однажды он стоял на солнцепеке возле продуктового магазина и наблюдал за тем, как старый точильщик точит большие мясницкие ножи. Делал это точильщик так сноровисто и ловко, так вжикал лезвиями по камню, чуть прижимая их замотанными грязными бинтиками пальцами, и так весело летели искры от железа, что Иван Иванович застыл и совершенно по-детски широко улыбался. И тут подошла к нему рыженькая девчушка лет шести, дернула за край одетой навыпуск белой рубашки и деловито спросила:

– Дедушка, а дедушка! А почему у вас все зубы голубые?

– О, милое дитя, – пробормотал Иван Иванович сразу ставшими непослушными губами и почти побежал от девочки, от точильщика, точно узрел в них что-то неожиданное и опасное для себя.

Иногда по вечерам в каком-то дворе недалеко от двора Кубышкиных, невидимом за заборами и стеной зелени, собиралась молодежь и доносились тогда оттуда голоса и гремела шумная магнитофонная музыка. Эти голоса и эту музыку Иван Иванович спервоначалу возненавидел.

– Что это за дрянь! – ворчливо бранился он. – В Париже молодые негодяи ее слушают и в глубине

России – туда же! Это вот посиделки называется, да? Какая гадость! Как всё измельчало, испошлилось...

– Перестаньте, – увещевал Сергей. – Вы еще и ретроград вдобавок ко всему. У каждого поколения своя музыка.

– Но не такая дрянь! – горделиво отвечал Иван Иванович.

А позже, через несколько дней, подошел он к Сергею в такой вот вечер, когда гудели голоса и рвались в звездное небо электронные ритмы, и сказал:

– Верно, верно, в самом деле – пусть слушают. Они молодые. Нас не убудет, верно? – и посмотрел на Сергея так, словно именно он желал убедить его в этой компромиссной истине.

Забрел он как-то раз и на улицу Учительскую и сразу увидел в конце ее высокую водонапорную башню из красного кирпича. Подле нее располагалась крохотная мазанка в три крохотных окошка. Он впервые видел в Полынске такую жалкую лачугу. Окна изнутри ничем задернуты не были, но были так грязны, что даже приблизившись к ним, невозможно было разглядеть, что делается внутри. Ни сада, ни огорода у Василия не было, а двор, пустой и голый, порос кучками вяло растущего, пыльного бурьяна.

Карлик Василий встретил Ивана Ивановича радостно, но среди своего мерзкого бобыльего запустения оставить не захотел и потащил его в знакомый подвальныйчик к Спиридону. Точно так же, как и в первый раз, за столом-бочкой сидел пьяненький Федотов и близоруко смотрел прямо перед собой. Точно так же толстый Спиридон поставил перед ними графин с вином, тарелочки с колбасой и с одышкой произнес:

– Угощайтесь. Чего там на дворе-то – жарко поди? – и все ему закивали: да, да, мол, жарко.

Начались бесконечные, путанные разговоры о зубробизонах, о том, что Вашингтон играет на руку Китаю, о том, что матрешек придумал не кто-нибудь, а русский художник Малютин, умелец на все руки, и опять про зубробизонов.

– Провинция! – восклицал тоже подвыпивший Василий. – Русская провинция! Это ого-го! Это еще надо понимать, с чем ее кушают.

– Мы всегда, – бубнил Федотов, – мы всегда и во всем первые. Отсюда вот исторгается самая чистая мысль, самые верные идеи...

– А почему в Полынске так много увечных людей? – задал Иван Иванович давно мучавший его вопрос. – Я много хожу по улицам и очень много встречаю хромых, безруких, слепых, горбатых... Почему это так?

Василий и Федотов замолчали и уставились на него странными глазами, словно внезапно перед ними возник инопланетянин.

– Вы меня имеете в виду? – спросил, наконец, карлик неприятным голосом. – Если меня, то не очень-то тонко вы поставили вопрос.

– Да нет, Бога ради! – воскликнул Иван Иванович.

– Уж я объясню, – почти зло продолжил Василий. – Я родился карликом, видимо, оттого, что отец мой бил мать по животу, когда я там лежал, ежедневно. Это раз. А горб у меня потому, что в детстве тот же отец стукнул меня по спине обухом топора за малую провинность. Это два. А в-третьих, мало у вас все же тонкости, Иван Иванович. Это три. – Он отвернулся.

– Да простите! Я же не о вас конкретно! – Иван Иванович воздел руки, но два приятеля продолжили свой разговор, больше не обращая на него внимания.

И когда он, посидев сколько-то, поднялся, они

нарочито не повернули голов, как бы не замечая того, что он собирается уходить.

Выйдя, Иван Иванович оглянулся на вход в подвал и на мгновение ему показалось, что никакого подвала и нет, что был какой-то карточный домик, теперь рухнувший, а скорее даже сон, истаявший в трясучем жарком мареве, и вместе с ним исчезли странные и неестественные лица людей из подвала — Федотова, Василия, Спиридона, лица, словно пришедшие из других времен, словно созданные фантазиями Брейгеля и Босха. "А может быть, их и не было никогда?" — загадочно подумал он. И действительно, больше с тех пор он с ними не встречался.

Иногда Иван Иванович беседовал с Кубышкиными, расспрашивая их про историю Полынска, про самых отдаленных родственников, которых и Герасим Анатольевич помнил лишь приблизительно. Им овладела жажда узнавания самых мелких и незначительных фактов и похож он был на фанатичного археолога, пытающегося разыскать какой-то особенный глиняный черепок среди развалин целого огромного поселения. Он иной раз и находил эти черепки, осколки чужой памяти, и пытался склеить их в единое, во что-то определенное, что называлось детством, родством, местом, где он впервые увидел белый свет и издал первый крик.

Сергей же проводил эти летние дни в неге и праздности. Он подолгу спал, плотно завтракал и отправлялся купаться и загорать на городское водохранилище, которое все почему-то называли бассейном. Там он проводил время до обеда. Первые дни он ходил еще по старым своим друзьям, с кем в дальнем детстве играл в футбол и ловил на канале красноперок на самодельные удочки, но скоро эти визиты иссякли: старых друзей в городке осталось очень мало. Почти все разъехались по большим

городам, по стройкам, некоторые служили в армии офицерами, а девочки все повыходили замуж и тоже уехали. С грустью Сергей пришел к выводу, что Полыньск – город пожилых и старых людей и если не трахнет его что-нибудь такое, вроде строительства канала или большого завода, то он так и угаснет среди полей, с одной стороны, и далеких синих гор, с другой. На закате, когда воздух был особенно чист и прозрачен, совсем-совсем далеко, в тревожном мареве виднелась чуть розоватая, раздвоенная вершина Казбека. Когда темнело, Сергей брал керосиновую лампу, ложился на раскладушку под виноградом и начинал читать, отмахиваясь от надоедливой мошкары. И читал он больше всё книги легкие, веселые: Жюль Верна, Ильфа и Петрова, Беляева, которые брал в библиотечке Кубышких. Пил он тепловатое еще после вечерней дойки молоко и ел тоже теплый домашний хлеб, который сама пекла до сих пор старая армянка, жившая через улицу. Корочка вкусно хрустела. Жил так Сергей и все ждал, когда же надоест дядюшке бесцельное шатание по городу. А дядюшка приходил усталый, быстро ел и сразу же ложился спать.

Лицо у Ивана Ивановича сильно загорело, лишь овалы вокруг глаз от солнечных очков оставались светлыми да белел лысый череп – это было смешно; он сильно похудел, даже высох под постоянным солнцем и оттого приобрел моложавый, но несколько дидактический вид пожилого ученого, играющего в теннис.

Но совсем уж удивительным превращением в Иване Ивановиче явилось то, что стал он разговаривать, мягко произнося букву "г", на украинский манер, как и почти всё население городка. Услышав это впервые, Сергей изумился, а потом захохотал и захлопал в ладоши.

– Дяденька, бесценный! – закричал он. – Всё – верю, верю! Верю, что вы коренной полыничанин, что родились на месте памятника пионерки с веслом, что лучшие годы вашей жизни прошли в катании на лодках по Тереку. Верю! Особенно после того, как вы произнесли "несхибаемая хордость". Это гениально!

Иван Иванович сделал вид, что немного обиделся, хотя на самом деле ему было даже приятно.

## 10

Гуляя как-то раз вечером после кино, Иван Иванович набрел на дежурный продуктовый магазин.

То был обычный магазин, даже не самый лучший в городке, но единственный, который работал после восьми и аж до самых одиннадцати часов. И хотя официально продажа спиртных напитков прекращалась в 20.00, всегда можно было упротить одну из двух продавщиц, Ленку или Варю, чтоб достала она заветную бутылочку. Оттого после восьми алчущие представители мужского населения Полынска, у которых не хватало денег на шикарный "Терек" или на менее шикарный "Фестивальный", собирались у дежурного. У тех же Ленки или Вари можно было взять и стакан. Тут, недалеко от тускло освещенного входа, поставили лавочку среди высоких кустов и неспешно выпивали и вели разговоры. Вот на этот-то магазин Иван Иванович и набрел.

Он шел по улице, как всегда неторопливо, и услышал вдруг чей-то звонкий и задиристый голос: – Эй, батя! Батя! Ну ты, в шапке! Постой!

Иван Иванович задержался, еще не совсем уверенный в том, что окликнули именно его. К нему

уж подходил высокий и здоровый малый, заходя протягивая руку для пожатия.

– Здорово, отец! Попутчиков не узнаешь? – сказал он, сжал сильно Ивану Ивановичу кисть и хлопнул второй рукой по спине. – Нехорошо, отец. Вместе в Полыньск ехали, портвеша пили, а ты нос веротишь.

– А! – узнал Иван Иванович. – Виктор! Ведь вас так именно зовут, не правда ли?

– Правда. – Виктор приобнял его за плечи. От него пахло молодой немывтостью. Сколь можно было разобрать в чернилах ночи, одет он был всё в ту же голубую рубашку и джинсы, и казалось, что только-только спрыгнул он с поезда, из вагона-ресторана, где вел разговор с Иваном Ивановичем и Сергеем. – Пойдем, отец, вздрогнем за встречу. Тут все свои ребята, Юрик, Лобан... Еще один есть, Палыч, он тебе, видать, ровесником будет. Гад буду – хорошо получилось. Смотрю, идет кто-то пришибленный малость. Тот ли, не тот, думаю. Раскинул – кругом козырные, – тот самый батя, что в поезде наши кабаки крыл. Вот ядрёнать! Палыч! – Весело крикнул он беззубому старцу в глубоких морщинах. – Давай стакана, я тебе напарника привел, будет с кем покайфовать насчет нашей гнилой молодежи.

Трое собутыльников Виктора отвесили Ивану Ивановичу нечто вроде поклона и загугулькали что-то, как голуби, пододвигаясь и освобождая им место на лавочке. Все трое были людьми странными и диковатыми для Ивана Ивановича. Здесь, в темноте разглядеть их как следует было невозможно, но он отметил для себя, что Палыч беззуб, Юрик очень толст, пожалуй, даже болезненно толст, а Лобан мал ростом и очень обтрепан. Чем-то он напомнил ему маленького и замшелого из тамбура. Верховодил в компании Витек: судя по всему он угощал земляков.

– Я ведь проспал тогда Полыньск-то, – радостно сообщил он. – Ну да чего там, раз живем, мужики. Верно? Давай, Палыч, стакан, не томи человека.

Звякнуло стекло о стекло, забулькала жидкость. Ивану Ивановичу протянули граненый стакан. Он взял его, поблагодарил и стал ждать, когда нальют себе остальные. Но те молчали и тоже чего-то ждали, вопросительно уставившись на него.

– Я делаю что-нибудь не так? – осторожно спросил Иван Иванович.

– Всё так, батя, всё путем. Ты пей, – покивал Виктор.

– Но как же вот ваши друзья?

– Да стакан-то один, – удивляясь непонятливости нового человека, сказал Лобан неожиданно густым, дьяконским голосом. – Давай, отец, на здоровье. – В голосе уже проглянуло нетерпение.

Внутренне сморщившись, Иван Иванович вытянул полный стакан противной, сладкой, отдающей почему-то резиной жидкости. На какое-то время у него забегали козявки перед глазами, он потряс головой, а тут уже чья-то заботливая рука подсунула ему яблочко. Оно оказалось зеленым и вызвало обильную слюну.

После приторной сладкости и дооскоминной кислятины Иван Иванович приходил в себя, наблюдая, как по очереди присасывались к стакану все четверо. Он никак не мог понять, что хорошего находят полыньчане в выпивании скверного крепленого вина, если природа здесь была вполне годная для виноделия и в каждом дворе можно было выращивать виноград и делать из него легкое сухое вино, пусть не такое уж великолепное, но вполне удобоваримое и даже полезное. Для чего было покупать в магазине тяжелые, пыльные бутылки с липкой мутью, травиться ею, туманить свой мозг и портить желудки? – этого Иван Иванович постичь никак не мог.



– Последний бомбец отбомбили, – сказал Виктор, ставя порожнюю бутылку на землю возле лавочки. – А башли, как говорится, на нуле градусов вечной мерзлоты. Или у тебя чего есть? – И он грубовато толкнул толстого Юрика плечом.

– Шутишь, – прохрипел Юрик в ответ.

Иван Иванович уже знал, что слово башли означает деньги и потому полез во внутренний карман за бумажником, предложив радушным тоном:

– Если дело в деньгах, друзья, то разрешите мне... – Он покопался в бумажнике, щуря глаза и пытаясь разглядеть достоинство купюр, а потом с неожиданной для него щедростью достал 25 рублей и протянул Витьку. – Вот, Виктор, пожалуйста, купите что хотите. Только мне, если будет позволено, хотелось бы немного сухого вина.

– Лобан, – начальственно приказал Виктор, передавая деньги. – Быстренько: сухача для нашего гостя, черного полбуханки, сырку пусть Ленка порежет... На остальное – бомбовый запас. Понял? Беги, корешок! – Он повернулся к Ивану Ивановичу. – Вижу, батя, что ты наш, душевный человек, а вот как звать-называть тебя я не упомянул. – Тускло загорелись в улыбке его золотые зубы.

– Иван Иванович. – Он помедлил и вдруг спросил: – А что, Виктор, страшно вам было в тюрьме сидеть?

– Не в тюрьме, а в колонии. ИТП, запомните, Иван Иваныч, – с неожиданной обидой в голосе вмешался беззубый Палыч. Удивительно было, как при таком дефекте он ухитряется довольно разборчиво выговаривать слова. – Я вас уважаю, Иван Иванович, и за возраст, и так далее. Мне самому шестьдесят два, я трижды отбывал срок в ИТП. Могу ответить за Виктора: нет, там не страшно, но там очень противно.

– А чего ты болботишь за других? – возмутился Витек. – Тебе, может, противно, а мне, может, страшно. Чего выступаешь-то? А ты не дрейфь, Иваныч, таких старичков, как ты, уже не сажают. Тебя ведь на кефире надо держать... – Он засмеялся.

Дунул ветерок, шумнул невидимой во тьме листвою. Из тусклого входа магазина выскочил человек, прижимая что-то к груди, и побежал неровной трусцой к лавочке. Это был Лобан.

– Вот, всё, чего просили, – говорил он, выкладывая припасы на лавочку. – Сдачи осталось сорок две копейки.

– Оставь себе на пиво, – великодушно решил Витек. – Давай, Палыч, гостю первого стакана. Ножик-то у тебя есть?

– У меня есть, – откликнулся Юрик. – Сейчас хлеб дорежу.

Выпили под закуску по первому стакану. Выпили и по второму. Потекла многозначительная пьяная русская беседа, ничем кроме бутылки не связанных между собою людей. Но поговорить было необходимо, о чем угодно – любая, самая фантастическая история шла в дело. Виктор рассказал о том, как один чудака на Камчатке упал в гейзер и сварился в нем заживо. Юрик поведал о том, что занимался тяжелой атлетикой, "рвал железо", как он выразился, но интриги коллег и продажность тренерского состава оборвали его карьеру и теперь он "поплыл", растолстел и хочет жениться. Палыч рассказывал что-то про рыбную ловлю, рассказывал очень эмоционально, и потому, видимо, стал жевать слова беззубым ртом, и никто ничего не понял. Лобан ничего не рассказал, но всем поддакивал, посмеивался и постоянно подливал в стакан.

Иван Иванович тоже поделился своей историей. Он трепетно описал, как в конце сорок третьего года французские рыбаки вывезли на лодках его и

еще нескольких членов движения Сопротивления, на след которых напало гестапо, в море, а там их приняла на борт английская подводная лодка и доставила в Англию. Все это так и было на самом деле и, рассказывая, Иван Иванович как бы заново переживал холодный, соленый ветер Ла-Манша, качку, частую сетку дождя, видел английских моряков в черных капюшонах. Моряки повели их в маленький кубрик, угощали сигаретами и бренди, хлопали по плечам... Он боялся, что его рассказу не поверят, но все дружно поверили, а Палыч даже переспросил: "Это в каком году было? В сорок третьем? Мы тогда Днепр форсировали, тоже полегло нашего брата..." Тогда опять налили и выпили за погибших в войну солдат, и за то, чтоб войны больше не было – никакой – ни атомной, ни обыкновенной.

Подошли еще какие-то люди, попросили на время стакан, потом вернули и сказали, что по городу бродит бешеная собака и пусть все поостерегутся.

– Лучше пусть она нас остережется, – сказал Витек и могуче захохотал. – Поймаем и сделаем из нее шашлык!

Потом опять все по очереди выпили. На сей раз без закуски. Сухое вино кончилось, и Иван Иванович пил вместе со всеми портвейн, впрочем не различая уже вкуса.

Иван Иванович покраснелся, возбудился и почувствовал себя необыкновенно легко, молодо, так, как не чувствовал себя очень давно. Хотелось ему думать, что это будет с ним всегда, никогда не исчезнет, что это именно то, ради чего он ехал в Россию, хотя на самом деле то был обыкновенный пьяный кураж отвыкшего от вина человека, а тут смешавшего жуткий портвейн местного изготовления с молдавским рислингом.

– В такую ночь, друзья, – воскликнул он, размахивая руками и глядя в черное небо на прыгающие в глазах крупные звезды, – в такую ночь хочется пить и танцевать среди вакханок. Хочется чего-нибудь изобрести... Или нет, хочется поверить во что-нибудь удивительное, несбыточное.

– Есть у нас один дурачок тут, – рыготнул Лобан. – Лёшей звать. Ходит, верит в то, что в космосе есть планеты, где люди живут. А еще говорит, что неинтересно, когда у всех кровь красная, и что надо изобрести, чтоб кровь у всех была такого цвета, как он пожелает.

– Это какой Лёша? – уточнил Палыч и качнулся на скамейке. – С базара, что ли?

– Точно. Дурдом по нем пахнет.

– Нет, нет, это интересно, – заволновался Иван Иванович и принялся поправлять очки, которых на нем не было. – Ходит, вы говорите, ищет что-то. Это очень, очень... Пусть, пусть ходят странники, калики перехожие... Как это? – язык до Киева доведет. Это прекрасно! Я, например, хочу бесцветную кровь. Или белую, как молоко. А? – И неожиданно плаксиво спросил, выявляя крайнюю степень опьянения и потерю всякой ориентации: – Господа, ни у кого нет клинекса?

На него не обратили внимания, потому что Юрику стало плохо, и Виктор с Лобаном повели его блевать поглубже в кусты. Палыч глухо и недобро спросил с противоположного конца скамейки:

– Чего это ты нас господами называл? – Он выдвинул небритое лицо с ввалившимися щеками и резкими морщинами в свет дальней лампочки у входа. – Отвечай! Слышишь? Или ты иностранный шпион?

– Я не шпион, – с достоинством ответил Иван Иванович. – Я русский человек, но подданный Французской республики. Очень прошу вас.

– Подданный-то ты подданный, – осклабился Палыч, обнажая темные десны и провал рта, – а почему нас господами назвал? Может, ты в революцию за Антанту воевал.

– В революцию я был дитя, – твердо молвил Иван Иванович. – Вы... э-э-э... без инсинуаций, будьте любезны.

– Поговори тут, подданный! – возвысил голос Палыч, подымая с лавочки свое исхудавшее от долгих регулярных возлияний тело. Но, к счастью, в это время вернулись Витек и Лобан, ведущие под руки совершенно окосевшего Юрика.

– Тихо, тихо, тихо! – сразу вмешался Виктор, роняя Юрика на лавочку. – Чего вы тут не поделили?

– Он оскорбляет! – гневно сказал Иван Иванович. Мутная, пьяная злоба заливала ему сознание. – Это что такое! А?! Един...ств-е-н-н-а-я, – по буквам выговорил он, – защита у человека без родины – это его гордость.

– Гордо-ость? – взмыл тут же Палыч, пошатнулся и пошел на Ивана Ивановича. – Ты шпион и гад! Я вот плюну тебе сейчас в рожу и что мне будет? Ничего не будет! Мне знак отличника дадут, диверсант!

Если Иван Иванович хотя бы приблизительно знал, чем может закончиться спонтанная выпивка у магазина, он, безусловно, не стал бы в ней участвовать. Но дело было сделано, и парижский дядюшка вошел в раж, размахнулся из последних сил и ударил Палыча по скуле, разом вспомнив свои молодые, еще лицейские драки. Палыч покачнулся и рухнул на землю. Витек и Лобан схватили Ивана Ивановича за руки, бормоча ему на ухо какие-то увещательные слова, но было уже поздно. Их осветили резким светом фар, и послышался стук дверей милицейского патрульного УАЗика.

– Мало нам бешеных собак, – торопливо подходя, сказал молодой лейтенант и быстро оглядел поле боя. – И люди хуже собак стали... Это ты, что ль, отец, хулиганишь?

– Попрошу на вы! – хрипло крикнул Иван Иванович. – Я подданный Французской республики! Я иностранец! Вы будете отвечать перед начальством! – И он механически выругался по-французски. – Немедленно требую сюда консула и адвоката!

– Ясно. Допился. В машину его, – спокойно распорядился лейтенант. – Свидетели драки есть?

Но свидетелей не было: все, и даже упавший Палыч, и пьяный Юрик, успели исчезнуть, раствориться в бархатной летней ночи.

– Ничего, – так же спокойно проговорил лейтенант. – Я Витьку Голощапова заметил. Ничего. Не успел парень с отсидки вернуться, а опять уже безобразничает.

Истерзанного Ивана Ивановича, изрыгающего яростные проклятия, засунули в милицейскую машину и увезли. Ленка в сопровождении очередного своего хахаля, инженера по ирригационным системам из области, заперла магазин и удалилась. Стало пусто и тихо, лишь где-то лаяли собаки да светилась лампочка у дверей. Полынск спал.

## 11

Этим же звездным вечером супруги Кубышкины сидели под виноградным навесом и ужинали. Герасим Анатольевич, худой до крайности, такой, что брюки у него всегда спадали, несмотря на ремни, ел вообще не мало, но почему-то именно на ужин съедал более всего. Как ни боролась Анна Егоровна с послезакатным тревоугодием мужа, ни-

чего сделать не могла, хотя и подбирала ему специальную литературу о вреде обильной пищи на ночь. К тому же подозревала она, что худоба мужа происходит из-за того, что завелись в нем кое-какие паразиты. Памятуя еще бабкин рецепт, она делала одно время морковный сок и поила им отнекивающегося Герасима Анатольевича, но ничего не получалось: ел он, как и прежде, нормально, но и худ оставался по-прежнему, зато как-то пожелтел лицом. Вот и сейчас Герасим Анатольевич съел манной каши, две котлеты, пару яиц ипил чай со сладкой булкой.

– Что-то наш Иван Иванович припозднился сегодня, – заметила Анна Егоровна, прибирая со стола. – Уже все киносеансы позакончатся бы должны.

– Гуляет, наверно, – предположил Герасим Анатольевич, вкусно прихлебывая чай. – Он ведь, Анечка, целыми днями ходит по городу, осматривается. У него уж тут и прозвище появилось – Наблюдатель. Мы с тобой с детства по своей земле ходим, а он полмира исколесил и когда только до родины добрался! Его тоже понять можно.

– Как только люди без родины живут? – горестно произнесла Анна Егоровна, присаживаясь на край лавки и складывая на коленях уставшие за день, натруженные руки. – Ты ведь подумай, Сима, ему всего ничего было, когда мать его за границу увезла. А он же русский человек, наверно, мыкались они там без кола без двора. И главное, его вины-то в этом нету – взяли, как слепого кутенка, и увезли. Трагично это.

– Без родины жить трудно, а особенно если не сам уехал, – согласился Герасим Анатольевич. – А теперь на восьмом десятке как ему, горемыке, свое детство вернуть? Все копает, копает, как рудокоп: что, где, когда? И по улицам, я знаю, зачем он

ходит – вдруг высветлится ему какое воспомина-  
ние.

– Сима! – всплеснула вдруг руками Анна Егоровна. – А помнишь, он про мельницу Рябухина все спрашивал? А ведь Таня Рябухина жива-здорова. Я ее на базаре как-то раз встретила, она и говорит: никого кроме нас в городе из старых знакомцев не осталось. А тут как раз Иван Иванович. Надо бы их познакомить – все Ивану Ивановичу приятно будет. У их отцов ведь общее дело было. Помнишь?

– Верно! – озарился Герасим Анатольевич. – Непременно мы их познакомим. Митя-то, когда приезжал, всегда к Танечке ходил и даже цветы ей дарил. Это ты, Аня, прекрасно придумала. Молодец, Анетта! – Он вскочил, высокий, худющий, сутулый и вlepил жене звучный поцелуй. Закружил вокруг стола, потирая руки. – Пригласим ее на обед. Ты уж расстарайся... Точно, Ивану Ивановичу хорошо будет вспомнить. Может, он на своих лодках именно с ней и катался по Тереку...

Они ушли в комнату и еще долго обсуждали, как хорошо будет несчастному Ивану Ивановичу, ловящему всякую случайную фразу о прошлом, встретиться еще с одним очевидцем своего детства, той поры, которую он так трудно восстанавливал. Так они хорошо говорили, так славно мечтали, что и не заметили, как уснули обнявшись, одновременно, лишь у Герасима Анатольевича еще шевелились во сне губы, словно он не успел что-то договорить.

Сергей, отужинав пораньше, читал некоторое время в комнате нечто кроваво-историческое, про Чингисхана. Когда он услышал, что хозяева прошли в дом и забубнили что-то за стенкой, он отбросил книгу, потянулся и вышел в сад.

В саду парило. Не то гроза надвигалась, не то просто земля и зелень отдавали накопленное избыточное тепло в черно-синий, дурманящий воздух.



Сад у Кубышкиных был небольшой, несколько запущенный, заросший множеством трав, кустов, цветов. В ночной тишине благоухали жасмины и флоксы. Он пошел по еле заметной тропинке в глубь сада и остановился у заросшего кустами штакетника, который разделял двор Кубышкиных с соседским. Тихо было, где-то в траве стрекотали кузнечики и сырная луна уже чисто освещала землю, от которой струился запах, столь незнакомый горожанину и в то же время столь близкий. Он бросил байковое одеяло, захваченное из дома, на траву и лег на него, глядя в небо, следя за звездами и слушая тишину с отдаленным лаем собак, и все никак не мог наслушаться этим первоприродным запахом земли. "Черта мне эта суета, — думал он почти как дядя Иван Иванович. — Черта мне мой крест, когда мир живет..."

— Ау! — послышалось вдруг, и когда он быстро приподнялся, повернувшись на локтях, то увидел за соседским штакетником молодую девушку лет восемнадцати, смотрящую на него большими любопытными глазами.

— Привет! — сказала еще девушка.

— Привет, — ответил Сергей, поднимаясь, и улыбнулся.

— Вы кто?

— Прежде всего я человек, — усмехнулся он.

— Вы у Кубышкиных живете? — снова спросила она, игнорируя некоторую неопределенность ответа.

— У Кубышкиных. Как ты догадалась? — усмехнулся еще раз Сергей.

— Так вы ж в их саду лежите, — произнесла она таким тоном, будто прощая его за недогадливость. — Вы нездешний?

— Нет, не здешний, я из Москвы, — ответил Сергей.

– А старый дедок, что с вами ходил, – он кто?

– Он мой дядя. Он тут родился и приехал родину повидать. – Сергей решил подпустить интереса. – Он из Парижа.

– Ладно, – равнодушно сказала девушка. – А то ходит он чего-то, глядит на всех, как этот... – Она не договорила. – А мы с прошлой осени тот дом купили, вы меня не знаете. Вы ведь Сергей, племянник Кубышкиных.

– Да.

– Ну вот. А я вас знаю! – Она кивнула головой, серебрянно светящейся в лунном свете, и ловко, по-мальчишески перемахнула через заборчик, сверкнув серебряно же длинными ногами. – Только если мать найдет – она мне всыплет. – Девушка подмигнула Сергею озорным глазом.

– Давай знакомиться, – сказал он. – Тебя как зовут?

– Лида.

– Прекрасно, Лида! А меня можешь по простоте душевной называть Сережа.

– Нет, лучше Сергей, – сказала она, закусив губу. – К вам это лучше как-то подходит. А я вас с тетей Светой как-то видела.

– С какой тетей Светой?

– Да со Светланой Владимировной, учительницей из второй...

”Боже мой! – подумал Сергей почти с отчаяньем. – Ведь это Светка Сардикова, подруга детства, единственная оставшаяся в Полынске. Да на год меня моложе... Если она уже тетя, то что же я для этой девчонки?..” Он провел рукой по разом вспотевшему лбу. ”Наши девочки... – подумал он еще с какой-то печальной отчетливостью. – Наши ровесницы стареют, превращаются в тетю. Они повзрослели раньше нас. Все мы еще играли на гитарах и орали глупые песни, все мы еще заняты были ерун-

дой, а они уж были взрослыми, и мы для них были не более, чем сопливые мальчишки. Оттого и чурались они нас, а предпочитали общение со старыми (у-у-у-какими старыми – лет тридцать!) мужиками. Сейчас нам всем уже хорошо за тридцать. И мы как раз стали этими старыми мужиками, идеалом молоденьких девочек, вроде этой Лиды. А наши девочки стареют. Они уже просто бабы, бальзаковские и более, издерганные, с морщинами, детьми и так далее. И совсем неизвестно, что лучше: рано взрослеть или попозже стареть. Ведь мы, мужики, не старые. Нет, мы еще ого-го молодые! Мы еще можем втягивать животы и петухами ходить перед молоденькими Лидами. А они почти прикончили свой молодой век. И обидно за них...". Так думал Сергей, глядя на сидящую рядом Лиду. И еще вспомнил он Надежду, которая тоже была там, на грани молодости. Ему сразу стало обидно и за нее, и за себя одновременно.

– Зачем вы к нам приехали? – спросила Лида.

– Чтоб дяде посмотреть то место, где он родился.

– И всего-то?

– А разве этого мало? – грустно спросил Сергей.

Послышались шаги и Лида, шепотом воскликнув: "Ну маманя дает!" – поспешно перепрыгнула на свою половину и исчезла за темнотой кустов и фруктовых деревьев соседского сада.

Сергей вновь лег на одеяло, подложив руки под голову, и задумался. Виденье девушки пропадало, как отзвук, растворяющийся в тишине. В черном небе высоко горели звезды. Дул легкий ветерок, одуряли шорохи листьев и запахи цветов и, казалось, что вся земля жила, тихонько шелестели, перекатывались песчинки, чуть дрожали травы, вздыхали спящие птицы... Потом было заиграла музыка у невидимой компании на недалеком дво-

ре, но вскоре оборвалась и опять наступила тишина...

"А и в самом деле, где Иван Иванович?" – задался вопросом Сергей. Он посмотрел на светящиеся часы: половина второго. И не слышно было, чтоб дядюшка прошел в дом. Он еще проверил – нет ли того в комнате, на месте, а не обнаружив, разволновался. С новым Иваном Ивановичем, с изменившимся, могло произойти все что угодно.

Сергей не стал будить Кубышкиных, так сладко спящих в своем счастливом уединении, а быстро собрался, накинул для важности пиджак, взял документы, свои и дядины, и побежал в городское отделение милиции на розыски.

## 12

В милиции Ивана Ивановича допросили быстро и коротко. Как только ввели его, сразу лейтенант сказал дежурному старшему лейтенанту:

– Хулиганил дедуля. Бил кому-то по морде, я не разглядел, вся голова этой бешеной собакой занята. Там Витька Голощапов крутился, который у нас с отсидки оформлялся, может, дружки они. Завтра его повесткой бы надо, а то опять делов наворотит. Да, еще орал, что иностранец, ну, всякое там... Я поехал, Лева, сам разбирайся с иностранцем. Выпивши он здорово.

Хлопнула дверь. Стоящий у двери пожилой рослый сержант с запорожскими усами тяжело вздохнул и неодобрительно поглядел на Ивана Ивановича.

– Кто таков, как фамилия? – бодро спросил дежурный.

– Жан-Жан Гранвиль, – из какого-то упрямства проговорил Иван Иванович, хотя все мысли о кон-

суле и адвокате уже развеялись и осталось только чувство старческой усталости и обреченности – будь, что будет. – Я ведь и правда французский гражданин.

– Пьяный вы, гражданин, – уточнил старший лейтенант. – Документов, конечно, нету? Нет. Так и запишем... В капезухе ведь никого нет? Вот и помести туда гражданина, – обратился он к сержанту. – А завтра разберемся.

– Вы ответите за все, – вяло произнес Иван Иванович, совсем сомлев, но уже рослый запорожец подталкивал его вперед изрядным животом со словами: "Давай, давай..."

– Нельзя! – крикнул Иван Иванович, отпихивая его живот.

– Ну! – напрягся сержант. – Ну-к, поспокойней у меня, пьяница! – От звука своего голоса он пришел в себя и добавил: – И руки назад, давай! За спину руки-то...

– Что? – жалобно и злобно сказал Иван Иванович, однако сводя руки за спиной. – Что вы сказали?

– Что... Мало отец тебя родной ремнем драл в детстве, – подталкивая Ивана Ивановича и отводя глаза в сторону, сказал он. – Старый, а хулиганишь. Давай, шагай... Разговаривать будет тут...

Иван Иванович шагал. Прошли по пустому и длинному коридору с потемневшей от времени и грязи штукатуркой, прошли какую-то комнату, где на дощатой скамье парилась баба в овчинном тулупе, прошли еще два голых и ярких коридора, расположенных буквой "г", которую так мягко нынче стал выговаривать Иван Иванович. Подошли к низкой, плохо окрашенной охрой двери, обитой железом, с круглым глазком и кормушкой, – прямо, как в тюрьме. Сержант побагровел и толкнул Ивана Ивановича плечом.

– А ну-к, отойди!..

Потом он завозился с замком. Иван Иванович смотрел на его склоненную, тучную фигуру, видел фуражку его с бугорком серой материи, натянутой черепом, и думал, по примеру всех арестантов, как же легко сейчас бабахнуть по этому бугорку... Но противная пьяная слабость была разлита по всему телу и не то чтобы бабахнуть (а этой мысли он даже испугался), но и расцепить руки за спиной казалось трудом невыполнимым. Все стало безразличным.

Сержант железно гремел ключами, а потом открыл дверь и почти втолкнул Ивана Ивановича в небольшую камеру. Это была настоящая камера и даже странно было, что находилась она не в серьезной тюрьме, а в обыкновенном отделении милиции маленького городка.

– Сиди, иностранец! – с невероятным презрением молвил сержант, резко захлопнул железную дверь и ключ дважды повернулся в замке. Он еще откинул затворку, поглядел в глазок на Ивана Ивановича, а уж только потом слышались его удаляющиеся шаги.

Ярко светила лампочка за частой и прочной сеткой. В зарешеченное окошко вползала ночь. Окошко было расположено высоко – на цыпочки встать – и то не дотянешься. За грязным стеклом виден был лишь мелко дрожащий краешек какой-то ветки. Голая нара, цементный пол, стены, ведерный бачок в углу. Иван Иванович прошелся, все еще держа руки за спиной: пять шагов в длину, три с половиной в ширину. "Да, келья Монте-Кристо..." – подумал он, но бывшая пьяная бодрость уже прошла.

Он сел на койку, осмотрелся. До половины человеческого роста камера была выкрашена той же охряной краской, что и дверь, потом следовала

синяя черта, а уж выше шла сероватая штукатурка. На штукатурке были следы, хоть и покрашенные небрежным движением кисти, отчего на стене виднелись словно свежие заплаты. Под вновь нанесенной замазкой можно было разобрать: "Олевич. Сижу за жену. Задушу!"; "Плохо обыскали. хим. карандаш при мне. Гусев - ...М."; "Ну и... ты Олевич! За бабу сидеть - свободы не видать! Каторжный". Еще было несколько неразборчивых надписей, в которых, как нарочно, четко проступали лишь матерные слова.

Иван Иванович зажал руки между колен, потряс головой и попытался оценить ситуацию. Ситуация оптимизма не вселяла, да и хмель еще порядком дурманил голову, делал мысли рваными и путаными.

Завозился ключ в замке, дверь открылась и вновь появился давешний сержант с седыми усами. Он кинул на нару подушку, сложенное вчетверо синее одеяло и тощий полосатый матрасик.

- А перин пуховых и простынок крахмальных вам не положено, - почему-то с удовольствием произнес он сочным тенорком, хотя злости не видно было на его раздутом, полнокровном лице. - Сейчас, погоди...

Чьи-то невидимые руки протянули ему миску. Сержант почти торжественно внес ее в камеру и передал Ивану Ивановичу.

- Хотя и не положен тебе ужин, однако учитывая возраст, дежурный распорядился. Ешь, иностранец... А пить захочешь - вона бачок с водой стоит. Как поснедаешь - постучи.

В миске было застывшее пшениное варево без видимого присутствия масла. Прямо на каше лежал толстый ломоть черного хлеба и два кусочка сахара. Иван Иванович с отвращением посмотрел на эту еду, даже хотел возмутиться, но потом вдруг

подумал, что он в тюрьме и на лучшее вряд ли может претендовать. "Господи, Боже мой! В тюрьме..." – с отчетливостью впервые подумал он. Посмотрел на зарешеченное окошко – дрожащая ветка куда-то пропала. Он подошел к двери и несмело постучал. Она тут же и отворилась.

– Поел? – строго спросил сержант.

– Да. То есть нет... – Иван Иванович засуетился. – Послушайте... э-э-э... Я бы хотел вас попросить... Происходит обидное недоразумение...

– Утром и разберутся, – отрубил сержант и пригладил усы. – Посуду давайте, коли есть не хотите. А до ветра сходить – постучите, выведут.

Хлопнула дверь, лязгнули запоры. Иван Иванович постлал на койку дохлый матрасик, бросил в изголовье подушку, жесткую и плоскую, как блин, лег и накрылся синим одеялом, пахнущим дезинфекцией. В камере было жарко, даже душно, но Иван Иванович мелко трясся от холода. Он вытянул ноги и повернулся к стене, спасая глаза от ярко бьющего света. Тяжело, ноюще заболела голова, не хотелось ни о чем думать. И как-то неожиданно, несмотря на головную боль, он уснул.

Проснулся Иван Иванович от того же лязга ключей и громких голосов. Он удивленно раскрыл глаза, встрепенулся и увидел седоусого сержанта, дежурного по отделению и Сергея. Сергей покачал головой, не удержался, фыркнул, а потом строго и серьезно произнес:

– Собирайтесь, Иван Иванович, пойдемте домой досыпать.

Этой сцене предшествовала другая, когда Сергей пришел в милицию и заявил о пропаже французского дядюшки. Дежурный старший лейтенант засмеялся и сказал, что у них сидит уже в КПЗ один "иностранец", но когда Сергей показал паспорт Ивана Ивановича, веселье тут же прекрати-



лось. Дежурный попросту растерялся. Никогда еще не доводилось ему задерживать и сажать в КПЗ пьяных иностранных граждан, да еще французов. В Полынске иностранцы вообще почти не бывали. Как-то заехало несколько иностранцев на празднование юбилея городка. Среди них были два негра, за которыми толпами ходила ребятня. Пару раз приезжали еще на день-два товарищи из братской Болгарии – осматривать канал. Вот и всё. А здесь – француз, капиталист, да еще старый, да еще хулиганил. Голова у старшего лейтенанта пошла кругом.

– Я должен получить указания, – сумел твердо выговорить он и принялся названивать домой начальнику горотдела милиции. Предварительно он спрятал документы Сергея и Ивана Ивановича к себе в стол.

Начальник сначала рассердился на поздний звонок, а потом и сам растерялся. Он велел ждать и сам, в свою очередь, стал звонить по начальству. Вскоре он появился лично, подтянутый и решительный, внимательно осмотрел документы, выслушал рассказ Сергея и распорядился выпустить французского гражданина Жана Гранвиля.

– Так точно! Выпустим и принесем извинения, – отвечал дежурный.

– А вот извиняться ни к чему, – сказал начальник. Это был пожилой, предпенсионного вида майор. – Если старик напился, руки распустил, то и извиняться не за что – действовал по закону. Выпустить, конечно, выпустим, но без извинений. – И он вышел из отделения в крошечную тьму летней ночи, невероятно гордый от сознания справедливости своих слов.

Когда Сергей и еле плетущийся за ним Иван Иванович получили паспорта, дежурный хотел им дать мотоцикл с коляской, но Сергей отказался.

– Нет, нам сейчас по свежему воздуху самое время пройтись, – сказал он.

Некоторое время шли молча по спящим улицам. Иван Иванович сутулился, шаркал ногами и был похож на провинившегося щенка. Потом Сергей не выдержал и стал укорять дядю, ехидно расписывая его аморальное поведение.

– До чего вы дошли, – говорил он. – На старости лет устроить пьяную драку с алкоголиками, попасть в милицию. Вы и в Париже так у себя деретесь в ваших волшебных ресторанах и кафе? Нет? Или вы специально в Полинск приехали, чтобы от души побезобразничать?

– Я очень пить хочу, Сережа, – только и выговорил дрожащим голосом Иван Иванович.

Они подошли к колонке на углу двух улиц, где Сергей потянул за рычаг, а Иван Иванович наклонился и стал жадно пить, постоянно соскальзывая ногой в поросшую травой канавку, полную лунной воды. Потом он вытянул шею и сунул голову под ледяную струю. Выпрямился, отдуваясь, и долго вытирал голову большим платком.

– Вы только нашим милым хозяевам не рассказывайте, – попросил он жалобно. – Ей-Богу, я совершенно не понимал, что делал... Какой-то бес в меня вселился, в самом деле. Очень странно... Я и сейчас нехорошо помню то, что было там... ну, там... вы знаете. Я пьян, вероятно, был. Ужасно! – Он пожал плечами, словно недоумевая, как такое могло случиться с ним, спокойным, обеспеченным буржуа из Парижа. – Я должен заметить, однако, – добавил он, – что более этого никогда не повторится.

– Искренне надеюсь, – усмехнулся Сергей.

– Скоро я уезжаю, Андрей Касьянович, – печально говорил Иван Иванович, стоя у квасной бочки и доканчивая уже вторую кружку. – Уезжаю и уже больше, наверно, никогда не вернусь. Не попить мне больше вашего кваса.

– А чего ж, квас он везде одинаковый, – рассудительно молвил хромой дядя Андрюша. – Не у нас, так дома попьешь.

– Не-ет, – Иван Иванович кисло улыбнулся и помотал головой. – Там, где я живу, никакого кваса нет.

– На Севере ты, что ли, живешь?

– На Севере, – уныло согласился Иван Иванович. – На диком Севере.

Было жарко и пустынно. Городок застыл, замер и даже мамыши увели детишек с детской площадки сада имени Кирова. От нагретой бочки веяло мощным жаром. Из-за большого количества выпитой жидкости Иван Иванович взмок и на плечах и под мышками расползлись у него темные круги. Он, дядя Андрюша да кассирша кинотеатра имени Кирова за стеклом, пожалуй, единственные, кто находился на улице в этот знойный день. Подошел раскаленный, совершенно пустой автобус. Водитель пробил талон на конечной остановке, тоскливо выругался и автобус отбыл, невыразимо скверно пахнув бензином в застойном воздухе.

– Ие-хе-хе, – прокричал дядя Андрюша. – Грехи наши тяжкие. Скоро все мы уедем далеко. Так далеко, что отсюда не видать.

– Умрем? – спросил Иван Иванович.

– Да уж померем. Попрыгали, побегали, пора и честь знать.

Иван Иванович помолчал, пожевал губами и протянул руку дяде Андрюше:

– Прощайте, Андрей Касьянович, я пойду, – и он зашагал домой.

Перед этим Иван Иванович прошелся по своему обычному маршруту, который сложился у него за дни, проведенные в Полынске. Он побывал в роще, купил семечек у Рубена, попил из фонтанчика, полежал на солнечной полянке, в сладком запахе трав, цветов и кустов дикого шиповника, в мирном жужжании пчел. Трава была мягкая, густая и теплая. Что-то в ней стрекотало, двигалось, жило. Иван Иванович плотно прижался к ней лопатками, всей спиной, раскинул руки и гладил землю нежно, осторожно. Как всегда бывает, когда долго смотришь на небо, оно плавно кружилось в его глазах, плыло в неведомую даль.

– Возьми меня, земля, – еле слышно бормотал он сухими губами. Ворочался, стараясь прижаться еще плотнее, а потом повторял с какой-то обреченной страстностью: – Возьми меня, земля...

Но земля не брала. Он постоял еще у Терека, попил квасу у дяди Андрюши, а потом вернулся домой. В маленькой их комнатке Сергей собирал свой чемодан. Вещи же Ивана Ивановича были собраны накануне – даже после всех произошедших с ним чудесных превращений он не избавился от раз и навсегда заведенной в нем пружины порядка. Было тихо. По беленым стенам ходили прозрачные тени от тюлевых занавесок. Герасим Анатольевич куда-то ушел, а Анна Егоровна поливала цветы в дальнем конце сада.

– Знаете, Сережа, – заговорил Иван Иванович каким-то томным голосом. – Несмотря на все мои уверения, во мне просыпается чувство Родины. Да, да, не смейтесь. Я всегда жил с этим чувством, так нас учили в детстве, но до поры оно во мне спало. – Он протяжно и тяжело вздохнул. – Ах, бедная, бедная Родина. Я все же люблю ее, Сережа.

– Не интересничайте, – сказал Сергей ворчливо, продолжая складывать вещи в чемодан. – Можно подумать, что вы диктуете сентиментальные мемуары.

– А ведь это мемуары почти и есть, – откликнулся Иван Иванович. – Мне давно еще, я молод тогда был, один наш старый эмигрант сказал в Париже, что я с возрастом Россию полюблю и буду по ней тосковать. Ах, как он был прав!

– Что же, побыли в России месячишко, портвейна попили, подрались, погуляли и сразу возлюбили бедную Родину? – Сергей не любил чувствительные откровения дядюшки и потому голос его звучал с сарказмом. – Вы не тому душу изливаете, Иван Иванович. Я вместе с вами не заплачу.

– Мне почему-то казалось, что вы меня поймете, – Иван Иванович встал. – За всю жизнь я так и не научился со спокойствием наткнуться на стенку непонимания, когда мои чувства для других людей ничего не значат.

– А вы себе никогда не задавали вопроса, – что, мол, у меня за чувства такие? И имеют ли они интерес для других людей?

– Вы неисправимы, – хотел сказать Иван Иванович с доброй улыбкой, а получилось – с жалкой.

Всё уже было решено и подготовлено, и Иван Иванович с Сергеем должны были сесть на бакинский поезд, проходивший через Полыньск поздно вечером. После веселой эскапады дядюшки Сергей действительно поднял вопрос об отъезде. Иван Иванович не протестовал. Сообщили об этом в Москву Дмитрию Ивановичу, тот снесся с каким-то своим приятелем-начальником в Полыньске и им принесли билеты, после чего оставалось только собирать чемоданы и прощаться.

К обеду Кубышкины приготовили Ивану Ивановичу сюрприз. За столом сидела старая, седая

женщина с водянистыми голубыми глазами в старомодном черном костюме и белой, но уже желтоватой от времени блузке, с черным шнурком на шее – какая-то сельская учительница начала века, только вот пенсне не хватало. Она так и щурилась, словно пенсне не хватало, хотя зрение у нее было отличное. Звали женщину Татьяной Гавриловной Рябухиной и была она той самой Танечкой Рябухиной, о которой вспоминал в Москве Дмитрий Иванович Нестеров. Она и впрямь оказалась бывшей школьной учительницей и разговаривала назидательно, строгим тоном.

– Что же это вы, голубчик, лишь на старости лет родные края вспомнили, – обличительно вещала она. – Неужели за всё время не колыхнулся в вас росточек русской, родимой земли? Неужели не захотелось вам поцеловать землю Родины, давшую вам жизнь? Не понимаю. Нет, я понимаю, могли быть всякие обстоятельства, но всё же, всё же...

От ее слов и от ее тона Кубышкиным стало неловко. Они уж и не рады были, что пригласили на последний обед Рябухину. Но они напрасно расстраивались – Иван Иванович, хоть и смотрел внимательно на отставную учительницу, не слышал ее слов.

Вспоминая свое детство, катанье на лодках, прохладу сада и вообще все те немногие мелочи, что доводилось ему воссоздать в памяти, он представлял там всех людей молодыми и прекрасными. Себя он видел белоголовым маленьким шалуном в косовороточке, такой, в какой запомнил он брата Митю; мать и отца видел такими, как на их свадебной фотографии, над которой часто проливала слезы мать в Париже, да и все взрослые были там статными, веселыми, а дети – эфирными, крохотными созданиями с ангельскими личиками и звонкими голосами. И когда ему представили Татьяну

Гавриловну Рябухину, которую брат с нежностью называл Танечкой, а перед ним возникла сухая, некрасивая старуха в черном, с редкими седыми волосами, он улыбнулся машинально и зарыскал глазами в поисках прелестной златокудрой девочки. И теперь, сидя напротив, он смотрел на нее, как в зеркало. Не всякий человек замечает этапы своего старения, и Иван Иванович тоже не обращал внимания на то, что возраст сделал с ним за годы. Да, вот сердце подводит, слабость в ногах, двигаться тяжело, но вроде все еще человек, мужчина, пусть хоть и лысый. А тут – старуха. Стало быть, и он старик. Горький, смешной, глупый старик.

Ему стало нехорошо. Сердце запрыгало нервно, натужно, на лбу выступил обильный холодный пот. Он украдкой стал массировать грудь слева. А Рябухина неожиданно предложила всем спеть и запела, правда, одна, какую-то народную песню, которую он не знал.

– Извините, я вас покину на несколько... – пробормотал Иван Иванович, поднимаясь и слабо улыбаясь побелевшими губами.

Он шаркающе прошел по дорожке, открыл калитку и вышел на невысокий взгорок перед домом. Солнце садилось, золотя пыльную улицу. На углу Школьной и Учительской мальчишки играли в футбол. Пропылил грузовик с молокозавода, гремя пустыми проволочными ящиками. Дальше тянулись заборы, густота садов, крыши, а еще дальше, в самой сказочной дали смутно, неясно белели верхушки Казбека.

Иван Иванович постарался вздохнуть как можно глубже и спокойней. Неровное биение сердца не проходило, напротив, изнутри грудь заполняла недобрая тяжесть. "Есть Бог во мне?" – подумал Иван Иванович с ознобом. – "И есть ли моя ступень? Или не живу и не жил я вовсе..." Он повернулся, чтоб

идти в дом, но неожиданно почувствовал резкую боль в груди и ощутил, что падает – пыльная земля с подсолнечной шелухой рванулась к глазам. Он инстинктивно выбросил руки и скорчился, и оттого упал на бок, не разбившись. Боль опять резанула. Хотел крикнуть, позвать на помощь, но изо рта вырвался лишь шип, похожий на змеиный. А потом он потерял сознание.

Нашел Ивана Ивановича через несколько минут старик Кубышкин, вышедший за задержавшимся гостем. Гость нелепо, неестественно лежал у калитки на земле. По его лицу бежали деловитые муравьи. Герасим Анатольевич испугался и закричал. Все выскочили на улицу. Сергей сразу же взялся за дядюшку, послушал сердце, кивнул и они с Кубышкиным осторожно понесли Ивана Ивановича в дом. Руки и ноги его безвольно болтались, как плети, глаза были закрыты.

– В скорую срочно позвоните! – крикнул Сергей.

Анна Егоровна бросилась к соседу агроному Шконде, у которого был телефон, а Рябухина засуетилась, побежала мочить полотенце в холодной воде – это почему-то показалось ей наиболее радикальным средством.

– Ну вот, аукнулись ему его портвейны, – сказал Сергей, вытирая со лба пот, когда они уложили больного на кровать. – Ах, бойкий старик.

– Что с ним? – тревожно спросил Герасим Анатольевич.

– Что со мной? – тихо донеслось с кровати.

Иван Иванович очнулся и лежал, не шевелясь, с широко открытыми, полными изумления глазами. Нос у него заострился, брови вскинулись.

– А кто его знает! – в сердцах сказал Сергей. – У меня же ничего нет. Сейчас скорая помощь придет – тогда узнаем. Может быть, что и инфаркт.



Или удар, как вы говорите. Вот они, ваши половецкие пляски, Иван Иванович. Сами так себя берегли, а не добереглись.

Скорая прибыла довольно быстро. Деловитая толстая женщина-врач выслушала притаившегося от страха перед ударом Ивана Ивановича, сосчитала пульс, смеряла давление, спросила, были ли у него подобные случаи раньше, задумалась на минуту и сказала, что ничего особенно страшного нет, просто приступ, и дала ему нитроглицерину.

– Простите, а больной транспортабелен? – вмешался доселе молчавший Сергей.

– В каком смысле?

– Нам сегодня нужно ехать в Москву.

– Самолетом?

– Нет, поездом.

– Тогда можно, – великодушно разрешила она. – Положите дедушку на полку и пусть лежит всю дорогу, а вы его чайком поите. Только сразу по приезде к врачу. Надо кардиограмму сделать, мало ли что...

Но когда она стала писать свои обязательные бумаги и узнала, что ее пациент иностранец, подданный Франции, то моментально изменила свое решение.

– Нет, нет, нет! – с оскорбленным возмущением восклицала она. – Да вы что, с ума сошли?! А случится что в дороге – с кого спрос?

И только после того, как Сергей объяснил, что он родной племянник больного и сам врач, она с сомнением покачала головой и молвила:

– Ладно... Под вашу ответственность...

До отъезда Иван Иванович отлежался, порозовел и даже выпил чаю с печеньем. То, что у него не было никакого удара, сильно ободрило его. Он даже посетовал со слабой и многозначительной улыбкой, что вот-де испортил обедню и ему очень

за это совестно. Кубышкины замахали на него руками, запротестовали.

Подъехал таксист, с которым Сергей договорился накануне, были погружены вещи. Из дома вышел Иван Иванович, который шел осторожно, словно нес в себе что-то хрупко-хрустальное. Все расцеловались, а Анна Егоровна даже всплакнула.

— Приезжайте к нам опять, Иван Иванович, — сказала она. — Мы ждать будем.

Неожиданно залаял рыжий вислоухий Просперо, обиженный, что на него не обращают внимания.

— Прощай, литературный герой, — сказал Сергей и почесал его за ухом.

Когда машина свернула за угол, Кубышкин обнял жену, спасая от прохладного ночного ветерка.

— А жалко его все же, — сказал он. — Неплохой старик, но несчастный.

— Больной, — добавила Анна Егоровна, и они пошли в дом.

Когда подъехали к вокзалу и выгружались, Сергей заметил, что в небе, как и в день их приезда, опять множество звезд и ветерок дует тот же — с полынной вековой горечью.



## Кто обживал своим теплом...

\* \* \*

Утекающее время...

Прозвучало – слишком поздно! –  
Из разболтанного крана  
струйкой крутится вода.  
Проросло сомнений семя –  
за стеклом темно, морозно,  
И сочится кровь из раны,  
исчезает без следа.

Утекающее время

я клянусь и плачу слезно:  
Все от холода застыло,  
сердце в горести – беда...  
Ожиданья тяжело бремя,  
тьма густа,  
но небо звездно,  
Что случается однажды –  
происходит навсегда!

\* \* \*

В Хлебниково, где хлеба ни корочки,  
Хоть полочки все обшарь,  
Но тянется нить к иголочке,  
А на дворе – январь.

Колодец стоит на улочке,  
Да некому лед сколоть...  
Искала себе притулочка  
И льнула ко плоти плоть.

Вот она – правда голая:  
Соблазн, любопытство, блуд?  
А души – они бесполые,  
Им уготован суд.

Под утро, к рассвету квелому –  
(Видение, бред, сон?)  
Шествие невеселое  
Заполонило склон.

Пресытись при жизни гонкою,  
Тени покорно ждут,  
А горы – живой воронкою  
Скручиваются в жгут...

Верую в мир как целое –  
Прозрение, радость, боль...  
В Хлебниково все тропы белые,  
Нет хлеба – в избытке соль.

\* \* \*

Кто обживал своим теплом  
Необозримые пространства,  
Кто замерзал в снегу сыром,  
Продавший душу бесу странствий,

Лишь тот – как в омут головой –  
Поймет вокзальные тревоги:  
Обручена тайком с тобой,  
Обречена навек дороге.

О, машинист, гони состав!  
Не пропускай вперед товарный!  
Пусть я виновна, кто-то прав,  
Но мне ли быть неблагодарной?

Мне есть кого любить, ямщик,  
И если сердце не обманет,  
Еще не скоро тот тупик,  
Где поезд мой надолго встанет!

Мне есть куда спешить, ямщик,  
Минуя снежные заносы,  
Еще далек, надеюсь, миг,  
Когда слетит вагон с откоса...

## РОЖДЕСТВО

Блеснул огонь, запахло серой,  
Когда возник у Царских Врат  
Между душой моей и верой  
Со вспышкой фотоаппарат.

Фотограф видный был мужчина,  
Обычный для журнальных сфер,  
Я поняла – его личину  
Сегодня выбрал Люцифер.

И веки медленно взлетели,  
И в сердце впился мутный взгляд...  
А я почти была у цели,  
Но тут вернулась в тень, назад.

И на хорах запели тонко,  
А я таюсь как вор, как тать:  
Спектакль, дублированный пленкой,  
Не осеняет благодать.

А на дворе – утихли бесы,  
Порывы вьюги улеглись,  
И кротко льется свет небесный  
На первозданность снежных риз.

\* \* \*

Ты помнишь детскую, сестра?  
Глухая ночь, а нам не спится,  
И продолжается игра:  
"Ты где хотела бы родиться?

В какой стране, в году каком?" –  
Еще не видно перемены,  
Стыл город детства за окном  
Как призрак ледяного дома.

Я вся – действительности вне...  
Но зреют мартовские иды.  
Еще загадочен вполне  
Мир этих взрослых, умных с виду.

И рухнул ледяной дворец,  
Оплот последний тьмы кромешной,  
И ненадолго ветер вешний  
С Невы повеял, наконец...

Вот наши девочки, пора  
Нам с ними вместе подивиться:  
В каком году и где, сестра  
Нас угораздило родиться!

\* \* \*

*"Через сто лет люди тут  
будут удивительно счастливы".  
А. П. Чехов, "Три сестры"*

Вдали по дереву стучали...  
И страсти выплеснулись в зал:  
Конец столетия – в начале  
Себя, как в зеркале, узнал.

На перекличке поколений  
Зачем искать, кто виноват:  
Чтоб больше света, меньше тени,  
Срубают мой вишневый сад,

И три сестры, у рампы стоя,  
Твердят свое: – в Москву, в Москву!  
А мы с сестрой напротив – двое,  
Но это нас они зовут.

Почти что те – прически, платья,  
Невоплощенный дар любви...  
А между нами – призрак счастья,  
Обломки Храма-на-крови.

## Черная радуга

Вверх по улице мир кончался мелочной лавкой на углу Ангарской и Якутской. Дальше была непреодолимая для меня в те времена дорога из зыбкого вязкого песка, а за ней начиналась тайга. Начиналась сразу, без всякого перехода, только край ее был обозначен полоской кладбища, белевшего крестами сквозь заросли багульника по ту сторону дороги.

Лавку держали два брата, китайца. Я до сих пор помню их лица. Особенно запомнились мне их жены, с забинтованными культияпками крошечных ножек, поспешно ковылявшие из глубин лавки на зов колокольчика, оповещавшего приход покупателя, даже если покупатель этот так мал, что к нему нужно склоняться чуть не до полу, чтобы вручить вожаделенную конфету, длинную, обернутую в пеструю бахромчатую китайскую бумажку.

Меня здесь встречали как свою, я ведь была их соотечественницей. Я, как и они, родилась в Китае.

— Му-ру-ши-ха..., — пленительно отзывается во мне сквозь громы десятилетий певучий, ласковый голос "моих" китайцев.

Во дворе у нас тоже жили мои соотечественники — они торговали мороженым. Теперешние дети не знают уже, что такое маленькая тележка с высокими, вставленными в кадочки со льдом, мороже-ницами, которые время от времени поворачиваются в этом льде. Сбоку тележки висело полотенце и в



специальном ящичке – формы для мороженого. Взамен заветного пятака вы получали кружок мороженого в хрустящих загорелых вафлях.

Но нельзя думать, что всё необычное в той жизни заключалось в покупках. Жизнь, когда тебе всего пять лет и ты только-только вернулся в отчий дом, переполнена всяческими необычностью...

В то время, от лица которого идет рассказ, от отчего дома оставался только один низ, а второй этаж был занят жильцами, вселенными по ордерам. Это было необычно, но мне нравилось всё, что выходило за черту будничности. Я никогда не боялась, если вдруг начинал трезвонить звонок в парадном или тревожно и часто начинали стучать в окна и двери.

– Пришли с обыском, – кричала я радостно и, опережая всех, мчалась отворять двери.

Обыскивать нас с каждым разом становилось проще. Взломанные в парадном половицы мы так и не ставили на место, облегчая участь последующих обыскивателей. Шкафы, ввиду постоянной распродажи их содержимого, просматривались насквозь, и даже бархатные портьеры гостиной, которые для верности иногда прошупывались при обыске, были перекрашены и превращены мамой в очаровательные толстовки, сшитые на дорогу для моих юных теток, как только стало известно, что они получают визы. И даже из остатков сшили толстовочку и мне. Мы все снялись в фотографии бывшей Янкелевича в этих толстовках на прощание. На память перед дорогой. Перед дорогой.

Мы не знали тогда, что не только девочки, а, пожалуй, добрая половина города, да что города – целой страны – была тогда перед дорогой. Перед дорогой закладывались нами в ломбард оставшиеся не обмененными на хлеб и сало ротонды и шубы. Перед дорогой девочек учили у частных препода-

вателей иностранным языкам, потому что обучение, даже во второй ступени совшколы, не гарантировало хотя бы приблизительного знания этих самых языков. Перед дорогой отдали девочкам бабушкины старинные тяжелые кружева, и броши, и тяжелые серьги с матово блестящими каплями бриллиантов. Перед дорогой устраивались вечеринки и необычайно веселая встреча Нового года и Рождества.

Перед дорогой запряг дедушка в телегу последнего племенного жеребца Игреньку, и всем семейством, вернее, оставшейся его частью, мы поехали вместе с девочками прощаться с родней. Я не помню, к кому и куда именно мы ездили. Только навсегда впечатался в меня прохладный закат, и распряженный конь, привязанный к телеге, и все мы, сидевшие на траве у обочины бывшей дедушкиной земли, на которой размещалась уже воинская часть и куда нам нельзя было и подходить близко. Мы сидели на небольшой полянке, в виду бывшего нашего загородного дома, который виднелся отсюда красивым, облитым необычайно розовым светом, и потом девочки и папа запели про вечерний звон и отчий дом.

А на полке вагона, куда мы все вошли, провожая девочек, было вырезано — Маруся Соловьева. Вырезал это в прошлом году политехник Вася, когда всей компанией они возвращались с пикника. Маруся не хотела ехать за границу. Но что же было оставаться... Дочерей лишенца, самих лишенков и в школе-то держали только потому, что педагоги и завуч, и завроно очень уважали дедушку, бывшего долгие годы попечителем учебного округа и всех городских гимназий.

Девочки уехали. С их отъездом связано первое чувство тоски. Я не знала что это, однажды властительно заявившее о себе. Был вечер. Мама стирала

белье, а я подошла к корыту, где вскипали белые мыльные облака, и оцепенела от какого-то сладкого ужаса перед тем, что я никогда больше не увижу Марусю и Женечку, и дядю Саню, и крестную, и тетю Аню, и тетю Зину, и тетю Шуру, всех, всех. С этого дня я начала взрослеть. Я жалела дедушку и скучала по дяде Пане и тете Оле, которые ушли из отчего дома на квартиру и даже не приходили к нам в гости. И часто стал уезжать из дома и подолгу отсутствовать мой отец. Иногда ему удавалось устроиться в нашем городе. Учреждения, в которых он работал, были с красивыми названиями: Медсантруд, Кубуч. Только устраивался он ненадолго, и чаще мы жили без него или ехали куда-то вслед за ним. И книжки его "Готовься в ВУЗ" мы тоже возили с собой.

Черная радуга детства. Под ее аркой мой детский мир с недетскими бедами. Как сжималось у меня всё внутри при одной только мысли о разлуке с дедушкой! Но зато, когда мы возвращались, уже задолго до этого дня переставала я есть, спать, гулять, а подъезжая, стояла у окна вагона, чтобы поскорее, чтобы первой увидеть дедушку.

От огромной его семьи, от его миллионов, от дела, которым он жил, уже ничего не оставалось. Одно за другим терял он всё, обретая постигаемое теперь мной смирение. Только Собор оставался у дедушки в нашем городе. Он и погиб вместе с ним, его до последнего защищая. Как мог. Как не смел...

Страшно думать, почему же мы оставили его тогда, в наш последний отъезд, в городе? Что пережил он, когда один за другим покидали его его дети? Когда он навсегда прощался с девочками, когда он тосковал по другим, уже давно жившим вне России? Что виделось ему в последнее утро его жизни? Мы были так бесправны, так бессильны, так бедны. Мы все оставили его. Никогда больше не

было у нас отчего дома, и, возвращаясь, мы проезжали мимо него, уже чужого, занятого каким-то управлением.

И растет, и ширится надо мной, поперек всего неба, вспарывая это самое небо, как ударом шашки, черная радуга. Ярая, грозная радуга моего детства.

\* \* \*

Нет желанней свободы  
В пленении жить стиха,  
Строфою-судьбой обернуться,  
Незнайкой-всезнайкой  
К строке прикипит строка.  
И вретись чуждой словесной лузги,  
И царские бармы обманной строки совлекая,  
Понятной, как тихие звоны песков  
И шуршанье трав.  
И поэзии чистой  
Простыми словами души прикоснуться,  
Той правдой, что смеешь поведать в стихах.

\* \* \*

Уходит за пределы бытия  
Мой мир, чуть-чуть не настоящий,  
Придуманый, прожитый и пропащий.  
Уходит память об искоженных горах  
И вмерзших в лед полярных островах,  
О Цне-голубке и Двины мерцаньи.  
Уходят скорби.  
Но живым-жива  
Благословенна память о скорбящих,  
О тех, чьи в Лету канут имена.

\* \* \*

Все обещание тепла.  
Просевшие и хрупкие снега,  
Набеги редкие метелей  
И на обрыве у реки  
Кусты оживших бересклетов.  
В глубинах льда уже вода  
И с крыш срываются капли,  
А на опушке за рекой  
Деревья нежно лиловеют.  
Светлее и длиннее день,  
Уж ломок лед на колее  
    И верб расцветших скромная краса  
    И дни прекрасные Великого поста.

## БЫЛИННЫЙ КАМЕНЬ

Былинный камень,  
Камень бел горюч,  
Слагавший на Руси святые храмы,  
Хранящий трепетный огонь  
Творящих чудо рук,  
Что каменными звали кружевами.  
Смотрю – не насмотрюсь  
На дивное узорочье  
Цветов и трав,  
На птицы Сирий взмах волшебного крыла,  
И поступь важную диковинных зверей,  
И царственной лозы над стенами паренье.  
Былинный камень,  
Камень бел горюч –  
И торжество и озаренье.



Скатным двинским жемчугом  
Мерцает образ Младенца и Марии.  
– Спяща мя сохрани... Помилуй...  
Я ей помогаю как могу, –  
Приношу с болота морошку  
И белых ядреных грибов,  
И веников на прокорм  
Единственной ее животины –  
Строптивой козы.  
Каждое утро на рассвете  
Хозяйка топит печь,  
И дым из трубы как весть,  
Что дом жив, что в нем люди.  
Ночью снова ведем разговоры:  
– Слушай, гли-ко,  
Опушка отсюда ровна,  
А подойди вблизи – всякое дерево  
на свой лад...  
Обсудим, пора ли убирать жито,  
И если пора, то выбираем время и жнем,  
Копаем картошку.  
Но приходит время отъезда,  
И отмерен срок каждой жизни.  
Ее схоронили в марте.  
Снова белой ночью не спится...  
Голос ее материнский слышится мне.  
Вглядываюсь в сумерки, в лес темный,  
В мерцающую перламутровую Двину.  
– Дажь, Господи, путь ми,  
В онъ же пойду...

## НА РЕЧКЕ ПРОНЕ

На речке Проне  
Тишь да благодать.  
Узоры ив на водами нескорыми  
Застыли в раме берегов отлогих,

И отражение их недвижно на воде.  
А спуск к воде из камня белого, былинного.  
По этим плитам некогда князь пронский  
На битвы рать свою победную водил.

Бесстрастно летописец повествует:  
— Поиде князь великий Всеволод на Пронск  
С сынами и ратью.  
Проняне же, во граде затворишася,  
И Всеволод пришелец оступи град...

За землю эту бились, умирали...  
Забыты битвы. Смокла песнь жнеца.

Узоры ив над водами нескорыми,  
И древний спуск из плитняка.

\* \* \*

Каждое утро иду на работу  
Бывшим погостом.  
И из далекого, уже совсем забытого нами  
Слышится мне  
"Порастроньтесь, люди добрые,  
Припаду я к могилушке,  
Я послушаю, несчастная,  
Нонь не стонет ли сыра земля.  
С гор катитесь, ручьи вешние,  
Вы размойте пески желтые,  
Поднимите гробову доску.  
Взбушуйте, ветры буйные,  
Размечите вы сыру землю..."

Это плачу я, несчастная,  
Это я припала к холмику,  
Это мне тошным-тошнехонько,  
Нет мне отзыва от милого.  
Возбушуйте, ветры буйные.



## Перо

Обратите внимание: для широкой публики В. М. человек пренезаметнейший. Живет тихо, частно, замкнуто. Абсолютный инкогнито, полнейшая тайна. А парадокс в том, что плоды трудов его общеизвестны, о них шумят и даже очень. Хотя, впрочем, кто шумит, а кто и нет, а некоторые по секрету весьма на него негодуют, но это дело другого рода, так сказать, ответная реакция; важно, что никто почти не знает его самого, всем в то же время известного. Так и детишкам можно было бы загадывать: "Кто такой: никто его не знает, а всем он известен? А?"

Недавно еще бывало: включишь утром радио или "Правду" раскинешь: ба! – да вот же он собственной персоной. Узнаём сразу, то есть, что это именно В. М., конечно, ни за что не догадаешься, но каждый обязательно скажет, что это тот самый инкогнито, та самая тайна. Слог выдает его с головой.

Шутки в сторону, В. М. – мировая константа. Он постоянен, как число "пи". Любое событие, умноженное на В. М. (то есть им одобренное), становится, как минимум, втрое значительнее, и напротив, всё, раскритикованное им, втрое теряет в весе. С ним гранды считаются: "Вашингтон пост", "Монд"; к нему "Майнити" прислушивается; его "Зюддойче цайтунг" цитирует. И при том, о самом авторе ни

слуху ни духу. Ни портретик его нигде не выско-чит, ни псевдоним хотя бы. Похоже, что инициалы — В. М. — фигурируют сейчас впервые, а до того их нельзя было раздобыть ни за какие коврижки, как чертеж самоновейшей ракеты или какой-нибудь новогодний презент минфина. Полный мрак. А ведь жив, жив курилка! Дышит, шевелится, попыхивает сигареткой, горбится в безвестности и скрипит-скребет-царапает перышком по ночам в одиночестве. Так где же он, где, чёрт побери?! Кто он? Как выглядит? Что делает? О чем толкует? Меня загадки эти с юных лет занимали.

Схватишь в сердцах газетный лист, вывернешь наизнанку, потрясешь в воздухе: может, вывалится откуда-нибудь писарь души человеческой... Нет, не вываливается. Нету его. Как в воду канул. И никому-то невдомек, что он именно не кто иной, как Викентий Матвеич (В. М.) у себя дома в Москве на улице Новослободской в собственной квартире.

В честолюбивую пору ранней молодости такая сугубая безвестность отнюдь не вдохновляла Викентия Матвеича, наоборот, она его обижала, ущемляла самолюбие, казалась величайшей несправедливостью. Но с возрастом обида прошла; слава, как ей и положено, представилась пустейшей игрушкой вроде раскрашенной "матрешки" (сколько до нее ни добирайся, а ничего там нет, кроме тех же самых "матрешек", только все мельче, мельче); и в противоположность прежнему состоянию стал он находить массу удобств от своей легальной законспирированности. Никто не надоедал ему телефонными звонками, не засыпал письмами, не докучал недоуменными вопросами или вовсе уж неприличным дрянным попрошайничеством. От всего этого был он надежно огражден, избавлен и на судьбу не пенял. Правда, в особо торжественных случаях, в виду государственной церемонии или какого-либо

юбилея приходилось ему являться на публике, и карты его даже как бы неосторожно раскрывались, когда председательствующий рекомендовал его полностью: выступает-де ведущий сотрудник газеты "Правда" Викентий Матвееч Крючков, но никогда при этом не упоминалось, а что собственное такое он ведет? Чем знаменит? О чем повествует читателю? Так же устроены, между прочим, и наши специальные учреждения. Известно, допустим, что существует предприятие "Гладиолус", а в других документах фигурирует некий почтовый ящик № 128/701, но что "Гладиолус" и № 128/701 одно и то же, никому знать не положено. Так что бдения Викентия Матвееча как бы ненароком приравнялись к деятельности особо важного п/я, и постороннему могло показаться, что он чуть ли не держит в руках нити власти. Вздор, конечно, однако ж...

Был когда-то пущен у нас в обиход такой оборот: текущий момент. Забавная штука. Это момент настоящего, но не статичный, не сидячий, а движущийся или, как сказано, текущий, что-то наподобие английского Present Continuous - настоящее продолженное. Не просто "я читаю книгу", а "я читаю книгу сейчас, нынче вот". Не вообще: читал, отложил, опять вернулся, - а непрерывно читаю, и это длится-длится, никак не кончится; может быть, только что началось. У англичан слова-указатели "сейчас", "нынче", "в этот миг" помогают не сбиться во времени, а у россиян есть свои указующие персты, обращенные к одному текущему моменту и не имеющие никакого отношения к другому. Когда-то ставились слова-указатели: "частник", "мировая буржуазия", "коллективизация", "либеральная сволочь". Теперь на текучесть момента указывают стрелки иного рода: "предприниматель", "мировое содружество", "приватизация", "борцы за права человека".

Каждый текущий момент имеет свою особенность; момент же, когда Викентий Матвееч садится (вот сейчас садится) за письменный стол, этот момент любопытен как раз неким вакуумом: времена либеральной сволочи уже отошли, а правозащитников еще не выпускают. Короче, дело происходит в середине восьмидесятых, точнее не скажу. Значит, особенность момента в том, что общественное сознание надо срочно чем-то занять, на что-то мобилизовать, идейно вооружить. Викентий Матвееч получает директиву. В его распоряжении одна ночь.

Всё, что Крючков производит на свет, носит характер военных реляций, руководства к действию. ("Читали, на что сегодня "Правда" указывала?" – "Так точно!"). Служба его – воистину миссия. Цель ее – установить Эдем на всей земле, а не только в райцентрах. Брелок с ключами от квартиры и от машины у Викентия Матвееча отягощен еще и ключом от рая (не путать с ключами святого апостола Петра: "бородки" разные). Только неподражаемая личная скромность мешает Крючкову в графе "Профессия" нервным, устремленным в даль почерком начертать "Миссионер" (вместо обыденного: "Журналист"). Именно на Викентия Матвееча известная инстанция возложила высокую миссию растолковать человечеству, что есть черное, а что – белое; чем бороться со злом и как утверждать добро. А лишь подоспеет какой мало-мальски видный юбилейчик, так непременно будет подчеркнуто, что миссия эта масштаба всемирно-исторического, она как бы новая вера, новая эра и (без упоминания) выходит, что Викентий Матвееч ее пророк. Где правда, там Крючков; где Крючков, там "Правда". Он словно знак тождества между маленькой правдой жизни и большой "Правдой" известной инстанции. Спору нет, роль его сводилась лишь к тому, чтобы внятно изложить ряд наперед заданных ему

тезисов, подкрасить их житейскими картинками и пронумеровать странички, но и этого *лишь* было совсем не мало. Оставаясь в тени, Викентий Матвеич влиял на судьбы людей. Как заметил бы он сам, "из всего сказанного со всей очевидностью явствует", что перу его принадлежали передовые статьи газеты "Правда". Сотни передовых статей. В будущем он планировал издать их отдельным томом в АПН или у себя в "Правде", а наиболее прозрачные мотивы ввести в школьные хрестоматии (договоренность с Академией педнаук сомнений не вызвала).

Все статьи Викентия Матвеича посвящены текущему моменту и написаны во времени, которое он на каком-то семинаре остроумно назвал Russian Continious – русское продолженное, за что в тот же вечер получил от знакомого переводчика бестактную кальку в виде Страшен Скотиниус. Дурная шутка, впрочем, хода не имела, поскольку, внешне по крайней мере, Крючков совсем не страшен, скорее он никаков. Запомнить его невозможно. Он исчезает из вашей памяти еще до того, как вы отводите от него взгляд; он словно растворяется на глазах, не западая ни единой черточкой, ни малейшей морщинкой.

Лицо у Викентия Матвеича как будто слегка припудрено серым порошком (отдельные порошинки можно хорошо рассмотреть, кажется, даже сдуть) и чуть-чуть изъязвлено. Глаз не видно за темными "хамелеонами" (купил с рук у человека, близкого к бывшей аптеке Ферейна: улица Двадцать пятого Октября, 19/21). Роста среднего. Ладони широкие, крестьянские, но от физического труда и всякого ремесла давно отученные. Особых примет нет. Как-то я выпил с В. М. у него дома пару рюмок армянского коньяка ОС (очень старый) и тем не менее добавить к сказанному мне совершенно нече-

го. Бутылочку помню преотлично, этикетку с царепинкой в углу — да, а вот хозяин из памяти ускользает. Пренезаметнейший человек.

Вместе с тем я хорошо представляю его по существу, ибо с людьми подобного сорта сталкивался не раз. На первый взгляд в Крючкове много типично-темного. Жизнь Викентия Матвевича сложилась так, что он постоянно изображал нечто совсем не то, чем он был на самом деле, нечто противоположное самому себе. Поэтому на людях в нем легко можно было ошибиться. Он раскрывался не сразу, да и то с глазу на глаз, за бутылкой хорошего вина. Впрочем, не исключено, что он сам свою жизнь так "сложил"; во всяком случае обстоятельства всегда его одолевали, он был их верным рабом, потому что внутренних сил к сопротивлению имел немного; и чем удачней подвигалась его карьера, тем противоположней самому себе он становился.

Зададимся вопросом философическим: что придает нам жизненную устойчивость, помогает выдерживать напор непредвиденных обстоятельств: одержимость идеей? Смелость? Талант? Религиозное чувство? Никогда никакие чрезвычайные идеи (включая идею всеобщего счастья) В. М. не захватывали. Он не был человеком всерьез увлекающимся. Но на бумаге рисовал себя именно таким: с горящим взором и спутанными волосами, убежденным борцом за свободу и равенство. Этой волнующей теме Крючков посвятил свою предыдущую передовицу и делал вид, что еще не вполне от нее остыл. Природа отказала Викентию Матвевичу в решимости, зато оглячивости отпустила хоть отбавляй — и всю жизнь ему приходилось изображать, будто он способен на самые радикальные поступки. Но когда он впрямь — пусть ненадолго — находил внутри себя какую-то опору и как бы утверждался в правоте, рука его начинала дрожать, перо пачкать

и выводить вовсе не те зигзаги, какие намеревалось вывести.

А теперь прибегнем к образу псевдофизическому. Если бы луч истины можно было пропустить через душу Викентия Матвеича, то она преломила бы этот луч так, что на выходе оказалось бы два луча: один — сильно ослабленный — истинный, а другой — усиленный — ложный. Ложный луч предназначался для окружающей действительности, поскольку она охотно его пропускала, а луч истинный запирался ею, никуда далеко проникнуть не мог и фактически принужден был возвращаться в свою обитель. Так что душа Викентия Матвеича света, увы, не возбуждала; она его приглашивала, двоила и всегда умела выпустить второй — ложный — луч в параллель слабейшему первому. Но так же раздваивала она и поток обмана, выделяя из него истинную составляющую. Пожалуй, когда говорили, что В. М. не так прост, имели в виду именно эту его особенность: находить дурное в хорошем и хорошее в дурном; способность любую правду и любую ложь разложить на правду и неправду; понимание, что нет такой истины, которая не несла бы в себе частицу обмана. Да, В. М. владел этим независимым от воли нашей свойством, благодаря которому развивается познание, но и (вот он — диалектический чертополох!) процветает демагогия, ищет и находит оправдание себе тирания. Развитие познания интересовало Викентия Матвеича в последнюю очередь. Свою способность раздваивать истину он использовал не для того. Двадцать лет оправдывать то, что никаких оправданий не имело, или клеймить тех, перед кем следовало бы преклоняться — стаж немалый. Говорят: понять — значит, простить. Но всё ли можно понять (а, значит, простить)? Впрочем, окончательное решение о наказании или помиловании принимается на небесах. Что

же касается религиозного зова, то В. М. откровенно над этим смеялся. Не имея опор внутри себя, Викентий Матвеич норовил уцепиться за всё то внешнее, что в избытке предлагала ему судьба, а внешнее уплывало из-под ног. Он очень чувствовал эту постоянную зыбкость, свою зависимость от чужой воли, часто хандрил, но перебарывал себя и снова предавался самообману; убеждал одних, вводил в заблуждение других, был презираем третьими. Многие могли бы поспорить с ним, будь у них такое право. Но прав не было. Им оставалось только тихо его ненавидеть. Время для споров не пришло. Викентий Матвеич говорил один.

”Я тебя, Проректор, знать не желаю. Вон загревок какой нажрал, буржуй! От колбасы нос воротить. Щук фаршированных тебе подавай, сукин кот. А где я тебе щук напасусь? Что у меня заводи на Волге? Тихон привез из отпуска, верно – так скажи спасибо и больше не претендуй. А то я тебя на хлеб с водой посажу, как миленького – домаячишься у меня... У всех коты, как коты, а этот как из загранки прибыл, дармод. Дулю тебе, а не рыбку! И сиди смирно, не рыпайся. Мне работать надо. Это ты, лоботряс, все по квартире шастаешь, выискиваешь, где бы чего схимичить? Кто в коридоре обои обмочил? Последний раз спрашиваю: будешь колбасу с лапшой или сам съем! Тварюга... Снизолшел”.

Полосатый в серую дымку Проректор припал блюдцу, оттопырил толстые лопатки и, сердито фыркая, капризно косоротясь, зачавкал. Пока хозяин заправлял фиолетовыми чернилами авторучку (времен нерушимой советско-китайской дружбы) с ирридиевым наконечником (она набиралась, как пипетка) и сосредотачивался над чистым листом, Проректор закончил трапезу. Тщательно облиставшись, он мягко вспрыгнул на пуф у застеклен-



ных книжных полок и уселся в позе копилки. Седые усы его раздувались, а рыжие бакенбарды сыто лоснились в стекле, как у швейцара за ресторанной дверью. Золоченые корешки словаря создавали впечатление, что Проректор служит в первостатейном заведении "У Брокгауза и Ефрона", где лапши не подают.

Прикрыв глаза, Викентий Матвеич искал название для заказанной ему передовицы. Он перебирал варианты, вариантыцы, вариантыки... Хотелось чего-то энергичного и одновременно простого, звучащего, как призыв.

"Пьянству – бой!" – вспомнилось очень кстати.

Хорошо, лаконично. Давно у всех на слуху. Позиция автора ясна. По одну сторону баррикад пьяницы – рабы порока; по другую – автор во главе регулярной армии трезвенников. А главное – вливается в общую концепцию вечного боя, которую В. М. проповедовал все эти годы. Бой не затихает ни на миг, он все длится–длится, никогда не кончится. Огонь вспыхивает то там, то сям. Всегда внезапно. Враг не дремлет – важно его упредить. Революция продолжается. Она приобретает лишь новые формы, но по существу своему не меняется. Ее цель и сейчас, так же, как семьдесят лет назад, счастье людей труда. На текущий момент революция приняла форму неутомимой борьбы с пьянством, поскольку именно пьянство встало на пути между революцией и счастьем простого народа, пытается отделить революцию от счастья, фактически противопоставить себя революции и отождествить со счастьем. В этом контрреволюционная сущность пьянства. Оно приносит не свободу, а забвенье и равенство в грязи.

Всплыл еще один вариант: "Трезвость – норма жизни", но он показался Викентию Матвеичу менее свежим, да и не таким наступательным. Вместо боевого призыва звучала в нем какая-то либераль-

ная констатация. Следует побороться за то, чтобы трезвость стала нормой. Поднять цены на спиртное. Сократить объемы производства. Сплавить партию водки капиталистам в обмен на пепси-колу (хороший химический напиток). Словом предстоит реализовать крупномасштабную политическую программу, и Викентию Матвеичу поручено заложить в нее краеугольный камень.

Напоследок мелькнуло: "Пить – здоровью вредить". Пословица – это замечательно. Но! Сразу видно, что пословица старая, дореволюционная, ориентированная на индивидуалистическое сознание. Пьющий вредит не только своему здоровью, он – негодяй – в первую голову государству пакостит, вот в чем суть. Правильней было бы сказать: "Пить – государству вредить", но в глубинке это может быть истолковано слишком буквально. Не годится. Викентий Матвеич отчетливо представлял силу своего слова, его подлинный вес. Особенно в провинции.

Итак, "Пьянству – бой!"

Ставя восклицательный знак, автор несколько пережал перо, и оно выпустило на свет жирную фиолетовую кляксу.

"Чёрт! Предатели... – посетовал Викентий Матвеич неопределенно, то ли имея в виду происки китайских ревизионистов, то ли качество отечественных чернил. – Надо будет Тихону показать".

Крючков (аккуратист) терпеть не мог развозить мазню на бумаге, а писчих листов у него хватало. Вощенные пожелтевшие пачки туго, как соты, сидели в тумбах стола, ожидая лилового меда передовиц. Переписав заглавие, В. М. стал по привычке размышлять вслух, обращаясь к любимому коту:

"Ну, что ты, Проректор, понимаешь в хороших винах? Вот именно: мяу, так и скажи. А я тебя сейчас образую. Берем поднос и маленькие рюмочки

для куштиванья. Грамм по сорок. Пойдем в порядке увеличения крепости и сахаристости. Как это принято на дегустациях у знатоков. Начнем с виноградных вин”.

Викентий Матвеич налил в четыре рюмки из четырех разных бутылочек.

”Настоящее вино – это, уважаемый Проректор, дар богов. Его завещали нам древние греки, и мы перед ними в неоплатном долгу. В Греции все пили: императоры, всадники, купцы, сатиры, менады... Нормальная мера была не стакан, не бутылка – кувшин. Улавливаешь? Полнехонький кувшинчик!

А помнишь юношу Вакха, Проректор, бога вина с виноградной лозой в волосах; в белой тунике; со взором от хмеля туманным? Нет, ты не помнишь, невежа. Мне жаль тебя. О-о-о!..

Настоящее вино с краской не перепутаешь. В нем всё: цвет! (Викентий Матвеич поиграл рюмочкой в луче люстры); аромат! (как бы с молитвенным поклоном дегустатор склонился над подносом и глубоко вдохнул); терпкость! (мокнул кончик язычка в рюмку); вкус! (прижал язык нёбу); букет! (медленно допил рюмку до дна и возвратил ее на поднос”).

”Рислинг из долины Рейна!” – провозгласил Викентий Матвеич, как церемонимейстер, объявляющий первого гостя, прибывшего на бал.

Затем последовали приглашенные из Бургундии, дон Херес Испанский и, наконец, Мускат розовый с твердокаменной конфеткой ”Грильяж” (орех в шоколаде). Каждая дегустация сопровождалась молитвенным вдыханием аромата, смакованием букета и короткими, но блестящими рекомендациями. Покончив с Мускатом, Викентий Матвеич ощутил во рту некоторую горечь (возможно, орех был пережжен) и одновременно – прилив созидательных сил. Пальцы сами потянулись к перу; перо

к бумаге, и статья, как говорится, потекла, что ваши стихи, воплощая текущий момент в Russian Continious:

"С чувством глубокого удовлетворения... (Викентий Матвейч испустил грильяжную слюну в пепельницу. Сладкая слюнка повисла липкой ниточкой и Викентию Матвейчу пришлось некоторое время повертеть головой и поперетирать ниточку зубами, чтобы от нее отцепиться)... воспринимают все советские люди меры по борьбе с пьянством и алкоголизмом. (Опасаясь пережать перо, автор продолжил совсем тонюсенько.) Нельзя сказать, что эта проблема для нас нова. Она досталась нам в наследство от мрачных времен социальной несправедливости, кабальных общественных отноше..."

И тут перо, невзирая на свою тонкость, снова испустило тугую набрякшую кляксу. Терпение Викентия Матвейча лопнуло. Нехорошим словом обозвав предыдущую каплю – мать нынешней, он отдал перо под суд. Суд состоялся немедленно в соседней квартире. Пострадавшим выступал Крючков Викентий Матвейч, журналист; виновником – перо с ирридиевым наконечником. Судьей был сосед Крючкова Тихон Савельич, пенсионер; адвокатом – его жена Рита.

В 20 часов 50 минут пострадавший передал обвиняемого в руки правосудия.

"Посмотри, Савельич, опять течет – пипетка! – предъявил свой иск Викентий. – Мне к утру надо передовицу добить".

"Что ж тебе больше и писать нечем?" – вступилась за перо защитница Маргарита.

"Есть чем, но я люблю, чтобы тонко, а такого тонкого нет".

Тихон пошел в ванную промывать подсудимого.

На экране телевизора завертелся земной шар –

пошла программа "Время". Потом возникла дикторша. Она жестикулировала – прибор молчал.

"Рит, ты что – сурдоперевод принимаешь?" – удивился Викентий Матвееч.

"Не-а. Да надоело их слушать. Всё революцию продолжают. Никак не кончат".

"Возраст, – заметил из ванной супруг. – Скоро семьдесят лет, а кругом одни бои: космос штурмуем, за урожай боремся, с пьянством бьемся... Когда жизнь пойдет нормальная, а? Кеш?"

С преувеличенным вниманием, как это бывает в гостях, Викентий Матвееч рассматривал настенный календарь-натюрморт, отпечатанный не иначе, как в Лейпциге. Натюрморт висел на двери ванной. Репродукция принадлежала к числу тех, что выглядят сочнее и красочнее оригинала. На фоне распиленной пополам бычьей туши осклабил клыки и смачно выкатил чуткий пятак еще теплый кабанчик; возле помпезно поник великолепный гусь. Связки подвешенных за задние лапы зайцев и яйцо, свежеразбитое на фаянсовой сырной доске, продолжали композицию. Углом в деревянную колоду был воткнут широкий, как веер, топор с крапчатым узором запекшейся крови; повсюду мелькали густо ошипанные птичьи перья.

"Хороша закуска?" – пошутил Тихон под шум фиолетовой струи.

"Я мертвую природу не люблю", – отозвался гость, переводя взгляд на Маргариту.

"Кеша, чаю хочешь?" – предложила хозяйка.

"Благодарю. Только что выпил. Четыре чашки".

"У нас с ликером подают", – опять раздалось из ванной.

Викентий Матвееч задумался:

"А с каким?"

"С хорошим, болгарским".

"Повод-то есть. Я сейчас ратую... за высокую

культуру застолья", – неожиданно для себя сказал Викентий Матвеич (такой поворот темы в передовице не предполагался).

"Ну, вот! Вместе и поратуем. Рит, неси ликер".

"А чаю?"

"Чаю не надо", – сдержанно ответил В. М.

"Ручка твоя засорилась. Я ее промыл. Теперь – строчи до нового засора. Чернила чёрте-какие наливают".

"В пузырьке не видно, – заметил Викентий Матвеич, разливая ликер по рюмочкам. – Спасибо, Савельич".

"То-то не видно. А на дне – грязища; тина, как в пруду; залежи вроде ила; нитки, тряпки – брр!.."

"Я не буду", – поскромничала Маргарита, отодвигая рюмку.

"Да ладно, мать! Разве мы пьем? Мы дегустируем. Культурно, цивилизованно, без брани. Если бы все так пили, у нас бы уж давно коммунизм был", – вспомнил Тихон Савельич слова знакомого швейцара, услышанные в свой адрес, когда шибко навеселе, не скупясь на чаевые, выходил из "Праги". Году в восьмидесятом. Швейцар кланялся, открывая дверь перед Тихоном, оглаживая седые усы, а рыжие швейцаровы бакенбарды лоснились на упитанных щеках, как у кешиного Проректора.

"Да уж был бы...", – усомнилась Маргарита, поднимая однако рюмку.

"Что было бы, чего не было бы? Где истина, никто не знает", – примирительно заметил супруг.

"Истина в вине, – перевел с латыни Викентий Матвеич. – Но пьянству – бой!"

И это прозвучало, как тост.

"Я вчера в Столешников зашел, в винный, – поделился живым наблюдением хозяин. – Каберне еще есть, саперави. А кагор муровый".

"Пшеничная стоит"? – поинтересовался В. М.

**"Стоит пока. И коньяков полно".**

**"Кому они нужны твои коньяки – такие дорогие? Их никогда не разберут", – завершила Маргарита.**

**"Погоди, мать, не зарекайся", – отозвался Савельич и тревожно покосился в сторону Викентия.**

**"Свои кончатся, французский пить будем, "Наполеон"!" – беспечно предсказал гость.**

**После третьей рюмки Викентий Матвеевич почувствовал, наконец, желанное раскрепощение, спрятал ладони под мышки и плотней навалился грудью на стол, предполагая доверительную беседу.**

**"Мне шеф говорит: "Я тебе за твоё перо памятник поставлю. Перед "Правдой", где "маршрутка" разворачивается. Чтобы все видели. "Слава – перу!" Правильно. Я – профессионал. Я вам, ребята, честно скажу, не хвалясь! любую тему за ночь исполню, только заказывай. Сейчас вот против пьянства выступить пришлось, самое время. Спивается народ! До генетики уже дело доехало. Ещё немного поднажмёмся, и ничто не поможет. Будет постановление. Но это пока между нами. А нам, Тихон Савельич, скоро гулять придется, хочешь не хочешь. Премия Союза журналистов считай в кармане! За цикл передовых статей последних лет.**

**"Слушай, Кеш! – восторженно Савельич. – У меня в стенгазету статью попросили о пользе виноделия. Поможешь?"**

**"Хоть сейчас".**

**"Мать, давай бумагу", – распорядился хозяин.**

**"Эпиграф возьмём... у Пушкина, – начал Викентий, вскинув глаза к люстре:**

**"Вошел и пробка в потолок.**

**Вина кометы брызнул ток".**

**"Вот это да!" – одобрил Тихон Савельич.**

"Евгений Онегин", - пояснил Викентий. - В школе проходили. А теперь-то проходят? Не факт".

"Теперь всё с сокращениями", - вставила Маргарита.

"А хочешь Омара Хаяма задействуем?" - предложил Викентий.

"Ну, Омар Хаям - это вообще... - почтительно отозвался Савельич. - Я его когда-то наизусть помнил. Сейчас забывать стал. Как это? Насчет этих... Как их?.. Ну, в общем, чёрт с ними!.."

"А что тебе там о пользе виноделия? - спросил Викентий, смеясь. - И так все ясно. В капле вина - вся система элементов Менделеева: Дмитрия Ивановича. Я бы хорошее вино студентам в институтах продавал. Честное слово! Со скидкой. А отличникам - бесплатно. Вон у нас тут на Миуссах химички учатся. Я у них лекцию читал по классической формуле: "Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны", а Никита тогда добавил: "И, - говорит, - плюс химизация сельского хозяйства". Меня одна силикатчица спрашивает: "А что такое химизация сельского хозяйства?" Я говорю: это вы лучше меня должны знать. Ну, там минеральные удобрения разнообразные... Суперфосфаты. "Нет, - говорит, - а если из формулы?" Я логически прикинул, получается из формулы, что химизация - это коммунизм без электричества и советской власти. Ты представляешь, Савельич? Один дуст! Я похолодел. Это же шестьдесят второй год. Еще наши Прагу не брали! Веришь, Маргарита? Но внутренне собрался и говорю: "Девушка, - говорю, - не будем формалистами".

Тебе когда статью сдавать, Тихон Савельич?"

"Через неделю".

"Ха! А мне завтра. Тебе на стенку вешать, а мне на первую полосу. Тебе о пользе виноделия, а мне "Пьянству - бой!" Ты понял разницу? Ис-то-ри-



чес-кую! К тому же, не обижайся, но после моей передовой твою статейку о пользе виноделия ни одна собака не напечатает”.

”Ну, и дура будет”, – обиделся Савельич.

”А партийная дисциплина – дура? – спрашивает Викентий в упор и настаивает. – Нет, ты скажи: дура?!”

”Будет вам, петухи!” – беспокоится Маргарита, включая магнитофон.

”Налей, налей бокалы полней,  
чтобы наша семья собиралась дружной!” –

запевает хоровая капелла.

Итого: Савельич в обиде; пучится, как рак. Ему статью посулили, а теперь кроме эпитафии – что? Сурдоперевод жестикулирует по поводу дурной погоды; у капеллы красное вино через край плещет; а Викентий ребром ладони ставит и ставит вопрос об умственных потенциях партийной дисциплины. И это не кончается, а длится-длится в том самом времени, что по некоторому разумению именуется Russian Continious.

В том же времени, между прочим, проложены и некоторые наши улицы, скажем, Каляевская. Кеша никогда не мог пройти ее целиком. Кажется, идешь по ней, идешь, еще при Радищеве вышел, а конца все никак не предвидится. Есть ли что хуже Каляевской улицы, по крайней мере в Москве, вблизи Садового кольца? Вы считаете, что в таком городе, как Москва, непременно найдется что-нибудь и похуже? Воля ваша. Викентий Матвееч не станет с вами спорить, но ему-то с малолетства проживавшему на Миуссах, корежило слух одно название: Каляевская. Он выводил его от слова каляный, то есть твердый, каленый.

Бабушка говорила:

”Сахар мне не по зубам. Больно каляный”.

Ее словечко.

Сахар-то был из сахарной свеклы. Как кремень. Верно. Щипцами не раскусишь. Искры летят! Но он же сладкий...

Отчасти примиряло Кешу с Каляевской только то, что там в угловой булочной продавали горячие калачи. Коричневая корочка у них сладко хрустела, а середка был сдобная, мяконькая, не каляная. Но под силу ли связке калачиков перевесить неприязнь к целой улице? Тем более, что по своей неосведомленности Кеша полагал Каляевскую гораздо длиннее, чем она была в действительности. Он вел ее от улицы Чехова до самого Савеловского вокзала.

"Кишка!" - говорил мальчонка, пытаясь оторвать ручку калача.

Теперь у Савеловского каляная улица такая широченная, что февральский ветер гуляет по ней, как по чистому полю, нанося большие шершавые сугробы. А мимо них, как сквозь наждак, ползут троллейбусы, обдирая бока - их и не видно. Бывает ждешь-ждешь, выползет, фары вытаращит: дернет дверьми, а они примерзли - не открываются. И дальше пополз к центру, авось, там теплей - отогреются, отворятся.

Летом, напротив, каляная улица "пыльна, раскалена", и уже не до меланхолии тут, а самая натуральная тоска подступает, Господи! В жару на Каляевской можно спятить. Как здесь люди живут?

Н лет тому назад "Правда" построила сотрудникам кооператив, и Викентию предложили квартиру (он тогда с женой развелся и мыкался без жилья).

"Где? - спросил Викентий Матвеевич. - Где территориально?"

"На Новослободской улице, знаешь? Продолжение Каляевской. Хорошее место. И от работы близко".

"И от тюрьмы недалеко", – подумал Викентий, но въехал, конечно.

Квартира с балкончиком. Куцый двор обрезан соседними домами. Напротив каланчой торчит "Дом быта" – его, так сказать, фасад. Наискосок через улицу Бутырка. Всё рядом.

Когда-то Иммануил Кант в Кёнигсберге глядел в окно на шпиль отдаленной кирхи: сосредотачивался. У философа была перспектива.

У Викентия Крючкова в Москве перспективы не было, поэтому он собирался с мыслями, глядя на ирридиевый наконечник собственной авторучки: поворачивая ее то по часовой стрелке, то против. Ему оставалось уповать на спасительную дозу реверса. Реверсивное движение всегда успокаивало Викентия Матвеича. Не в таланте, не в вере, а в реверсе содержалась необходимая для жизни устойчивость. Чуть вправо, чуть влево. Пол-ниточки туда и сейчас же пол-ниточки обратно. Поступательность пугала Крючкова, да он и не верил, что она существует. А "диалектическую спираль" давно высмеял в душе как кабинетную выдумку. Какие там спирали? Спирали в ДНК. А в жизни властвует реверс: утром на работу – вечером с работы; сегодня "Пьянству – бой!" – завтра "О пользе виноделия"; ночью выпил – днем зарекся; вслух похвалил – про себя выругал. Стабильность не значит неподвижность, застой. Движение есть, но оно реверсивное. Возможны даже микрореволюции: то по часовой стрелке все вращалось, а то вдруг против поехало... Но это ненадолго. Потом знак снова перекинется, так что в целом тип-топ.

"Итак, на чем мы тут?.."

Викентий взял в руки лист с высохшей кляксой и перечитал, повернувшись к Проректору, как бы апробируя на нем выразительность текста:

"С чувством глубокого удовлетворения воспринимают все советские люди меры по борьбе с пьян-

ством и алкоголизмом. Нельзя сказать, что эта проблема для нас нова. Она досталась нам в наследство от мрачных времен социальной несправедливости, кабальных общественных отноше...

Викентий Матвееч посмотрел Проректору прямо в глаза. Кот отвечал немигающим зеленым взглядом. Но не тоска тускнела в нем, а полная отрешенность от услышанного. Это был хороший признак. Он означал, что текст прошел мимо сознания Проректора, ничем его не возмущив, не взбудоражив. Это означало, что те волны звука, которые достигли проректорских ушей, оказались достаточно монотонны, пенились не слишком шумно, а главное была в них привычная мера и знакомый смысл. Викентий Матвееч не раз убеждался в том, что у Проректора абсолютный слух. Всякая инородность раздражала кота. Если на протяжении чтения Проректор оставался безучастным, то все было в порядке. Там же, где он дергал ухом, стучал хвостом или — не дай Бог — мяукал, непременно заключался какой-то сбой: может быть, проблеск живой мысли или нечто особенное в стиле, заставлявшее кота включать сознание, реагировать. Ухватив неудачный фрагмент, Викентий тотчас протыкал его ирридиевым наконечником, перемарывал и доводил до общей кондиции, то есть до того состояния, когда этот фрагмент переставал восприниматься Проректором как что-то живое и производил на него впечатление мертвой дичи. По тонкости восприятия кот значительно превосходил главного редактора. Если последнему дичь могла показаться уже достаточно мертвой, а значит готовой к подписанию в набор, то Проректор еще чувствовал какое-то шевеление, неуловимое дыхание и строго выпускал когти в пуф. Можно было ручаться за то, что статья, пропущенная Проректором, наверняка пройдет и у шефа. Кот обладал фантастическим ощущением времени.

"...ний", – дописал Викентий Матвеич прерванное кляксою "отноше..." и задумался вслух над природою равенства и миссией кабалы. Это была, как сказано, тема предыдущей публикации Крючкова (соответствующий ей луч лжи благополучно распространялся в окружающей среде, а вот луч истины отразился и теперь возвращался восвояси).

"Ты, Проректор, помнишь лозунг Великой французской революции? "Свобода, равенство, братство", – размышлял Викентий Матвеич. – Оставим в покое братство. Это – чувство, оно разумению неподвластно. Подумаем о вещах более объективных: о равенстве и свободе. Первым нас обманул тот, кто поставил эти понятия рядом, через запятую. Одновременно равенство и свобода невозможны. Свобода предполагает неравенство. Представь. Если никто ни над кем не довлеет, то может ли быть уравнено то, что неравно от природы? Может ли быть во всем уравнен здоровый с больным? Одаренный с бездарным? Трудяга с гулякой? Их можно уравнивать силой, но тогда не будет свободы, а убери насилие и сразу возникнет природой заданное неравенство. Мы это хо-ро-шо понимаем. Но ведь мы же кабалу и осуществляем, кто еще? Поэтому о ней ни гу-гу. Не кабале – бой, а пьянству. Но равенство в несвободе – это фикция, потому что для установления равенства необходим диктат, то есть возвышение одних над другими, над теми, кто равенство не приемлет, а такое возвышение есть неравенство. Значит: для установления равенства требуется неравенство. И это противоречие неразрешимо. Мы взяли за основу равенство (а ему сопутствует неволя) и на этом погорели. Запад взял за основу свободу (а ей сопутствует неравенство) и выиграл. Погоня за равенством привела нас к тому, что главным в государстве стал не делающий, а делящий (якобы, поровну). Произошло даже не отчуждение делателя от плодов собственного труда,

а отчуждение (корень - чушь). Если дело так пойдет, то скоро делящие вытеснят из жизни делающих, и когда поделят между собой остатки, а ничего нового произвести будет уже некому, настанет Страшный Суд".

По всему было видно, что монолог Викентия Матвейча задел воображение кота и воистину не пригоден для передовицы. Махнув рукой, Викентий опрокинул добрую чарку водки и пошел строить единым духом то, что положено:

"Теперь, когда в нашей стране уничтожены социальные корни, порождающие пьянство, когда великие идеи просветителей ("свобода, равенство, братство") воплощены революционным творчеством масс в живое чудо реального социализма...", - Викентий Матвейч навалился на лист, который не желал терпеть такого бессовестного надругательства над собой: сопротивлялся как мог, морщился, выворачивался из-под пера, но Викентий прихлопывал его сверху ладонью, заминал локтем о край стола, держал и терзал. В косом луче лампы лист бился на столе, как подранок, но ирридиевый наконечник, отравленный жидкой пакостью, колол, драл, царапал несчастную тему, а взгляд Проректора все более стекленел, отстраняясь от происходящего, пока, наконец, вовсе не остановился, как у слепца.

Последняя капелька яда была впрыснута в цель.

Лист под рукой Викентия перестал содрогаться. Бой затих. Чернила просыхали.

На столе лежала мертвая дичь.

Победитель, хмельно покачиваясь, проследовал в прихожую и там с трудом поймал за шнур выпавшую телефонную трубку.

"Але, Маргарита Михална? Не разбудил? Вы чего там? Еще не спите? Полуночники. А я думал: разбуджу... Рит, ну, я кончил. Всё нормально. Как в

лучших домах. Будь другом, перепечатай и отвези с утра шефу. Ждет, не дождется. А? Я боюсь не доеду... Перебрал малость. Как там супруг? Все дуется старый меньшевик? Как мышь на крупу. Дай мне его на минутку. А-а... Ну, ладно. Досмотрит, пусть зайдет. Спокойной... Спокойной ночи".

Викентий Матвееч вышел на балкончик покурить. Мнившаяся ему хаотичность в расположении светил всегда вызывала у него какое-то беспокойство, желание переустроить небо на свой манер. Кардинально упростить. В противоположность реверсивному движению, которое сосредотачивало или же убаюкивало, как покачиванье колыбели, небесная механика не воспринималась Викентием вовсе. Она рассеивала его, раздражала. Те немыслимые скорости, с какими светила мчались в пространстве, реально никак не ощущались. Днем кроме солнца никаких заметных перемещений во вселенной вообще не наблюдалось. А по ночам только луна дисциплинированно вставала на дежурство. В основном же кругом царил неподвижный хаос. Звезды бесцельно мерцали, как карамельки распавшегося калейдоскопа. Игрушку надлежало собрать, склеить, разместить картинки в виде симметричных узоров с правильной геометрией, чтобы всё выглядело приятно и просто. Конечно, организованные сдвиги здесь наметились. Вот уже образовано управление "Главкосмос". Но чем оно занимается? Порядка в звездах как не было, так и нет. Кто там командует отделом "Созвездие Гончих Псов"? А подать сюда генерал-полковника Лапкина-Тапкина! "У вас на погонах все звезды в линию. А в подведомственном регионе мироздания? Расставить по трое в ряд. Сутки на исполнение. Кругом! Шагом - арш!"

Капитан запаса Крючков развернулся через левое плечо и, нетвердо печатая шаг по паркету, направился в прихожую: там звонили.

Пришел Тихон Савельич. Глаза у него уже не пучились по-рачьи; они смотрели ласково, дружелюбно:

"Кеш, ты чего хотел?"

"Рите передай".

Савельич взял сколотые, помятые листы перепицы. Поле брани еще дымилось.

"Когда ты только успеваешь?"

"Задачка со звездочкой. Ну, последний залп. Оглушительный!"

Викентий достал из бара начатую бутылку армянского коньяка "ОС" и почувствовал необходимость высказаться до конца.

"Всё, Савельич! Будет. Хорошенького понемножку. Двадцать лет отыщачил, отприслуживался. Мне эта "злоба днєви", как кость, поперек горла. Баста! Расплююсь и пойду дворы мести или засяду за романище. О колдунах, о ведьмах, о звездах, о чёрте в ступе! На-до-е-ло. Ты спрашиваешь, когда успеваю? А мне и успевать нечего. Слова разные, мотив один. Завяжи мне глаза черной тряпкой, сунь в руку перо да шепни на ухо: о чем - и получи. В лучшем виде. О пьянстве? Пожалуйста! О пользе - чего там? - виноделия? Как прикажете... Я у них, Тихон Савельич, швейцар при входе. Кого велят, того впускаю. Кого велят, того вытворю. А за это и сыт, и пьян, и штаны с лампасами. А сытый голодного не разумеет, правильно? Вот и ты со своими натюрмортами... Нагляделся я на эти натюр... морды. Лиц нет, Савельич, лица пропали. Караул! Рожи, хари, рыла, фейсы... Женщин нет - бабы. Мужчин нет - мужики. Все взбаламучено. Род, семья, традиции, отбор - где? Лучшие вверх, худшие вниз? Ха! Не смешите меня. Я студентом был, гусиным перышком. Стишки марал при свече. Говорили: "Та-лант-ли-во! Но не нужно". А вот этого дерьма - "Пьянству - бой!" - вали до прожектора на крыше. Летом в Испанию поедешь людей на



путь наставить, а то они там пить разучились: пьют-пьют и не пьянеют. Значит, бороться не с чем, а нам без борьбы хана. Мы только на ней и держимся. Внедри у них самогон и обучи, как с ним бороться. Вот тебе и реверс.

Но ты думаешь, так я и расплуюсь да пойду метлой махать по подворотням? Заблуждаешься, почтенный. А кто же просветит Мадрид, как сивуху вынюхивать?! У меня, Тихон Савельич, интернациональный долг. Я еще в ста странах не был, не обучил народы реверсу...”

Викентий Матвееч почувствовал сильное головокружение. Он встал, цепляясь за стол. Комната, не слушаясь руля, поехала у него перед глазами, как катер в качку. Викентия мотало из стороны в сторону. Он попытался выбраться на балкончик, на свежий воздух, но в его положении это оказалось не просто. Он давно потерял Савельича из вида и уже не был уверен, что тот где-то рядом. Может, и сгинул. Испугался качки.

Достигнув балконного перильца, Викентий вытянул руку вверх, словно призывая всех замолчать. Но кому шуметь? Глубокой ночью публику трудно привлечь на митинг. Пустовала детская площадка под окнами. Перстом в небе торчал “Дом быта”. За Бутыркой наблюдала луна. Но полное отсутствие зрителей не смутило Викентия Матвееча. Он погружался как бы в другой мир. Речь его становилась всё менее вразумительной. Натужные паузы сменялись вдруг короткими выкриками, почти бессвязным бормотаньем:

”Все как один!.. Савельич... Неуклонный подъем... Обязательно... А Кшесинскую прошу не трогать... За дрыгоножество?.. Не по-русски... Талант — редкость, талант уважать надо... Кто сказал?.. Как это так?.. Родители! Водки нет, а личный состав всклянй... Где генерал?.. Опять в открытом космосе?.. ”Понадобилось...” Мог бы и потерпеть, раз такое

дело... Болтушки!.. Ничего у вас не стыкуется... Ни с чем... Только Левитана зря подвели... Юрия... Ша! Это у немцев все радиостанции работают нормально, а у нас – одна городская сеть... С сурдопереводом... Я вчера весь центр обегал... В мыле пузырясь... Предатели... Где колбаса?.. Экологически чистая... Где зеленый горошек от венгерских друзей?.. Проректор! Твоя работа?.. Зажрался, весь пуф продавил. Вон пятнище жирное... Скажешь: "Не я"? А шерсть?.. Улика... Обленился... Только мыши кругом жиг-жиг... А мне не с чем суп сварить... Кор-рейский полуостров!.. Минутку! Рита, минуточку! Я тебя умоляю: убери кабана – я его видеть не могу. Со вчерашнего... Убери кабана – он же меня сейчас съест – собака! За клыки, за клыки его держи... А самое главное: где шеф? Только не юли... Я этого не люблю... И запомни: передовицу читать с утра под шампанское!.. На свежу голову. Чтобы пробка в потолок!.. Рабочий класс одобряет... Целиком и полностью... Только не юли... Иуда сказал: "Если враг не сдается, его – что делают? – пральна. Целуют в губы... Христос воскрес и нам велел... По библии... Видишь очередь?.. Кто крайний? Я занимал. Что дают? Какой номер пошел? О, Господи!.. На Страшный суд по талонам... Докатились православные... Ладно... Тут еще хвост до ГУМа... Выпить успеем... Я вас понимаю, Константин Устинович, как я вас понимаю!.. Отразим. "Чтобы лучше жить, надо больше работать"? Складно сказано... Я только не понял: кому жить, а кому работать?.. Тем же самым или разным?.. Я не сомневаюсь... Отнюдь... Я думаю: разным... Что характерно... Потому и перья пачкают... Перо! Я тут на боевом посту... Как прокаженный... Всю ночь... Сколько окошек застеклили, а ничего не светится... Тьма... Савельич! Статистика – упрямая вещь... На одного диссидента – сорок тысяч чекистов... А на троих?.. Ни-ни!.. Сухой закон... Морское слово – якорь... С воскресенья во рту ни

капли... А сегодня – что? Суббота? В какую сторону?.. Реверс времени, ты понял?.. Хочу понедельник, а хочу суббота... Свободный человек... Никто не запретит... Наши ребята железно держатся... Как на дис-пан-се-ри-за-ции... Опять кровь сдавать?.. Здравствуйте! Очухались чудачки... За отгулы? Не пойму. У меня иммунитет отрицательный... А ты, Савельич, трус... Бросил товарища... Допромывался... Сиди дома и шефу передай, что тебя вырвало... Зайчатиной... Из госзаказа... Социального... Старлейт! Чтоб ты сдох... Тридцать первого декабря в 23.55 к телефону: "С утра с вещами в военкомат... На дегазацию..." Я так фужер мимо рта и пронес... Шут гороховый!.. Делать тебе нечего... Хунвейбин... Не имеете права!.. Какая повестка?.. Я от ко-ен-во-мата вашего отключен. У меня бронь. Как у машиниста. Пожалуйста. А вы с чем?.. "Крючкова Викентия Матвеича за оскорбление личности – на галеры. По месту жительства". В гололед?.. Сами гребите!.. А кто подписал?.. Неразборчиво – не считается... Руки, уберите руки!.. Не трожьте меня! Как я здесь с веслом развернусь? Вы – что? Соображаете... Откуйте, откуйте меня от весла!"

Викентий Матвеич подался в сторону – цепь не отпускала, держала крепко. Он перегнулся через перильце, перевалился на спину, закинул голову. С неба снежными хлопьями сыпались и сыпались белые гусиные перья. Одно из них влажно скользнуло по щеке Викентия, другое прилипло к стеклу "хамелеонов". Перья падали густо, покачивались на весу и смыкались, образуя волнистый шатер...

"А полусонная звезда под мятым пологом  
сквозит  
и ни тумана не взимает за визит..."

Что это? Викентий Матвеич не помнил. Что-то слишком далекое, почти невозможное, почти чужое.

Гусиный снег таял, и "хамелеоны" покрылись пленкой воды. Изображение забилося в них, оплывавая и двоясь. И тогда сквозь водяную пелену Викентий различил в небе над собой свое нынешнее всемогущее стило. Оно разрослось до невероятных размеров, покрылось инеем, от него веяло разреженным воздухом государственных вершин.

В лунном свете перо стало неторопливо вращаться. Слева направо ("...идейно вооруженные...") — справа налево ("...имеющие отдельные недостатки..."); слева направо ("...беззаветно преданные...") — справа налево ("...требующие критического разбора"). А в прорези пера просачивалась фиолетовая чернильная жижа. Медленно сползая, она стала копиться на острие, набухать упругой лоснящейся каплей.

"Савельич..." — попробовал позвать Викентий, но губы его лишь пошевелились, выпустив радужный рой мыльных пузырьков. Суетливо мечась, пузырьки побежали вверх. Они сталкивались, лопались, осаждались на холодном металле пера.

Повернувшись на полвитка влево, перо замерло над лицом Викентия Матвеича. Гигантская капля чернил повисла на ирридиевом наконечнике. Узенькая живая перетяжка, крепившая каплю к острию, все утончалась, утончалась, утончалась... Викентий хотел отодвинуться, заслониться, но голова отказывалась повиноваться, руки как бы тонули в вязкой вате, никак не могли отлепиться. Викентий зажмурил глаза и тотчас почувствовал, что уходит куда-то на дно в мягкую ветошь, в пышный придонный ил.



## В тихий час осеннего заката...

\* \* \*

Своей стране воров и юбиляров,  
Как царь небесный, отпущу грехи,  
Покину край обилья циркуляров,  
Где нет бумаги на мои стихи.

Ни звездам, ни ветрам не доверяясь,  
В твои леса уйду, родная Русь,  
Я здесь в любой былинке растворяюсь,  
Кореньями и травами лечусь.

Здесь неуместен благодарный лепет,  
Здесь жизнь течет по правилам иным...  
Как будто Бог своим великолепьем  
Готов очистить души всем живым.

### ПРОЩАНИЕ

Я с Москвой, как с мамой, попрощаюсь,  
(Эх, мечта!.. Нет мамы у меня...)  
С грузом нарастающей печали  
Доберусь до старого плетня.

Снова звонко скрипну половицей,  
В дверь ударюсь, болью обожжен,  
Моему приходу удивится  
Старый кот по имени Пижон.

Засмеются ходики, качая  
Маятником, словно головой,  
Выйду в огород и повстречаю  
Согнутую спину над ботвой.

И в смущеньи вновь промолвлю "Мама..."  
Женщине, что стала мне родной.  
Глянет она мутными глазами  
И, узнав, засветится душой.

Светлый образ! Спутник мой в разлуке.  
Он светлее стал от седины,  
И черней натруженные руки,  
Что земле-кормилице сродни.

Смерю взглядом, как прозревший грешник,  
Дряхлый дом, что доживает век.  
Воробей, освоивший скворечник,  
Огласит тревогой белый свет.

Отзовется степь многоголоса  
И заманит оглядеть поля,  
Все родное – нивы и покосы,  
Все – меня вскормившая земля.

Жаворонок, солнцу благодарен,  
Воспоет родимые края...  
А под вечер, о ведро ударясь,  
Зазвенит молочная струя.

И в душе опять проснутся песни  
О судьбине дедов и отцов.  
Петухам эстрады неизвестно  
Петь на сорок восемь голосов.

Выключу докучный телевизор  
И вгляжусь в морщинок кружевцо –  
Будто в жизни первый раз увижу  
Самое прекрасное лицо.

Ночью выйду на крыльцо украдкой,  
Звездам, как годам, начну отсчет,  
Словно репа, вымытая в кадке,  
Желтый месяц в детство позовет.

Поутру, когда исчезнут тени,  
В дом ворвутся блики, как огни –  
Оживет висящая на стенах  
В рамках фотолетопись родни.

Заурчит игриво сковородка,  
Сотней солнц засветятся блины,  
И в ладонях, гладивших сиротку,  
Я увижу всю судьбу страны.

Знаю, что со мною не поедет,  
Вновь уйдет к погосту, как в дозор...  
Только мне опять ночами бредить,  
Телеграмму ждать, как приговор.

Я уеду безмятежной ранью,  
В новые заботы погружен...  
Коромысло выгнет над геранью  
Старый кот по имени Пижон.

## БОЛОТНЫЕ ЦВЕТЫ

Как за болотными цветами  
Иду я вдаль и нет конца –  
Все очарованнее дали  
И я все дальше от крыльца.

И вот, сорвавшись с зыбкой кочки,  
С цветами я иду ко дну.  
Цветы – как начатые строчки,  
Я с вами, видно, утону.

\* \* \*

Мертвый камень,  
Живой листопад.  
Синяя Кама,  
Желтый сад.

Кладбище рядом,  
Сосны окрест,  
Вздогнуло сердце,  
Свежий крест.

\* \* \*

В покой и усталость  
Вся жизнь обозрима:  
На век мой достались  
Лишь зимы да зимы.

Надолго ль тревоги  
Утихли в груди?..  
Весна – на пороге,  
А жизнь – позади.

## НЕГАСИМЫЙ ЗАКАТ

Это верно – мне жизни не хватит  
Для свершенья задуманных дел...  
День прошедший зарделся закатом  
И далеким костром отгорел.

Жизнь с костром тем таинственным схожа,  
Что сгорают, как дни, мотыльки.  
Только с мудростью стану моложе,  
Только в юности будни легки.



Словно витязь, стою на распутье,  
И дорога моя неясна.  
Приумолкли былинки и прутья  
И со мной говорит тишина.

Мне для многого жизни не хватит -  
Длинен день, только жизнь коротка.  
Не нашел я еще булата,  
Чтоб звенела моя строка.

Не допел я любимую песню,  
И ее не устану я петь!  
Мир таинственный. Мир чудесный,  
Как мне много надо успеть!

Вновь открыть для себя Толстого,  
Загореться от пушкинских строк,  
Упоиться есенинским словом  
И послушать, что выскажет Блок.

Не устану бродить в Эрмитаже  
И смотреть на собор Покрова.  
Посчитаю великой пропажей,  
Коль исчезнет с небес синева.

Это верно - мне жизни не хватит,  
Чтоб понять эту жизнь до конца.  
Мир как глобус и прост и понятен  
Лишь пресыщенной дреме глупца.



## Поганый садик

Официально он назывался Чернопрудским, из чего проникательному человеку несложно заключить, что там некогда был пруд, именуемый Черным. В описываемые времена от пруда осталось лишь название, перешедшее также на соответствующую трамвайную остановку и большие желто-грязные бани, из окон которых вырывались зловещные клубы пара и гул, как будто толпа людей заглушенно кричала "А-а-аа!". Когда я - уж и не помню, на какой фреске - увидела изображение голых грешников, мечущихся бестолковой толпой в адских испарениях, то поразилась тому, как средневековый мастер пронзил своим видением три с лишним века. Только вот цинковых шаяк с номерками на прелых веревочках предугадать не мог. А может, просто недорос до принципов социалистического реализма или же перерос их и пожертвовал достоверностью деталей ради общего художественного впечатления, что до недавнего времени припечатывалось как формализм. В средние века на это смотрели сквозь пальцы.

На Черном пруду в легендарные довоенные времена катали на лодках девушек, а на зеленом бережку стояли, на манер Версаля, беседки из деревянных реек и дощатая раковина, в которой наяривал духовой оркестр. Из всего этого культурного набора осталась лишь раковина, которую беспризорники использовали как клуб и уборную, за-

хватив при этом и некоторую часть сопредельных территорий. Наверное, поэтому чахлый этот скверик, вплотную примыкавший к нашему асфальтовому двору, стал называться "Поганым садиком". Впрочем, это название использовалось лишь жителями нашего большого запущенного четырехэтажного дома. Детям гулять в "Поганом садике" запрещалось категорически. Остальная территория этого садика в центре города как-то незаметно из полынного пустыря была перекопана в малые огороды по три-четыре грядки на квартиросъемщика. Всякая луковка была нелишней – конец войны. Большие огороды, где росла настоящая серьезная пища – картошка – очень далеко, за Волгой. Туда взрослые иногда уезжали на целый день полоть и окучивать, а осенью в спальне и коридоре высыпались на газеты для просушки несколько пахнущих городской пылью мешков картошки и меня грубо отгоняли прочь. А я ведь только хотела поиграть с той картошиной у дивана, которая как серенький кролик. Живые кролики с ушками живут у Валеркиной мамы, она – злая мачеха – запирает их на замок в сарае без окон и погладить не дает. А тут, дома, тоже картошечку одну всего погладить – и то не дают, жалко им! Наверно, я тоже падчерица и мама нарочно мне картошину не дает. Родной бы дочке дала. И когда голову моет, назло мыло в глаза сует и – кипятком, кипятком сверху... Я, наверно, Алёнушка... бедная... а они... Все равно своего кроличка от них, от волков, спасу!

– Уйди, сказали тебе, не мешайся! Куда ты лезешь? Боже мой, что за ребенок ужасный! И выть прекрати немедленно! Что ты воешь? На, на, возьми свою картошку и уходи! Она же сырая, грязная, что ты с ней делать будешь? – И суют мне совсем не ту, а какую-то круглую из середины, чужую, поганую.

– Не ту, не ту! Не надо мне эту!

– Что еще за капризы? Ту, не ту! Иди, не крутись под ногами!

За домом, в "Поганом садике" высаживали огородную мелочь – морковку, редиску, укроп, лук, редко – огурцы. Непонятно, как это все совмещалось с наличием там же диких и голодных беспризорников. Может, их к этому времени уже переловили и упекли в детдома, – не знаю.

"Поганый садик" был загадочен, прекрасен и полон тайн. Ближе к тылым сараев нашего дома, подступающих вплотную к дощатой раковине, было самое опасное место, там вечерами что-то происходило, и тетя Маруся по секрету от меня рассказывала маме шепотом страшные "случаи". Около ограды валялись иногда интересные штуки – "Брось эту гадость немедленно! Вечно она найдет, не успеешь отвернуться... Не знаю, что такое – и тебе знать нечего. Придешь домой – три раза руки с мылом вымоешь!" На опушке садика, выкипая на затоптанный асфальт тротуара, цвели мелкие орхидейки волчьих ягод с воткнутым в центр канареечным "ежиком". Эти нежные бело-фиолетовые юбочки непонятно как превращались в твердые, восковые на ощупь нефритовые шарики, которые очень хотелось сорвать. Потом, лежа в кармашке, они становились противно мягкими и ненужными, вызывая досаду и жалость... "Поганый садик" врезан в мою память на всю жизнь, как у других – дачная атласная березовая роща, беспокойный аромат и блеск моря с чайками и лодками или запах вареного пшена и сырых пеленок в бараке.

Мне была вручена маленькая тяпка и я отправилась с бабушкой на наши грядки что-то там покопать или прополоть. Вообще меня туда не очень брали – может быть, опасались, что я нечаянно нарушу демаркационную линию, разделяющую наши добропорядочные огороды и беспризорничью территорию. Или же соблазнюсь сорвать грубый пупырчатый желтый цветок с коротким волосатым стеблем, лишив тем самым наше (а еще преступней – соседское) семейство будущего огурца. Но в

тот день начало везти с утра – у мамы убежало молоко и это означало, что сегодня меня не ждет эта пытка: "Пей! Как это так – чтобы ребенок капли молока не выпил! Пей, пей, а то никуда гулять не пойдешь!" А там пенки, б-э-э! – гадость какая – плавают. Сами бы пили!.. Потом дали одеть любимое платье с голубой птичкой на кармашке – называется аппликация.

И еще вдобавок взяли в "Поганный садик".

Был ранний вечер. После жаркого дня сильные травы пахли откровенно и яростно, как будто кричали. Глуховатый запах нежной огородной земли служил фоном, не смешивался, лежал отдельным пластом. Как будто и не в городе, как будто и не визжит рядом на вираже трамвай и не несет от шпал смолой и гудроном. Незаглушенный черной корой асфальта лоскут живой земли вспомнил свое серьезное деревенское дело – рожал полезные растения, впитывал дожди, давал приют мелким жукам, бабочкам-капустницам. Даже пырей там рос не такой, как из трещин асфальта.

Добросовестно ковыряя тяпкой наши кривые грядки, я перемещалась от одной полосы теплых, горько-зеленых запахов к другой. Колоски пырея лезли в лицо, ладони зазеленели и пахли тоже как трава. На плечо села божья коровка и щекотно поползла... "Бабка-коробка, улети на небко, там твои детки..." – послушалась, умница. Поерзав, выпростала мушиные свои крылышки – и на небко, оставив на руке крохотную оранжевую капельку.

Жарко! Я устала, села на прохладную траву. И вдруг, как будто в первый раз, увидела просторное, больше всего на свете – зеленоватое с розово-золотыми сияющими поперечными лентами, с обморочно тающим дымчато-сиреневым краем – закатное небо. Я не могла про него подумать словом "красиво" или "прекрасно", потому что "красиво" – это Кармен с розой на флаконе духов или немецкая открытка с цыплятами и фиалками в золоченой

корзинке, которую прислал отец из Германии Светке-ябеде, или тетъ-Марусины синие бусы. А "прекрасно" – это то, что молоко убежало. Про теплое, золотое, зеленое небо так было нельзя, это было совсем другое, недетское. Даже не "прощай свободная стихия". "Стихия" (которая, конечно, от слова "стихи") – беспокойная и чем-то опасная. А это – далекое, сияющее и тонко-тонко звенящее, если изо всех сил вслушаться. Не было такого слова в человеческим языке – и надо ли?..

Первый в жизни момент тихого взрослого счастья, не опошленного обладанием или победой. Первое – пронзившее мою душу восторгом и печальной догадкой – ощущение непомерной, избыточной щедрости и невозвратности этой минуты. Оно длилось долго – это мгновение. Из оцепенения меня вывела бабушка, громко осведомлявшаяся, не оглохла ли я, во-первых, и не собираюсь ли нарочно простудиться, сидя на сырой земле, во-вторых... Спасибо тебе, "Поганый садик", я тебя никогда не забуду. Ты сделал мне этот царский подарок – на всю жизнь. И когда, согласно спорным рекомендациям китайских мудрецов, я с утра созерцаю горы, а вечером (если уж так необыкновенно сложатся обстоятельства) воды, – все равно вспоминая тебя, мой утраченный рай, – прекрасный "Поганый садик" моего детства.

## Малибу Классик

Ее звали как испанку благородную – красиво и длинно. Шевроле Малибу Классик. Широкозадая, старая, синяя с выпученными фарами и ободраным боком. С первой машиной, как с первой любовью, везет редко. А если кажется, что повезло, – это значит чего-то вовремя не доглядели, потом покае-

тес. Только поздно уже. Первая машина, как первая любовь, – восторги и слезы. Слез больше.

Бизнесмены удачи – одессит и пуэрториканец уже давно потеряли надежду сбыть эту синюю красотку хотя бы за пару сотен. Но доброе Провидение послало им меня, вполне созревшую для покупки. Явилась, если не на блюдецке с голубой каемочкой, то, во всяком случае, с зелененьким "кешем" в сумочке, что – каждому известно – в сто раз лучше. Меня сопровождал в качестве эксперта друг Боря, имевший в качестве актива восемь месяцев водительского стажа, три небольшие аварии (предмет его особой гордости), академическую внешность и две ученых степени по философии, не давашие ему жить нормальной жизнью. Наш вид был красноречив – оба дилера мгновенно прекратили выдирать трубку из нутра какой-то ржавой развалины и сделали стойку как на крупную дичь. Мои первые слова прозвучали для них небесной музыкой:

– Я недавно приехала, не умею водить и ничего не понимаю в машинах, поэтому я бы хотела...

– Мадам! – восхищенно выдохнул одессит и пошел мыть руки, как хирург перед операцией. Его коллега с лицом оперного демона, в богатых оранжевых трусах с королевскими лилиями уставился жгучим испанским глазом на сумочку. Но мой компатриот, вернувшийся с чистыми руками и горячим сердцем, произнес одно краткое слово по-испански – и лилии на трусах плавно заколыхались, удаляясь в темь гаража.

– В общем, я бы хотела...

– Мадам, к чему слова? Я Вам от чистого сердца предложу машину, которую мечтал купить сам. Клянусь родственниками... Но Вы меня опередили на полчаса. Что ж... Ваша удача. Вам просто невероятно повезло...

– Ну, зачем же такие жертвы? Мне, право, неудобно даже... Может быть, тогда уж другую...

– Нет, нет и нет! – даже слушать не хочу! Уж

такой я человек! Для кого-то на первом месте деньги, для меня – исключительно справедливость! Исключительно! Пусть даже мне хуже от этого станет. Супруга, конечно, будет ругать меня. Пусть!.. И цена, слушай, пустяк! Полторы тысячи для такой машины... Даром, просто даром!!! Клянусь, жена убьет меня, как только узнает. Вы ей ни слова не говорите, умоляю! Взгляните – красавица! Кукла, кукла! Ай, какая красавица! К чему слова? Шевроле!

Доводы звучали вполне убедительно. Полторы тысячи – это была как раз та сумма, которая шевелилась в моей сумочке, стучала в мое сердце и требовала немедленных действий. Однако "кукла" выглядела несколько потрепанно. Боря со второй попытки сделал лицо, которое, по его мнению, приличествовало мужчине бывалому и решительному (уморительная гримаса, надо отметить) и молча кивнул на вдавленную дверцу и подбитые фары. Профессионально перехватив его взгляд, хитрый сын Молдаванки шикарным жестом распахнул капот:

– Давай поговорим за карбюратор!

Говорить за карбюратор Боря не мог, ибо весьма смутно представлял себе назначение и внешний вид этого предмета. Максимум, что он знал о карбюраторе, – что это не есть стартер и расположен он в части машины, противоположной багажнику. Где находится багажник, Боря знал хорошо, но, будучи человеком воспитанным, этим отнюдь не хвастался. Вежливо вытянув шею, он заглянул в непостижимое переплетение черных, в мерзкой липкой мази железок, осторожно понюхал нахально сунутый под нос длинный, гадко пахнущий железный шампур, многозначительно покачал головой и произнес:

– Н-н-нда! Разумеется. А впрочем... Да нет, ничего, кажется... Да, положительно, ничего.

– Говоришь! Таких карбюраторов уже теперь не ставят. Это ж зверь, тигр! Его продуть – лететь бу-



дет! Я тебе скажу, сын недавно Мерседесишко купил... Нет, не тот карбюратор. Не то-о-от! У нас в Одессе бы за такую Шевроле – к чему слова!

– А вы нас не покатаете, если это Вас не затруднит?

Попытка покатасть окончилась конфузом – "кукла" чихнула, испустила из-под хвоста ядовитое облачко и, утробно урча, достигла конца квартала. После чего всхлипнула, захрипела и стала, как гвардеец под Москвой.

– Я ж тебе говорю – зверь, а не машина! – радостно заорал полюбивший Боря дилер. – К чему слова! Всё путём! Не переносит малой скорости! Настоящая вещь – Шевроле, лимузин, красавица! Карбюратор на хайвее ветерком продерется – лететь будет! Такую машину не брать надо – хватать, клянись родственниками! Фары, конечно, разбиты, признаю. Для меня справедливость... уже говорил! Но фары – тьфу! Что такое фары? Нет, ты вот мне скажи – что такое фары! А я тебе тогда скажу, что такое трансмиссия!

Боря, по-видимому, не мог дать исчерпывающее определение фар, а без этого у нас не было шансов узнать, что такое трансмиссия. Я до сих пор не знаю. Чтобы вывести переговоры из тупика, пришлось взять инициативу на себя. Вообще, как я заметила, в дипломатии женщины проявляют решительность в большей мере, чем сильный (во всех других смыслах) пол. Чем это кончается – вопрос второй и, как говорят опытные лекторы, не входит в круг обсуждаемых сегодня вопросов.

– Я полагаюсь на вашу порядочность. Вы ведь, кажется, просили полторы тысячи...

Наш шустрый негодянт все понял и напрягся, мысленно прикидывая – соглашаться ему отдать такое количество натурального американского металлолома за четыреста или можно поторговаться и выбить еще полста.

– Правильно я вас поняла – полторы тысячи?

- Мммм! Ну-у-у! Ви-и-и-дите ли...

- Я вам даю тысячу шестьсот, но - пожалуйста - устраните недоделки. Чтобы ехала. И если можно, конечно, - вот отсюда что-то зеленое течет. Можно сделать так, чтобы не текло?

Он посмотрел мне в глаза. Вытер пот. Нервно почесался. Уж такого он не ожидал. Такого не могло быть, потому что не бывает. Еще раз внимательно посмотрел на меня. Но, судя по виду, я вроде не издевалась, - не подмигивала, не сгибалась в три погибели от хохота, показывая указательным перстом на коммерсанта, не крутила пальцем у виска. Мой ученый консультант тоже не проявлял видимых признаков агрессивности. Да - это была удача! Редкая и сладкая, как ананас в Тюмени. В экстазе наш благодетель смог выдохнуть только одно слово:

- Кэш!

Сделка была заключена... Кто из нас, ввинчиваясь в автобус, куда и спицы не просунуть, кто из нас, вмазанных лицом в пахнувший псиной колючий драп спины переднего пассажира, не видел себя в карамельных мешанских мечтах владельцем лимузина? Это вопрос, как вы, конечно, понимаете, риторический, то есть лишний.

И вот оно - начало волшебной американской жизни! Упругая прохлада сидений из бежевой кожи. Какая кожа? - честный заменитель, конечно. Но можно же думать, что и не... И все дороги этой новенькой страны - серым бархатом под мощными колесами и пестрые чудеса впереди...

На другой день после покупки я окончательно убедилась, что Малибу моя Классик работает в режиме самовара, то есть греет, пытит и испускает жидкость. Как транспортное средство она тоже была равна самовару. Прелестная мечта начать делать неприличные жесты и строить мерзкие гримасы - совсем не по сценарию. Пришлось, втихо-

молку поплавав, звонить уже произведшим глотательное движение и теперь переваривавшим вкусный "кеш" дилерам, чтобы произнести одну из ключевых фраз американского языка, его "Сезам, отворись". Эта фраза звучит в устах крупных государственных мужей и мелких телевизионных жуликов, бродячих продавцов средства от дряблости бедер и слабо владеющих английским нефтяных королей - "Мани бэк". В ответ я слышала несколько ключевых фраз русского языка - что их называть, сами знаете... в школе на переменках проходили. Идиллия таяла, дали прояснились, на горизонте показались очертания американской жизни. Я зажмурила глаза, а когда через минуту разжмурила, - уже знала, зачем и почему на свете существуют адвокаты. Пропать, разделяющая еще пахнущего дымом отечества новичка и горделивого "старого эмигранта", таяла на глазах. Измысленный психологами и, подобно Галатее, оживший под их влюбленными взорами "культурный шок", проходил, как на псе царапина. И моя вторая фраза звучала уверенней первой: "Ю вил спик виз май лоер", что в переводе на русский означает: "На-ко ся, выкуси. Поамериканистей тебя еще будем! Не лаптем щи хлебаем!"

Удивительно смешное занятие - быть эмигрантом.



\* \* \*

Счастлив сегодня мокрым асфальтом,  
Лужей, расплавленной фонарем,  
Рассеянным каплями октябрём,  
В мире с прошедшим "сейчас" и "потом".

Иду за своею промокшею тенью  
Захмелевшим дремотным молчаньем аллеи  
И не желаю судьбы веселей,  
И не хочу поклоняться мгновенью.

\* \* \*

Карнавал иль вечер поминальный  
Задаёт сентябрь, берёзы золотя,  
В ранние туманы плач печальный  
Тонкой нитью желтою вплетя.

\* \* \*

Волосы ночь расплетала  
Над степью и тихой рекой,  
В траву, что уже задремала,  
Бриллианты роняла росой.



**Юрий ЛИННИК**

## **Его судьба - песочные часы**

*(Поэзия Игоря Чиннова)*

Ценители русской поэзии, живущие в метрополии, переживают ныне подобие шока: в их сознание входит целая плеяда поэтов диаспоры, о которых на родине практически не знали. Качественно меняется, обогащаясь и углубляясь, вся картина русской поэзии XX века. Мы отчетливо видим, что по обе стороны железного занавеса развитие поэзии шло в разных направлениях: единая в своей сущностной основе, она тем не менее раздвоилась, расщепилась на два потока. Между этими потоками не было обратной связи, - была связь односторонняя: поэты диаспоры могли следить за тем, что делают их коллеги в России, - тогда как последние порой даже не подозревали о существовании первых.

Сравнение двух потоков - дело будущего. Вероятно, компаративный анализ не обойдется без оценочного момента: кто писал ярче, значительнее? Однако пусть этот момент - конечно же, неизбежный - не будет превалировать. О. Мандельштам писал: "Не сравнивай: живущий не сравним..." Но это относится и к умершим. Талант - дар Божий: всегда неповторимый, он раскрывается в любых условиях, пусть даже самых тяжелых. Сейчас интереснее сравнить не сами таланты, а именно условия их раскрытия, осуществления. XX век поставил жестокий эксперимент: отнял у одних поэтов родину, но дал им свободу - другим, наоборот, оставил родину, лишив права свободно проявить свое дарование. Свобода и творчество: под углом этой проблемы сравнение достигнутого метрополией и

диаспорой в области поэзии будет и полезным, и поучительным.

Трудно представить такого поэта как Игорь Чиннов в контексте советской поэзии. Точнее говоря, просто невозможно! Свобода дышит из каждой его строчки, действуя на читателя метрополии как кислород: пьянит - кружит голову - вызывает ощущение внезапно выросших крыльев.

Это не декларируемая, а осуществленная свобода. Та свобода, которая не замечает себя: настолько она органична и естественна. Что мы знаем о ней? Почти ничего! Для нас понятие свободы сопряжено прежде всего с гражданскими мотивами борьбы за нее. К свободе как таковой - в ее данности и безусловности - нам надо привыкать. Столько шор еще не сброшено; столько схем - почти наследственно закрепленных - довлеет над нами. Вот почему поэзия Игоря Чиннова действует ошеломляюще, - сразу попадая в плен ее неисповедимого очарования, все же долго адаптируешься к ней.

Явления искусства можно и должно измерять коэффициентом новизны, своеобразия. По этой шкале Игорь Чиннов берет самые высокие показатели, - печать абсолютной самобытности лежит на его творчестве. Вот почему поэт занимает совершенно особое место в пространстве русской поэзии XX века. Он - вне аналогий, он - вне сравнений. Не это ли лучшая мера своеобразия? Чем оригинальнее явление, тем труднее устанавливать его генезис. Да, творчество Игоря Чиннова можно связывать с "парижской нотой". Да, в чем-то он перекликается с обэриутами, основоположниками абсурдизма. Но эти связи и параллели лишь что-то акцентируют, оттеняют в творчестве Игоря Чиннова, отнюдь не исчерпывая его значения. В конце концов, они просто второстепенны, - доминирует, занимает весь передний план именно самобытность, несводимость к чему-то уже бывшему, известному.

Настоящий талант всегда нарушает законы сохранения: черты его стиля, обновляющие словесность, рождаются как бы из ничего - спонтанно и непредсказуемо. Нару-

шение законов сохранения - на плане искусства это отсутствие очевидных связей с предшественниками, независимость от них - производит впечатление чуда. Подлинный талант является именно чудом, - вселенная в его свете рождается как бы заново: это уже другая, преображенная вселенная.

Таков мир Игоря Чиннова: странный, завораживающий своей парадоксальной красотой - у него нет аналогов и двойников. О Чиннове хочется сказать так: какой чудесный поэт! Именно - чудесный: этот эпитет нельзя заменить никаким синонимом - имея характер восторженной оценки, он в то же время отражает сущность. Творчество для Чиннова - как чудотворство: волшебником поэт идет по миру, преображая - или лучше сказать "остраняя" (по В. Б. Шкловскому) - его реалии.

Это поэт-волшебник.

И одновременно - поэт-ироник, мастер гротеска и парадокса.

Волшебность, сказочность - и сарказм, ирония?

Мы привыкли к тому, что эти качества существуют разобщенно, - ведь они действительно являются полярными, контрастирующими. Но Чиннов совмещает их! И это важнейшая особенность его дарования.

Поэтика Игоря Чиннова созвучна поэтике дзэн-буддийского коана. Как известно, коан провоцирует наше мышление, заставляя его преодолеть - перерасти - привычные стереотипы. Восточный коан порой сближается, конвергирует с парадоксом в его европейском понимании. Мы помним, что парадоксы могут возникать в результате резкого столкновения, совмещения противоположностей. Например, уму невообразимо - и потому парадоксально - сочетание волновых и корпускулярных свойств в природе света. Принцип дополнительности Н. Бора, выявляющий этот дуализм - своего рода научный канон: для своего понимания он требует расширенного сознания.

Такое же расширенное сознание необходимо и читателю Игоря Чиннова. Это надо вместить в себе - осмыслить

по принципу дополнительности: из одного стихотворения с тобой говорит сказочник-романтик - и саркастический скептик, тончайший лирик-идеалист - и порой почти что циник. Два альтернативных начала - возвышающее и занижающее, сакрализирующее и профанирующее - вступили в удивительный симбиоз. В этом симбиозе - ключ к пониманию Игоря Чиннова, его уникального, единственного в своем роде дарования.

Парадоксальность - или коановость, если так можно выразиться - заложена в самой природе этого дарования. Игорь Чиннов парадоксален, странен. Вспомним, что понятие странности вошло в мышление XX века с двух сторон: из науки, где оно стало важнейшей онтологической характеристикой бытия в его физическом сечении - и из гуманитарной сферы: эстетические возможности "остранения" здесь используются весьма широко и разнообразно. Часто апеллируя к парадоксам науки и художнически осваивая их, Игорь Чиннов обнаруживает свою глубокую - и нетривиальную - созвучность современной естественно-научной картине мира. Его связь с эстетикой модернизма, чья склонность к парадоксализации действительно общеизвестна, не требует специального выявления: уроки, взятые поэтом в Париже, столице мирового авангарда, ощутимы с первых страниц любой его книги. Надо указать еще и на третий - экзистенциальный - источник странности в даровании Чиннова: это само бытие современного человека, которое подчас кажется абсурдным, бессмысленным. Жизнь - искусство - наука и философия: по всем трем параметрам Игорь Чиннов наитеснейше связан со своим веком, точно и глубоко выражает его антиномии, его искания.

Игорь Чиннов умеет опозитизировать прозаическое - и наоборот: поэтическое он часто подвергает прозаизации. По сути дела это два комплементарных приема в его поэтике: возведение прозы до уровня поэзии - и низведение поэзии к уровню прозы. Два разнонаправленных вектора, сталкиваясь, создают неповторимый эффект.



Иногда оба момента уравнивают друг друга, - и тогда в стихе звучит диалог утверждения и отрицания, приятия и отталкивания. Иногда какой-то момент доминирует: тогда мы имеем дело или с чудесной, истинно волшебной музыкой - или с мрачным, безнадежным, хотя и не лишенным нот шутливости гротеском.

Вероятно, соотношение этих моментов варьирует по мере эволюции поэта. Быть может, здесь есть такая тенденция: убивание волшебного - и нарастание гротескного. Но не хочется схематизировать путь столь импульсивного и динамичного поэта. Скорее всего, что оба начала - лирическое и ироническое - изначально сосуществуют в нем. И если какое-то из них выходит на первый план, то это не является чем-то окончательным, необратимым: в следующем стихотворении соотношение может измениться на противоположное.

Истинная поэзия немыслима без метафоры. Это и есть волшебство поэзии: преобразование - обновление - остранение мира в метафоре. Самоценность метафоры - в ее игровой природе. Да, поэт играет, ассоциативно связывая в метафоре явления, абсолютно несопоставимые для рассудочного мышления. Но в этой игре - соль искусства. Разумеется, чистого искусства, свободного от прикладных забот.

Поэзия Игоря Чиннова насквозь метафорична. Заметим, что современная поэзия часто обходится без метафор, - художественный эффект создается чувством детали, интонационным рисунком, свежестью и остротой мысли. Однако мы убеждены, что метафоричность первична для поэзии, - это ее основа основ, ее нерв. Дефицит метафоричности свидетельствует о том, что рассудочное начало берет верх в поэзии. Тем ценнее такие редкие поэты, как Игорь Чиннов, - они напоминают нам об изначальном призвании поэзии: одухотворять мир, придавая ему особую значительность и ценность.

А в небе жаворонок, будто якорь блаженных минут,  
В светлую вечность закинутый якорь.

(Композиция, с. 115)

Изумительная метафора! Стояние жаворонка в небе ассоциативно осмыслено как стояние времени, - то есть его переход в вечность, в счастливую неподвижность раз и навсегда остановленного мига. Перед нами типично суггестивная метафора, не поддающаяся логическому расчленению, демонтажу. Жаворонок - якорь - вечность: но что тут общего? В анализе метафора разбивается на бессвязные осколки. Но в таинственном контексте стиха она оживает, сильно и убедительно, с неизъяснимой эффективностью воздействуя на подсознание.

Игорь Чиннов является мастером именно суггестивных метафор. Неожиданно точные, они могут рождаться лишь в ассоциативном пространстве сознания, имеющего - по мысли Ф. М. Достоевского - неевклидову структуру. Помните его рассуждения о сходящихся параллелях? В сознании И. Чиннова постоянно сходятся, конвергируются явления, которые для обыденного восприятия абсолютно изолированы друг от друга.

Искусство метафоры в поэзии Игоря Чиннова тонко сочетается с искусством детали. Метафора у него часто рождается из метко увиденной подробности: вот на нее падает луч внимания - и вокруг малого, в общем-то весьма заурядного явления вспыхивает ореол волшебства.

И луковица - жемчужина,  
И финик - темный янтарь.

(Партитура, с. 34)

Перед нами своеобразная метафоризация деталей. И одновременно словесная живопись: луковица выписана жемчужной пастелью, а финик - черно-золотистым маслом. Попутно заметим, что цветовые эпитеты Игоря Чиннова свидетельствуют о его природном даре художника-колориста, - они всегда отличаются и точностью, и свежестью. Часто это составные эпитеты: "багряно-фиолетовый" - "перламутрово-переливчатый" - "мимолетно-золотистый". Как видим, здесь сочетаются не только цвет с цветом, но

и цвет с состоянием, настроением, впечатлением. Удивительно богатое, как бы многослойное письмо!

В основе ассоциативных метафор нередко лежит парейдолия: способность нашего сознания вносить новые смыслы в объективно случайные или хаотические структуры. Вот Леонардо глядит на заплесневелую стену, - и перед ним предстает сложно разработанное живописное панно. Игра воображения? Но она бесценна для раскрытия потенциалов человеческой фантазии. Способность к парейдолическому восприятию коррелирует со способностью к творческому воображению. Парейдолия - источник парадоксов, парейдолия - залог новизны. Игорь Чиннов умеет извлекать замечательные художественные эффекты из этого психологического явления. Вот его стихотворение, которое можно приводить в учебниках психологии как прекрасный пример парейдолии:

В стакане стынет золотистый чай,  
Чаинка видит золотой Китай.

Желтеет чай, как Желтая Река,  
И тает сахар, словно облака.

Кружок лимона солнцем золотым  
Просвечивает сквозь легчайший дым.

Легчайший пар напоминает ей  
Туман прозрачный рисовых полей.

И ложечка серебряным лучом  
Упала в золотистый водоем,

Где плавает чаинка, где Китай  
Привиделся чаинке невзначай.

(Композиция, с. 93)

Издревле облака являются лучшим подспорьем для развития парейдолического восприятия. О, можно соста-

вить большой каталог облачных метафор Игоря Чиннова!  
Вот некоторые из них - весьма неожиданные в своей парадоксальности:

И наполнилось небо конторщиками, продавцами,  
Они улетали на радостный остров Цитеру.  
Конторские книги махали большими листами,  
Сгорая, сияя, волшебю несясь в стратосферу.

(Автограф, с. 77)

Обычно небо видится в романтической призме, - здесь же образный ряд нарочито занижен: это обновляет наше восприятие облаков. Но вот традиционно-возвышенная эстетизация неба:

Сделал из облака ветку сирени я.

(Партитура, с. 55)

Превращаемость заложена в самой природе облаков. Но теперь мы знаем: весь мир - это череда метаморфоз. Явления переходят друг в друга еще более неожиданно, чем это казалось Овидию, великому коллекционеру превращений.

Игорь Чиннов - наследник Овидия. Метафора для него - начало метаморфозы.

И, воскрешая древнюю Элладу,  
Туристка превращается в дриаду.

(Автограф, с. 72)

С легкой иронией поэт говорит об этом удивительном превращении. Опять занижение, прозаизация чудесного? Но ведь чудесное от этого не перестает быть чудесным! В нем появляются новые экзистенциальные обертона, придающие ему совершенно особую теплоту и очарование.

Миф в своем генезисе теснейшим образом связан с поэтикой превращения, метаморфозы.

Не о всяком поэте можно сказать, что у него есть своя личная мифология.

О Игоре Чиннове это сказать можно. Вот типичная для него нео- или квази-мифология:

И ангелу случается отчаяться,  
Он вешается, топится, стреляется.

Его душа, печальная страдальца,  
Во что-то маленькое воплощается.

Ей суждено (он не успел раскаяться)  
Жить гусеницей или каракатицей.

И вот живет, питается, спасается,  
И прошлое не жжет, не вспоминается.

А после воплощается, смиренница,  
В снежинку (подожди - и переменится).

И, светлая, она летит над улицей  
И ангелами дальними любит.

(Партитура, с. 22)

Характерная для Чиннова черта: душа ангела "во что-то маленькое воплощается". Именно в маленькое, а не в великое! Есть поэты, любящие гиперболы: они склонны укрупнять явления. Игорь Чиннов, наоборот, является мастером литоты: в результате превращений вещи у него уменьшаются, сокращаются. Случайно ли в словаре поэта так часто встречаются уменьшительные существительные? Их изобилие - черта стиля. И очень существенная черта: в ней - пусть неявно, опосредованно - отражается модель мира поэта.

Ниточка жизни - лесной паутинкой,  
Летней росинкой, слезинкой, потинкой.

(Пасторали, с. 10)

А вот вроде бы гипербола:  
След улитки слегка серебрист:  
Млечный Путь на холодном асфальте.

(Пасторали, с. 14)

Но все же здесь работает не увеличительное, а уменьшительное стекло: Млечный Путь сокращается до размеров следа улитки.

Метафоры Игоря Чиннова нередко строятся на литотах. Можно утверждать, что за этим моментом стоит не только эстетический принцип, но и целое мировоззрение.

Оранжевый шарик месяца  
Висит, как ягода-рябина,  
И, светляком мерцая, висится  
Над ним огонь Альдебарана.

Большое переходит в малое  
И есть таинственное сходство  
И вещи образуют целое -  
Искусству видимое братство.

(Пасторали, с. 33)

Литоты и уменьшительные Игоря Чиннова свидетельствуют о том, что он стремится сделать мир сомасштабным человеку. Маленькому человеку! Даже человечку:

Я недавно коробку сардинок открыл.  
В ней лежал человечек и мирно курил.

(Антитеза, с. 100)

Экзистенциализм стал философией маленького человека, свободного от всех иллюзий ложной гигантомании.

Игорь Чиннов - поэт-экзистенциалист. И его личная мифология имеет отчетливо выраженную экзистенциальную окраску.

Плоть - превращается, душа - перевоплощается.

Восходящая к мифологии тема реинкарнации получает у Игоря Чиннова очень своеобразное - конечно же, парадоксалистское и автоироничное - развитие. Закон литоты действует и на этом уровне:

Я собирался стать Жар-Птицей,  
Павлином, Фениксом, секвойей,  
Орлом, который громоздится  
Над снегом горного покоя.

Мечту на мелочи разменим:  
Придется удовлетвориться  
Смирненным перевоплощением  
В рябину, сосенку, синицу.

(Пасторали, с. 15)

Размен на мелочи может зайти очень далеко - до уровня микромира:

Я проживаю в мире инфузорий.

(Партитура, с. 13)

Кто из нас не ощущал себя чем-то исчезающе малым на фоне этого непонятного, враждебно-сложного мира? У Игоря Чиннова подобные ощущения никогда не переходят в самоумаление и самоуничижение. Выручает - ирония! Родная сестра свободы, она снимает извечную напряженность в отношениях между человеком и миром, поднимая наш дух.

Кто может сосчитать морской песок? Весной  
Я шел по берегу, устало:  
Я точно сосчитал песчинки - до одной.  
Но двух песчинок не хватало.

Песок... Моя судьба - песочные часы:  
Переверни - и все сначала.

Я все шучу. Из белой полосы  
Песчинка в черную упала.

(Автограф, с. 55)

Две запропавших песчинки вполне примиряют человека с бесконечностью! В шутливых стихах говорится о серьезных вещах: идея вечного возвращения, дуализм света и тьмы - на эту тему писались фундаментальные философские трактаты. Можно сказать, что Игорь Чиннов пародирует метафизику, - но и в своем иронизированном варианте она продолжает смущать наш дух бездонным, таинственным. Более того, именно ирония дает новую жизнь вечным - и, вероятно, неразрешимым проблемам: печально улыбнувшись, мы начинаем серьезно думать о себе, о своем месте в этом странном мире.

Явления и вещи в поэзии Игоря Чиннова обладают способностью к неисчерпаемым превращениям, перевоплощениям. Интересно путешествовать в этом мире, удивляясь красоте и неожиданности происходящих в нем метаморфоз. Игорь Чиннов снял все границы между вещами: они свободно перетекают друг в друга. Поэт с артистическим блеском направляет эти перетоки, переходы. Словно сами вещи стали артистами: они играют, лицедействуют, надевают на себя маски. Яркий, феерический, парадоксальный мир!

Известно, какое огромное значение категория игры приобрела в современной философии и эстетике, - быть может, это самое глубокое и загадочное в человеке: его способность играть. Еще Ф. Шиллер выявил сущностную корреляцию между понятиями свободы и игры. Напомним, что ирония часто принимает игровую форму, - поэтому применительно к творчеству Игоря Чиннова целесообразно пользоваться триадой взаимосвязанных понятий: игра - свобода - ирония.

Игорь Чиннов играет блестяще. Вот его философско-эстетическое кредо:



Пушай живет игра воображенья -  
Сквозь темноту, сквозь вечное забвенье.

(Пасторали, с. 93)

В игре возможно то, что невозможно в действительности. Значит, игра обман, иллюзия? Но и сама действительность может оказаться игрой майи, - за стихами поэта порой стоит философ-солипсист.

Ну, вот и все. А если вдруг  
Ты скажешь, поглядев вокруг,  
Что ты не веришь в этот мир,  
То мир уйдет, как дым, в эфир?

(Композиция, с. 55)

Мир - игра.

Мы играем внутри игры.

Иерархия игровых ситуаций: вот модель мира Игоря Чиннова. Онтология у него совпадает с психологией, - мир словно снится, мерещится. То это тяжелый бредовый сон, - то просветленный, лазурный: тогда сквозь него проступает высшее инобытие.

Этот мир тускловатый и тленный,  
Мутный город, и ночь, и весна  
Только - тени на стеклах вселенной,  
Светотень на стене, а не стены,  
Отражение страшного сна.

Но неважно. Важней, что порою  
Мы, глаза прикрывая рукою  
И впадая почти в забытье,  
Вспоминаем и видим другое,  
Необманчивое бытие.

(Да... А все же, читатель, не скрою:  
Не мое оно - и - не твое.)

(Композиция, с. 67)

Мир у Игоря Чиннова легко вовлекается в игру, - он и рождается как бы из игры: свободно, непринужденно. Поэт действует как демиург, - он сам устанавливает законы своей игровой космогонии. А как же Бог? Он на равных с поэтом участвует в чудесной игре:

Вот и темно, но вслед за шарами  
везет самолет огоньки:  
Бог украшает цветными шарами  
ветки невидимой елки.

(Партитура, с. 27)

Давно говорят: Бог - великий художник. Но надо добавить: еще и великий игрок. Красоту в природе он создает играючи, - и в ассоциациях поэта эта божественная игра получает естественное продолжение.

Черная, с желтым и красным.  
Тонкий по клюву коралл:  
Точно Пикассо пикасно  
Алый зигзаг написал.

(Пасторали, с. 20)

Это портрет тропической птицы. Портрет-игра! Читая стихи Игоря Чиннова, порой ощущаешь себя находящимся в какой-то фантастической игротке, - ею стала сама вселенная. Это апофеоз превращаемости: мир, обретший черты вертепа. В таком мире совсем не страшно жить.

Плыл лунатик в лунном свете,  
Словно в золотой карете,  
Превращал подлунный мир  
В пасторальный Монплешир!

.....

Думать ни о чем не надо,  
Легкая арлекинада -  
Пируэты, антраша,  
Реет юбочка, шурша!

(Антитеза, с. 85)

Что-то родственное картинам Марка Шагала, с их летающими парочками и другими парадоксами, есть в этих стихах Игоря Чиннова. Внешне они легкомысленны - по сути своей трагичны. Ведь золотая карета плывет на фоне боли, страдания, одиночества. Если она потерпит крушение, то в мире воцарится отчаянье.

Личная мифология Игоря Чиннова - это экзистенциалистская мифология: не боги или гиганты: здесь втянуты в игру превращений, а малые мира сего. Поэту чужд пафос декларативного гуманизма. Однако в его иронии и скепсисе много настоящей любви к человеку.

И он идет, задумчивый, печальный,  
Почти эфирный, о, почти астральный,  
Бессмертный дух... С таблеткой от озноба.

(Партитура, с. 50)

Занижение высокого в человеке (эфирность, астральность его духа) через ироническую деталь (прозаизм таблетки, без которой не обойтись)? Скорее занижение-возвышение! Это парадоксально - но это так. Деталь срабатывает как рiано: понижает громкость звучания. И одновременно возвышает в наших глазах образ маленького человека. Ирония Чиннова - при всей своей едкости - всегда добрая.

Вот поэт смотрит на старого, замученного работой человека, - и тот вдруг вовлекается в цепь удивительных превращений:

Не позвоночник, а тростник прибрежный  
Сгибается; не линии ладоней,  
А ветки почерневшие деревьев  
(На фоне желтоватого заката)  
Потрескались под градом и под ветром.

Не сердце бьется, а морские волны,  
Не кашель, а раскаты громовые,

И не озноб, а Млечный Путь проходит  
Насквозь пронизывающей струей.

(Композиция, с. 52)

Ну чем не антропокосмизм? Малое превращается в великое - человек отождествляется со Вселенной. Будто это не простой старик, а индийский Пуруша, не иначе. Прозаический озноб: теперь от него нужно таблетки, - это веянье самой бесконечности.

Метаморфозы здесь разворачиваются в нетипичном для Игоря Чиннова направлении: не от великого к малому, а от малого к великому - гипербола замещает литоту.

И все же литоты главенствуют. Это доступнее человеку: уменьшить огромное, а не самому вырасти до него. Потому даже к смерти - совсем в традициях русского фольклора - поэт обращается, используя уменьшительные обороты:

Дай подольше посидеть у края бережка,  
Злая Смертушка презлая, Душегубушка!

(Автограф, с. 76)

Игорь Чиннов с предельной остротой чувствует всю непостижимость, антиномичность, трагичность бытия. Человек как-то должен адаптироваться к существованию в этом сложном и печальном мире! Миф и сказка, игра и гротеск, ирония и фантазия: что это, как не различные формы адаптации к тайне? От нас скрыты конечные причины и цели; мы ничего не знаем о своей посмертной судьбе. Но в пространстве игры нам открывается перспектива превращений, которая, право, способна принести утешение и примирение:

Превращается имя и отчество  
В предвечернее пламя и облачко,

И становится дата рождения  
Отражением - в озере - дерева.

И становится даже профессия  
Колыханием, феей и песенкой.

(Партитура, с. 59)

Волшебство в стихах Игоря Чиннова как бы стесняется самого себя. Сотворив чудо, поэт нередко тут же профанирует его, иронизирует над ним. Обманувшись, он стремится немедленно развеять обман, - и сразу же виртуозно создает новые иллюзии. Поэзия Чиннова все время как бы двойится между очарованием и разочарованием, верой в чудо и разуверением. Она полна контрастов, - и это контрасты живые, пульсирующие: пастораль переходит в гротеск - сарказм расцветает нежностью. В этой пульсации, осцилляции отражается двойственность мира, который одновременно открывается нам с противоположных сторон.

Что лежит в основе мира: Логос или Абсурд? София или Ничто? Оказывается, этот мучительный вопрос терзает не только философов, но и поэтов, - Игорь Чиннов напряженно думает над ним.

О гармония Логоса! И как же иначе?

Серый волк на Иване-царевиче скачет  
(по-сибирски снежок серебрится)  
и море,  
которому пьяный по колено  
зажигает большую синицу  
в честь этой победы Человека.

(Партитура, с. 7)

Гармония Логоса здесь явно нарушена. Обычные отношения, вывернувшись наизнанку, стали абсурдными. Перед нами наоборотный мир! Инверсия, обращение значений и смыслов порождают замечательные игровые парадоксы.

Если говорить о русской культуре, то эстетика абсурда восходит в ней к скоморощине, небывальщине, - Игорь Чиннов порой бывает очень близок к этим жанрам. Вот две

строчки из "Небылицы", записанной от Марьи Кривополе-  
новой:

По синю морю да жарнова плывут,  
Жарнова плывут да тут певун поет.

В фольклоре подобная абсурдизация имеет чисто игровое значение. Игорь Чиннов тоже любит поиграть с инверсией, с переброской смысловых полюсов. Но у него эта игра уже несет в себе глубокий экзистенциальный подтекст. Да, она веселит, радует. И вместе с тем читатель ощущает ее скрытую трагическую подоплеку.

Суматошливо-то, скоморошливо,  
Без горячих слез, пляша-играючи,  
И ни будущего, и ни прошлого,  
О голубушки мои, не знаю, чьи,  
Было давеча, стало нонеча.  
Пляшут ангелы, скинув онучи!

(Композиция, с. 41)

Абсурд является одной из ключевых категорий экзистенциализма. В XX веке мнимо-твердая почва рационализма ушла из-под ног человека, - и четкая сетка декартовых координат рухнула: мир предстал как запутанный, явно иррациональный в своей структуре лабиринт. И человек потерялся, заблудился в этом лабиринте, - хотя с лирой не расстался: искусство помогало ему обживать все эти бессмысленные переходы и тупики. Да, Слово перестало быть Логосом, - но все равно оно звучит, скрашивая существование:

Шепчу слова, бессвязно, безотчетно,  
Бессмысленно в безлиственной аллее,  
Проходит день бесплодно и бесплотнo,  
Но темные слова уже светлее.

(Партитура, с. 53)

В одной строфе шесть раз использована приставка "без": у жизни отнято все, что вчера определяло ее содержание, - и тем не менее жизнь идет.

Смысл и бессмыслица: чего в жизни больше? Часто поэту кажется, что жизнь - нонсенс. Но жить все равно стоит.

Да, да, сегодня красная погода,  
Да, презеленая, отстань.  
Делишки и делишечки, простуда,  
Больная, сломанная тень.

(Композиция, с. 38)

И в этом, и во многих других стихотворениях поэт охотно пользуется редкой для русской поэзии консонансной рифмой. После целиком построенной на консонансах книги В. Шершеневича "И так итог" (1926 г.) к подобной рифмовке обращался, пожалуй, лишь П. Антокольский.

Что скажут о консонансах Игоря Чиннова структуралисты-семиотики? Вот блестящий пример того, как формальный прием может взять на себя огромную смысловую нагрузку, своеобразно моделируя мировоззрение.

В консонансах Игоря Чиннова ломается, нарушается классическая гармония стиха, за которой стоит гармония Логоса. Так называемое рифменное ожидание не получает полного удовлетворения: консонансная рифма бьет как бы рикошетом, - и это вызывает ощущение определенного дискомфорта, психологического конфликта. Но о каком комфорте может идти речь в абсурдном и дисгармоничном мире? Сама структура стиха здесь адекватно воспроизводит особенности экзистенциалистской вселенной. Это замечательная находка Игоря Чиннова, свидетельствующая о том, что стих поэта достиг предельной пластичности: он может вторить и гармонии мира-Логоса, и дисгармонии мира-Абсурда.

Вот как консонансы помогают передать ощущение сдвинутости всех смыслов в абсурдистской вселенной:

Обожжены, обнажены, обижены  
Края души - и вот, о смысле жизни,  
О том, что мы искажены, обезображены,  
Что жизнь порою хуже казни -  
И черт хихикнул: "Это наши козни,

Мон шер, о богословской сей материи  
С вопросами соваться к Небу  
Смешно: шарады, фокусы и ребусы.  
К ним комментарий крематорий.  
Все просто потому, что потому  
Оканчивается, окупывается на "у".

(Композиция, с. 45)

Искусство задолго до Фрейда стало осваивать недра  
бессознательного: бред, кошмары, галлюцинации - все это  
законно входит в сферу эстетического освоения.

Ну, а ночью - пандемониум,  
Завывает: улюлю!  
И лежу - святым Антонием:  
Искушения терплю.

Многокрылое чудовище  
Прогнусило: согреси! -  
Полукрысы-полуовощи,  
Полуптицы-полувши.

(Антитеза, с. 79)

Связь этих стихов с фантасмагориями Иеронима Босха  
несомненна. Великий художник был абсурдистом, - но он  
живописал вымышленный мир. Однако давно ли сама объ-  
ективная реальность стала восприниматься как абсурд,  
горячечный бред? В русской культуре - со времен Гоголя:  
Игорь Чиннов тоже вышел из его "Шинели":

Не стоит искать, тосковать, бунтовать:  
в обитель небесную мчится кровать.



В сиянье и славу, в парчу и виссон  
Акакий Акакиевич облачен.

А если и нет - и тогда не беда:  
над ним лебеда, под ним - вода.  
"Энергия - в материю!" Все физика, да.  
Копил, копил, сукно купил. Конец, господа.

(Композиция, с. 48)

О бессмысленности жизни впервые заговорил Экклезиаст, - его можно назвать основоположником экзистенциализма. И возвращается ветер на круги своя...

Возвращается через сердце поэта:  
Сегодня я сразу узнал  
тот ветер вечерний, весенний -  
Тот ветер начала апреля тридцатого года.

(Антитеза, с. 83)

"Все суета сует", - говорил Экклезиаст. Но Игорь Чиннов от имени XX века делает поправку к этим словам:

Не суета, а суть...

(Композиция, с. 63)

Понятия суеты и сути совпали? И аллитерация свидетельствует о их внутреннем родстве? Что ж, такой парадоксальный ход мысли естествен в контексте поэзии, насыщенной экзистенциалистскими мотивами.

Суета жизни находит свое разрешение в смерти.

Владимир Вейдле писал: "Уже первый сборник Чиннова "Монолог" может быть охарактеризован как монолог приговоренного к смерти". Это осевая тема всего творчества Игоря Чиннова: предстояние человека перед тайной небытия (или инобытия?) - попытка сейчас, при жизни, получить информацию из туманного запределья.

А существует ли оно, это запределье?

Вот вопрос, проходящий лейтмотивом через каждую книгу поэта, - мы встречаем его в разнообразных вариантах.

...Над люксембургским садом сияя,  
Как над Акрополем, как тогда,  
Круглится месяц. Нет, - мяч Навзикаи!  
А души - бессмертны. Бессмертны, да?

(Автограф, с. 88)

Об этом Игорь Чиннов спрашивает у своего друга Юрия Терапиано, покинувшего земной план бытия. Ответа нет. И потому вопрос звучит еще более смятенно, тревожно:

А то, что там (ты веришь?) будет  
Эдем, блаженство, торжество...  
Скажи, там ничего не будет?  
Совсем не будет ничего?

(Пасторали, с. 84)

Интуиция поэзии издревле улавливает веянье горного мира. Игорь Чиннов тоже умеет настраиваться на волну нездешнего:

И странно: смутный, тайный признак -  
Какой-то луч, какой-то звук -  
Нездешней, невозможной жизни  
Почти улавливаешь вдруг...

(Композиция, с. 65)

Иногда поэт отчетливо прозревает другую реальность:

Туманный свет - нежней, чем в этой жизни -  
Мерцающих, полупрозрачных рощ...

(Композиция, с. 71)

Очень хочется верить, что мы проснемся в "голубом четвертом измерении" (Пасторали, с. 57), - некоторые

стихи Игоря Чиннова звучат как репортаж из этого измерения. Где скепсис? Где агностицизм? На высшем подъеме чувств поэт говорит о чаемом и желаемом, как о чем-то безусловно возможном, - на всплеске веры он поднимается к Богу:

Мне хочется прозрачности, сияния,  
Прощения, любви, освобождения,  
Свободы, благодати, удивления,  
Твоих чудес. Чудес! Преображения!  
Мне хочется - из мертвых воскрешения!

(Антитеза, с. 61)

Но голос надежды немедленно перебивается голосом безысходности. Вот еще стихи о смерти - они звучат почти ернически:

Придется, кажется, расстаться  
С самим собой. Адье, мерси!  
А может быть... А может статься...  
До-ре-ми-фа, фа-соль-ля-си.

(Антитеза, с. 67)

Едва поэт поднимается к высям трансцендентного, как немедленно падает вниз - в беспросветную прозу земного бытия. Мятающаяся мысль колеблется от зенита до надира! И часто амплитуда этого колебания уместается в пределах стихотворения.

Не играй, обманщица певучая,  
Не мерцай ты в мерзости земной.

(Партитура, с. 20)

Аллитерация в последней строке связала понятия, находящиеся в резко различных ценностных измерениях. Нездешнее мерцание - и мерзость жизни: воистину катастрофическое столкновение противоположных смыслов!

Это катастрофа сказки?  
Авария волшебства?

Жизнь улыбалась, будто Царь-Девница,  
А нынче хочется развоплотиться.

Очарование, чары, волшебство?  
Нет ничего (но это - ничего).

(Партитура, с. 11)

После И. Анненского никто в русской поэзии не передавал так откровенно и достоверно мучительность жизни, как это делает И. Чиннов, - от многих его строк саднит сердце:

Я не выброшусь. Я готов стареть,  
Чашу пить до конца, молчать, терпеть.

(Антитеза, с. 68)

Что-то апокалиптическое есть во взгляде поэта на мир:

Я чувствую, хлоралгидрат  
Подсыпан в блекнувший закат.

(Антитеза, с. 71)

Мир - абсурден, жизнь - абсурдна, смерть - абсурдна. О, поэту ведомы накаты безнадежности! Однако спасительный закон ритма снова выносит его из тени в свет, - и за диастолой отчаянья следует систола надежды, тезу отрицания сменяет антитеза утверждения. Контраст, светотень, диалог, дополнительность: говоря о мире Игоря Чиннова, мы не сможем обойтись без этих понятий. Это парадоксальный, противоречивый, диалектический мир. И потому - предельно жизненный, и потому - такой неповторимый.

У Игоря Чиннова есть своя теодицея: несмотря на абсурдность, он готов оправдать Бога -

...Винovníк мироздания  
Заслуживает снисхождения.

(Антитеза, с. 97)

Но по каким мотивам?

Прежде всего по эстетическим.

Очень глубоко и многоаспектно в творчестве Игоря Чиннова звучит тема красоты. Это поэт-эстет. Но его эстетизм опять-таки окрашен в экзистенциальные тона.

Красота... За нежные цветы  
Думаешь над бездной уцепиться.

(Пасторали, с. 5)

И что же, нежные цветы держат! Красота не раз выручала поэта-изгнанника, снимая приступы ностальгии и отчаянья. В стихах Игоря Чиннова много красивых вещей. Он умеет наслаждаться гармонией амфоры, полихромией мозаики, орнаментом ковра. Эпитеты и метафоры поэта со стереоскопической достоверностью передают вещную красоту мира. В мастерстве изобразительности он не знает себе равных. И вот что замечательно: с одинаковым блеском поэт воссоздает разные образы красоты, - вся Ойкумена проходит перед нами в своих эстетически значимых свершениях.

Восхитись узорчатой Альгамброй!  
Крашенные золотом и умброй,  
Сложны потоки, как теоремы...

(Пасторали, с. 41)

Это мавританский мир. А вот Византия:

Огромная лазурь Айя-Софии!  
В зеленовато-золотой громаде,  
В том бирюзовом озере, в том чуде  
Клубились мощно светы неземные  
Апофеозом: полдень в Цареграде!

(Автограф, с. 56)

Эстетизм Игоря Чиннова находит отражение в форме его стихов. Оригинальность строфики, новизна интонаций, богатство ритмов и рифм: здесь у поэта много достижений, которые представляют обширное поле для стиховедческих изысканий. Стих Чиннова одновременно и живописен, и пластичен, и музыкален. Вместе с тем он несет большую философскую нагрузку. Это праздник и для чувств, и для мыслей, - муза поэта целокупно берет нас в свой плен.

Пройдя через мир Игоря Чиннова, пульсирующий светом и тенью, чувствуешь себя раскрепощенным и обогащенным, - редкостный эффект катарсиса тут несомненен.

Но я хочу - пойми! - на память взять с собой,  
На память взять в страну забвенья  
Хотя б дубовый лист с отчетливой резьбой -  
И уберечь его от тленья.

(Партитура, с. 28)

Пронзительный лиризм этих строк обладает духоподъемной тягой. Надо подчеркнуть, что поэт сохранил качество, без которого обходятся многие его коллеги: это лирическая непосредственность. Есть в его стихах драгоценные крупинки детскости, которые, не растворяясь во времени, помогают всегда сохранять свежесть впечатлений.

Поэт унес в мир из России только память ранних лет. Все остальное сгорело, пропало. Да, была компенсация - прекрасная и щедрая, хотя неизбежно частичная: возможность свободно странствовать по свободному миру.

Но то, что сердце заставляет биться,  
Напоминает отчий дом:  
Места, где клен в сияньи золотится  
На сельском кладбище пустом.

(Пасторали, с. 44)

Взятое у родины Игорь Чиннов ныне возвращает сторицей своими стихами. Спасибо ему за великодушные и способность прощать. Спасибо за чудо его таланта.

**Вадим САПОВ**

## **За строкой приговора** *(Документальная хроника)*

*Посвящается матерям  
и допризывникам*

1

*"Трое наскочат – первого  
заколи, второго застрели,  
третьему штыком карачун".*

*А. В. Суворов.*

*"Наука побеждать"*

...Где-то, на какой-то широте-долготе нашей бесконечной родины затерялся небольшой участок огороженной земли, именуемый в/ч 26694. Нам неизвестно точное месторасположение этой части: может быть, она находится в Сибири, может быть, - в Средней Азии или на Урале, а возможно, что и совсем рядом, электричкой доехать, - где-нибудь под Москвой.

Неизвестно также и то, к какому роду войск относится эта часть, хотя предположительно можно отнести ее к морской авиации. Впрочем, для истории, которую мы собираемся рассказать, это не имеет принципиального значения.

Нам важно другое: важен тот факт, что здесь, на территории вышеупомянутой в/ч, в зловещей темноте подвала дома № 15 в ночь с 13-го на 14-е мая 1974 года был зверски замучен и убит старший матрос Зайцев. Матроса Зайцева убили его сослуживцы, товарищи по оружию, как

принято их называть, но лучше признаться сразу: с трудом поднимается рука, чтобы писать о них как о людях. Вообще обстоятельства этого дела таковы, что трудно, разбирая их, не сорваться на крик, не потерять выдержки и хладнокровия. А посему - да простит меня великодушный читатель, если встретит на этих страницах больше возмущенных восклицаний, чем ему хотелось бы.

Сейчас перед нами возникнут главные персонажи этой истории, а затем - один за другим - появятся еще несколько десятков других, уже второстепенных и третьестепенных. О них можно было бы и не упоминать, если бы не одно обстоятельство: каждый из них в любой момент мог предотвратить то, что произошло, но, увы, - всё было как было. Нам еще предстоит убедиться в истине, ставшей в наше время банальной, но не переставшей от этого быть истиной: все преступления в мире совершаются не только по той причине, что одни люди наделены злой волей, но и потому, что мы, коль уж мы не злодеи, не обладаем вообще никакой волей - ни доброй, ни злой. Мы чаще всего рассуждаем так: чем мы можем помочь? да и нужно ли помогать? А может, тот, кто бьет, не просто так бьет, не без причины, за дело бьет? Мы чаще всего остаемся в неведении о том, что произошло после-того, как мы прошли мимо, и поэтому спим спокойно. И самое обидное то, что от нас чаще всего и не требуется каких-то необыкновенных, героических - упаси Бог! - усилий, а только: закричать, только: позвать на помощь, только: позвонить по телефону в милицию, только: свет зажечь в окне, чтобы тот, кого бьют или убивают, хотя бы увидел, что не один он в мире остался лицом к лицу со злом и во тьме, - так нет же!

...И не только в этой, но и еще во многих других, тоже банальных истинах нам предстоит убедиться, но для этого надо несколько передвинуть сроки, узнать и понять, что было до этой трагической лунной ночи с 13 на 14 мая, как все это назревало и готовилось.

Было же вот что (читаем приговор трибунала):



*"В апреле-мае 1974 года Гаврилов на почве неправильных взаимоотношений с матросами более поздних сроков призыва неоднократно требовал от Зайцева, чтобы тот перед увольнением в запас Гаврилова отдал ему свои новые форменные брюки"*<sup>\*</sup>.

Тому, кто не знает, что такое армия, или знает плохо - понаслышке, из книг да из кинофильмов, - эта фраза, несмотря на внешнюю ее вразумительность, говорит очень мало. Как это понять: "требовал"? Зачем требовал? На каком таком основании? Что это за "неправильные взаимоотношения", о которых здесь говорится? Наконец, кто такие матросы "более поздних сроков призыва"?

Прежде чем ответить на эти вопросы, приведем еще один документальный факт:

*"На предварительном следствии свидетели Сынчугов, Кро-тов, Мелуев, Платилин и подсудимый Амакин показали, что они слышали, как в апреле-мае 1974 года Гаврилов неоднократно требовал у Зайцева его новые форменные брюки, но тот отказывался их отдавать. Это обстоятельство не отрицает и подсудимый Гаврилов, который пояснил, что он действительно требовал у Зайцева его новые форменные брюки и примерно 10-го мая вместе с Ерлексовым ударил Зайцева по одному разу за то, что он брюк ему не отдавал"*.

Кажется, теперь прояснилось: как именно требовал и что собой представляют эти "неправильные взаимоотношения". Судя по всему, Зайцев не только не давал никакого отпора своим обидчикам, но даже не защищался. И совершенно очевидно, что Гаврилов не в буквальном смысле требовал у Зайцева брюки ("форменные", т. е. парадные брюки не каждый день носят, а обычно висят в каптерке, откуда Гаврилов мог взять их и без Зайцева), а чтобы тот молчал, когда брюки у него заберут.

---

<sup>\*</sup> Здесь и далее приводится подлинный текст приговора трибунала в/ч 55422. За исключением незначительной стилистической правки (в оригинале встречались сентенции вроде следующей: "В результате избиения Зайцева, последний потерял сознание"), текст приговора оставлен без изменений. Все имена и фамилии, названные в этой хронике, - настоящие.

Еще не оставим без внимания, что в приговоре о "матросах" говорится во множественном числе - а это значит, что они не одного Зайцева вот этак "с Ерлексовым ... по одному разу" в мае месяце после дня Победы (а правда ли, что - после? еще подумаем), но и других - тоже: кого - накануне Нового года, а кого и в день славных Вооруженных Сил. Словом, кого - когда.

И все-таки непонятно! Уж очень мы привыкли представлять нашу Советскую Армию сплошь в розовых тонах: командиры - как отцы родные, бойцы между собой - словно братья единокровные, все комсомольцы, значкисты ГТО, отличники БПП.

А это что же такое, товарищи? Наши доблестные защитники родины бьют своего собрата по оружию, и не из-за каких-то идейных соображений, вовсе нет! - а из-за вполне материальных форменных брюк.

Поскольку не нами это придумано, а написано и подписано, как говорится, товарищами ответственными, то и спорить здесь не о чем. Но опять возникают недоуменные вопросы: почему же матрос Зайцев не сопротивлялся? почему не жаловался начальству? а само начальство - неужели ничего не знало - не ведало? и почему товарищи Зайцева не вступились за него?

Чтобы ответить на все эти и подобные вопросы, надо нам от темы нашего повествования удалиться еще дальше.

Едва ли найдется у нас в стране человек, который не слышал бы о таких вещах, как "дисциплинарный батальон" и "военный трибунал". Смутно доходят до нас глухие слухи о том, будто бы трибуналам работы хватает круглосуточно и дисбаты недостатка в личном составе не испытывают, но кого там судят, за что и как, и кто там служит - это нам неизвестно, не пишут в "Литературной газете". Люди, прошедшие это чистилище\*, растворяются в стра-

---

\* Случайно разговорились мы как-то в поезде с одним парнем, прошедшим через дисбат. Только я от него и узнал, что он пробыл там два года, а рассказать хоть что-нибудь - наотрез отказался. Единственное, что я услышал от него, это что "лучше 8 лет тюрьмы, чем 2 года дисбата".

не бесследно, словно их нет и не было. Да что там дисбат! Мы и об армии ничего толком не знаем. Приученные за долгие глухонемые годы замечать только то, что дозволено, злодеяния и преступления мы спешим списать в графу "частных неустройств"\*.

Стоит ли даже упоминать о такой мелочи, что в армии среди солдат срочной службы сложилась целая иерархия, своего рода система каст, а мы и не заметили? Больше того - и не хотим мы даже ни знать, ни замечать.

Нам сейчас предстоит поближе познакомиться с этой системой: без этого знакомства ничего в нашей хронике нельзя ни понять, ни объяснить. Заметим сразу же, что эта неявная иерархия существует независимо от официальной, а зачастую - довлеет над ней. Заключается она в следующем: все солдаты и сержанты срочной службы, в зависимости от сроков призыва, делятся на четыре касты - салаги, шнурков (или фазанов), черпаков и стариков.

Салага - только начинает служить, часто за плечами его всего лишь школа да карантин, иной салага и бриться-то начинает в армии. Шнурки - отслужили по полгода (и, как шутят в армии, еще не разучились "гладить шнурки"), черпаки "отбарабанили" год (их еще называют кое-где "зима-лето"), им старики доверяют разливать суп и чай в столовой, но масло и мясо делят сами. Старики говорят о себе так: "мы службу поняли". Понять службу (часто старики говорят с понтом: "пóнять") действительно очень сложно, и мы сейчас постараемся показать, что это значит.

---

\* Писатель Шолохов на XXII съезде КПСС сказал по этому поводу следующее: "Допустим, я пишу о нашем солдате, о человеке бесконечно родном мне и близком. Как же я напишу о нем худо?! Он мой, весь мой, от пилотки до портянок, и я стараюсь не замечать, допустим, рябинок на его лице или некоторых изъянов в его характере". Съезд встретил эти слова Шолохова "бурными аплодисментами" (XXII съезд КПСС. Стенографический отчет. М., 1962, т. II, с. 170).

Житейское и служебное кредо старика заключается в нескольких незамысловатых принципах. Во-первых, если тебе дали приказ, не спеши его выполнять. Выполняй только тогда, когда совсем уже некуда деться, но и выполняя его, - не спеши, работай с перекурами, со скрипом: совсем, дескать, здоровья нет; работа не медведь; мало молодежи, что ли? отпахал я свое, ох, отпахал! старость - не радость... Выполнив приказ, не спеши докладывать, спросят - тогда доложишь, а скорее всего о тебе просто забудут. Дали работу на час - делай ее весь день, дали на день - делай месяц.

Во-вторых, если на чем-нибудь погорел и попался, никогда не оправдывайся; раскаивайся и всё признавай. Знай и помни, что тебя ругают не за нарушение, а за то, что попался.

В-третьих, никогда и ничего не прощай молодым. Ты - старик, и один твой вид уже должен внушать им страх и трепет.

Вот это всё и означает приблизительно "понять службу".

Это нелегко дается и не сразу приходит. Салага сначала все принимает за чистую монету, всерьез, по уставу. Не сразу ведь разберешься, что и в армии такой же бардак, как и везде у нас. На первом году службы иной молодой так забегается, что времени не хватает письма домой написать, воротничок пришивает в личное время, сапоги чистить встает по ночам!

И только на втором году начинает он понимать службу, не понял еще, а только *начинает* понимать. Окончательно он поймет службу, когда сам станет стариком.

Тогда он получит массу привилегий: не выходить на утреннюю зарядку, не убирать территорию, не ходить в строю, не становиться на утреннюю и вечернюю поверку, - всё это, разумеется, при отсутствии офицеров и старшины, а иногда и при старшине, а кое-где - и при офицерах. Сержанты же не-старика старикам - не указ.

Кроме перечисленных, старики получают массу мелких привилегий. В столовой старик первым берет мясо из

миски (черпак в это время разливает первое), выбирая лучшие куски, конечно; а за завтраком делит масло и сахар (разумеется, чтобы себя не обидеть). Старики никогда не садятся за один стол (некого будет обделять), а равномерно рассредоточиваются по всем столам подразделения. В казарме старик спит на койке нижнего яруса, по возможности у окна или у батареи (это уж на чей вкус).

Если на матчасть возят на тягаче, старики садятся на правый борт. И хорошо еще, если предупреждают: "Правый борт салажане не занимать!" А то просто вышвыривают забывшегося молодого, как кулек с дерьмом.

Из всех существующих суточных нарядов старики "уважают" только караул, но и здесь норовят быть выводными или часовыми у караульного помещения. На худой конец можно пойти посыльным по штабу или дневальным по КПП. "Не уважают" старики наряд по кухне и по подразделению. Если же и случится старику попасть на кухню (в виде наказания), то он ни за что не пойдет рабочим по залу или в посудомойку, а устроится непременно или в раздаточный, или на хлеборезке, а там - не перетрудишься. Ну, и само собой, - старики никогда не чистят картошку.

Кажется, мы ничего не упустили. Вот теперь, читатель, представьте себе, что вы - "салага", и постарайтесь припомнить все ваши обязанности (это помимо уставных): ведь то, что для старика привилегии, вам - обязанность.

Вы проголодались, вы жадным глазом выбрали в миске желанный кусок и по забывчивости схватились за него... О, ваше счастье, если вы услышите только: "Куда лезешь, салабон, мать твою трам-та-ра-рам!". А то ведь и просто звезданут черпаком по лбу, не спрося фамилии. И вместо желанного кусочка к вам в последнюю очередь придет почти пустая миска с недоеденным супом.

Считайте, что вам повезло, если за завтраком вы получили 15 граммов масла, это еще много; на ближайшие полгода-год, а то и все полтора, ваша норма - 10 граммов. Про сладкий чай тоже забудьте и утешайтесь лучше тем,

что большое количество сахара вредно для организма. И вообще, первый год вы будете постоянно голодны, вы будете хотеть есть и во время зарядки, и после завтрака, и после обеда, и во сне. Но зато - какая ясность мысли! как думается на голодный желудок! Впрочем, днем вам думать некогда, и вообще голова солдату дана не для того, чтобы думать, - это вам полезно запомнить и усвоить. Но ночью-то, после отбоя? После отбоя - да, пожалуйста, думайте сколько угодно, думайте о том, что первично: материя или дух? (вам в самый раз об этом думать), вспоминайте стихи Блока и Гумилева, если только...

Если только не ваша очередь сегодня изображать дембельский календарь. Тогда вы должны будете поставить табуретку на стол (если стола нет, вы должны будете из трех табуреток соорудить помост для четвертой), взобраться на нее и прокричать:

- Старики! День - прошел!!

Старики хором ответят:

- Ну и ... с ним!!

Вы опять:

- До дембеля осталось столько-то дней!

Старики:

- Ура-а-а!!!

Вы:

- Ку-кар-р-ре-ку-у-у!!!

Или:

- Гав-гав-га-а-в!!!

И - с чувством, натурально, а не абы-как. Один интеллигентный человек задал мне вопрос: я всё понимаю, но зачем кукарекать-то? Если вы решитесь спросить об этом у стариков и они в тот момент, когда вы подойдете к ним с этим вопросом, будут в хорошем настроении, то они, наверно, подведут вас к плакату (который обязательно висит где-нибудь в вашей части) и заставят его прочесть. И вы прочтете: "Свято беречь и соблюдать боевые традиции доблестных вооруженных сил...". Теперь-то уж всё понятно? Традиция такая - кукарекать (от Суворова еще, помните?).

Только смотрите не ошибитесь, когда будете изображать календарь, не скажите, что до дембеля осталось 35 дней, если их осталось 34. Это дело вам не простят, за это и реактивный тапочек\* можно схлопотать. Вы еще не знаете, что это такое? Сейчас узнаете, это штука несложная: берется тапочек, мочится в воде, с вас спускаются подштанники, кладут вас на койку или на пол, двое садятся вам на руки, двое на ноги, пятый - бьет. Оч-чень чувствительная вещь! Сколько раз бьют? А вот сосчитайте-ка: помножьте число дней, на которое вы ошиблись, на количество стариков в вашей казарме (вы же каждого из них обидели), только учтите: если бить будут по-настоящему, то примерно после тридцатого удара ягодицы ваши распухнут и завтра вы не застегнете брюк. Как на зарядку выйдете? Как встанете на утреннюю поверку? Так что лучше - не ошибайтесь.

Вот теперь, после всего этого, можете идти спать или думать - как хотите. Вы направляетесь к койке... Но - стоп! Назад! Андрея Антоныча забыли протереть (с 1976 - Дмитрия Федорыча)\*\*, он же приказ сочиняет, думает, ночей не спит! (Приказ о демобилизации - а давайте говорить просто, как принято в армии: "дембель" или "ДМБ" - издается министром обороны 15 апреля и 15 октября. Это вам знать тоже необходимо. Правда, это одновременно и приказ о мобилизации, но в этом качестве его никто не ждет, а как приказ о ДМБ его ждут все "старика" Советского Союза и за 100, а то и за 150 дней начинают вести

---

\* Этот тапочек в разных частях называется по-разному. Танкисты, например, называют его ласково - "танкетка". А еще есть части, где молодым отбивают так называемый "чулым". Испытавшие его на себе говорят, что тоже очень сильное средство. Но я со всей ответственностью заявляю: паршивый этот чулым нашему тапочку не годится и в подметки!

\*\* Андрей Антоныч - Министр Обороны СССР А. А. Гречко (до 1976 года). Дмитрий Федорыч - МО СССР с 1976 г. Д. Ф. Устинов.

регулярный отсчет. Вот тогда и появляется знакомый уже нам "дембельский календарь").

Протирать Андрея Антоныча надо тщательно, на совесть, сперва мокренькой, а потом сухенькой. А вы думали - тяп-ляп? Я однажды тоже так подумал. Мой сержант-старик пришел в казарму с гульбища после отбоя и глазам своим не поверил - Андрей Антоныч в пыли!

- Ну-ка, ты!! - мигом!!

Я кубарем скатился с койки и за неимением лучшего орудия труда портрет дорогого нам всем человека протер... портянкой. И получил три наряда на кухню. За неуважение к МО. И понял: МО надо любить и уважать.

Но бывают же и у молодых свои тихие маленькие радости? О да, конечно! Представьте: зимним утром после подъема вас не гонят на зарядку, а оставляют уборщиком по кубрику. Вы ликуете, на крыльях радости вы летите в сортир и достаете там веник, швабру - всё, что вам необходимо.

Только будьте осторожны - старики-то еще спят, они едва-едва поднимутся к утренней поверке, а то проспят и до самого завтрака, и вам надо произвести уборку так, чтобы никого из них не разбудить, не громыхнуть, не задеть.

Вы привыкли дома без зазрения совести передвигать кресла, шкафы, столы, диваны так, что слышно было на весь дом. Здесь, к счастью, нет ни шкафов, ни кресел, но зато здесь тесные ряды коек, тумбочки, табуретки в проходах. Первым делом вы вставляете табуретки в спинки коек. Вы, естественно, торопитесь - у вас минут 30-40, не более. Вот, кажется, и последняя табуретка. Вы беретесь за веник...

Но что это? О, ужас! Вы слишком торопились, и вот на пол летит одна табуретка, вторая... Грохот такой, что кажется - палят из пушки. Вот уже и недовольный голос:

- Какого ... расшумелся, салабон?! Мать-твою-перемать!!

Куда-то испаряется весь ваш энтузиазм, вы теперь предельно осторожны, передвигаетесь на цыпочках. Вы начинаете подметать, взметается пыль, и вся она оседает на стариков. Но, кажется, подмели вы удачно. Вы берете



швабру, тихо мочите тряпку, тихо выжимаете. Это уж, кажется, совсем бесшумная работа. Но вы опять увлеклись: словно пулемет строчит, когда вы задеваете шваброй по батарее. Судите сами, доколе можно терпеть все эти ваши безобразия? Вот то-то. Старики разом вскакивают, - сейчас вас поставят "на уши". Делается это очень просто: дюжина рук подхватит вас, перевернет, поставит на голову, а потом все разом отбегут. Если вы спортсмен, гимнаст, вы, конечно, сумеете сгруппироваться, сориентироваться и приземлитесь мягко. Ну, а если нет, то уж не обессудьте, сударь, - как Бог даст.

А могут и просто выгнать вас из кубрика. Вы пойдете в умывальник, сиротливо умоетесь, а когда все вернутся с зарядки и уборки территории, вы помчитесь в кубрик и за 10 минут постараетесь сделать то, что не сумели за полчаса. Маловероятно, что вы успеете, но допустим, - вы такой ловкий. Все равно, ни воротничка подшить, ни сапоги почистить вы не успеете, так и станете в строй. И получите от старшины 3 наряда - "за внешний вид". И это - в лучшем случае. А в худшем - вы и кубрик убрать не успеете, и вот вы уже назначены уборщиком на всю неделю, и всю неделю вашей работой, конечно, не довольны - ни старшина, ни старики. Вы попали между молотом и наковальней. Старшине жаловаться на стариков, что это они мешают вам убирать как следует, - на это вы, естественно, не решитесь. А старикам жаловаться на старшину - глупо и бесполезно, они и сами всё прекрасно видят и понимают, только им нравится эта невинная игра, ваши утренние страдания заменяют им передачу "Опять двадцать пять"\*.

---

\* Не могу все-таки удержаться от примечания. Кто ее помнит, эту передачу "Опять 25"? Мы всё забываем и всё вспоминаем по команде. А было время и ее очень любили, эту утреннюю юмористическую передачу. Ее отменили после 25 съезда. А немного спустя закрыли "Кабачок 13 стульев" - после того как в Польше начались - эти, как их там? - "временные перерывы в работе". Что ни говорите, а веселое было времечко, хоть и застой!

третий: кубрик грязный, убираете вы плохо, - скажет: "Не доходит через голову - дойдет через ноги". И вот, в ближайшее воскресенье все - в увольнение, а вы - на кухню, или зализывать кубрик, или какой-нибудь проштрафившийся сержант будет проводить с вами индивидуальную строевую подготовку. С оружием и полной выкладкой. Немного, часика три.

Вы убиты горем, вы подавлены, жизнь кажется вам злой мачехой, ваши два года - неохватной бесконечностью, сутки растягиваются в месяца. Вы нигде, ни на одну минуту, не можете остаться в одиночестве, чтобы сосредоточиться, подумать, успокоить смятенный разум. Вы нигде не обрываете покоя, ваши нервы натянуты, как струны, до предела, еще одно усилие - и они лопнут.

...Скажут, пожалуй: это все нюни, маменькины сынки, правильно делают, что вышибают этот телячий дух. Мужик должен быть мужик. Может, оно и так, да только хотелось бы, чтобы как-то помягче вышибали дух-то...

Но должны же быть у человека свои праздники, говорил Ницше. Должны. - Вот и вам привалило. В один прекрасный день вы получаете квиток с почты: вам посылка из дома! После обеда, сияя от счастья, вы идете на почту, вы держите эту посылку, как дитя, нежно прижимая ее к груди. Что там? Конечно же, то, что вы больше всего любите, вернее, что любили в той, прежней жизни. Но для матери вы всё еще ребенок: там и конфеты, и вафли, и сгущенные сливки, и колбаса, и халва... Вы курите? И это не забыто: там десять пачек "Явы" или "Столичных". А то и двадцать. Вы - богач, вы самый богатый и самый счастливый человек на земле. Правда, посылку надо проверить, об этом вас уже предупредил сержант. Конечно же, не хотелось бы, конечно же, вы уверены, что ваша мама не пришлет вам ничего запретного, в смысле спиртного. Но - порядок есть порядок.

Танцующей походкой вы входите в каптерку, и тут ваше счастье заметно тускнеет. Вы даже растеряны немного от такого количества жадных, алчущих глаз, устрем-

ленных не на вас - нет! - и не на посылку даже, а сквозь нее: что там? Такими глазами первобытный дикарь стремился постичь тайны мироздания. Кажется, своими взглядами они пробуравят вашу посылку насквозь, как дюжиной штопоров.

- Ну-ка, ну-ка, - говорит сержант, - надо проверить.

Он берет посылку из ваших рук и несет к столу. За ним смыкается кольцо изголодавшихся людей, они, как черная туча, нависли над вашим сокровищем, они замерли, слышно только их жадное, азартное дыхание. Вы - где-то там, на задних рядах, прыгаете на одной ноге, пытаетесь тоже что-нибудь разглядеть. Напрасный труд! Уж лучше стойте спокойно и ждите, когда сержант отгонит их от стола, так, чтобы и вам было видно, и спросит:

- Стариков угощаешь?

Вас на секунду ослепит луч сладостной надежды, дрогнувшим голосом, спохватившись, вы скажете:

- Конечно, угощайтесь, ребята!

И "ребята" угостятся всласть. Каждый из них отрежет по такому куску колбасы, что у вас закружится голова. Каждый возьмет по пачке сигарет (если останется - и вам дадут пачку)... каждый запустит свою лапу в пакет с конфетами. И вы уж не обижайтесь, если ничего там не останется. Может быть, сержант еще спросит:

- А тебе-то досталось?

А когда вы отрицательно замотаете головой (дара речи вы, конечно, лишитесь) - даст вам штучки две.

Сгущенку вам не отдадут: где хранить? в тумбочке? - не положено.

- Вот у него будет храниться, - скажет сержант и передаст банку каптеру. Вы ее больше не увидите. Ящик от посылки тоже достанется каптеру. Вам он - зачем? А в хозчасти пригодится.

Вы завернете в газету или рассуете по карманам эти жалкие остатки: кусочек колбасы, крошки халвы, две конфеты, яблоко, пачку сигарет, и побредете на матчасть. Там вы тоже угостите своих друзей-однопризывников, и к вечеру у вас ничего не останется. Но зато уж постарайтесь

написать домой веселое бравое письмо. Вы же не захотите огорчить мать, не напишете, что всю ее посылку порасхватали шакалы-старики, но уж тогда и тоном своим не выдавайте себя. Да, но вам хочется намекнуть, чтобы посылок она больше не присылала. И вот вы пишете: "Дорогая мама! Не траться. Здесь чудесно кормят, здесь всего хватает, здесь так хорошо!".

И пусть вас одного жжет обида и давят волны поднимающейся ненависти: не перекладывайте этот тяжкий груз на слабые женские плечи. К тому же (здесь начинает выворачиваться ваша логика), вы сами во всем виноваты - да, да!

Ваш друг - вот он оказался смышленей. Он быстро сообразил, что гораздо легче всё отдать самому, добровольно. Ведь все равно отнимут, так уж лучше самому отдать: избавишься, по крайней мере, от унижительного чувства ограбленности и беззащитности. Не можешь сопротивляться - покорись, стань на ИХ точку зрения, прими ИХ логику, пойми ИХ правоту. Потому что они СИЛЬНЕЕ.

Ваш друг так и поступил. Он, едва войдя в каптерку, радостно закричал: "Угощаю, старики!" И все его хвалили, хлопали по плечу, говорили: "Если тронет кто - скажи ему", и показали на здорового бугая. А бугай улыбался, насыщая свое бездонное чрево...

А в вашу сторону - эх, растяпа! - старики смотрели хмуро и неодобрительно.

...Не удался нам праздник, читатель, - но стоит ли унывать? Сколько светлого и прекрасного есть в жизни, хватит еще на наш век. А сказать вам по правде, так во всей этой мерзости есть и положительная сторона: если вы умеете извлекать урок из каждого поворота судьбы, то весьма скоро вам предстоит убедиться: нет на свете пут тяжелее, чем путы собственности. Бросьте без сожаления весь ваш житейский скарб и будьте как птицы небесные!..

Хочется мне все-таки хоть чем-нибудь порадовать вас, чтобы не превратился я в ваших глазах в угрюмого зло-

пыхателя, созерцающего мир через черные очки. Представьте, читатель, что вы - в увольнении! Ну, да-да, не удивляйтесь, не вечно же вам торчать за бетонной оградой, армия ведь не тюрьма, в нее не "забирают", а - "призывают". Разница?

Вы назубок выучили слова строевой песни, вы, как "Отче наш", знаете обязанности солдата, присягу, правила поведения военнослужащего в увольнении. Кроме того, вы четко знаете документы и постановления последнего пленума, свободно ориентируетесь в международной обстановке и без запинки перечисляете все страны, входящие в НАТО, СЕАТО, СЕНТО, АНТЮЗ и - куда там еще?

С внешней стороны вы тоже безукоризненны: всё на вас отутюжено, надраено, начищено, всё сияет чистотой и свежестью. Боже мой, что же это?! Придя в каптерку, вы ничего не находите из своих вещей, исчезло всё: и брюки, и китель, и форменная рубашка. Конечно, сработал кто-то из стариков, и пойдите теперь - разбирайся! Лучше выбирайте что-нибудь подходящее из того хлама, что еще остался на вешалках, а то и этого не будет.

Конечно, вы теперь не так уж красивы, не так радостно у вас на душе, как было полчаса назад, вы еще долго не можете прийти в себя от очередного унижения вашего человеческого достоинства, от угнетающего сознания собственного бессилия...

Теперь уже не радует вас свобода, вовсе не в том счастье, чтобы уйти на время за пределы каменного забора. Никогда бы туда не возвращаться - вот это другое дело! И сколько же таких искушений ждет вас! Убежать, опоздать, напиться, влюбиться, - а вам всего этого надо бояться, надо избегать, потому что кроме стыда и раскаяния ничего вы не получите в конце концов.

Так что искренний мой совет вам: не ходите в увольнения вообще! И еще: если нет у вас, кроме карманов и тумбочки, надежного тайника - не ведите интимного дневника и не храните получаемых вами писем. Всё, что для вас свято, для них лишний повод к унижительной насмешке.

Если же наказал вас Господь творческим огнем - ищите тайник, прячьте все свои опусы так, чтобы их ни одна душа не нашла.

...За всей этой сутолокой и суетой вы совсем забыли, что время-то идет! Эй, сколько там осталось до приказа? - Четыре дня! То-то и старики засуетились: закупают водку, закуску, устраивают тайники, глаза блестят.

И вот - 15 апреля! Не вздумайте в этот день прикоснуться к газетам - оторвут руки и ноги. Приказ - их! Газеты - их! А вам до приказа сколько еще служить? Верно, - "как медному котелку".

В эту ночь старики не лягут спать. Вы - спите, если хотите, вернее, если можете, потому обмыывать приказ они будут здесь, в казарме (и благоразумное начальство постарается не докучать им своим присутствием, - еще одна славная "традиция"), будут горланить песни и материться над, вернее - "под" вашим ухом.

Вы можете по наивности своей подумать, что теперь вам осталось немного терпеть, что самое трудное уже позади, что скоро, через месяц-полтора, все эти старики уйдут на дембель, и вы немножко вздохнете. И вы опять ошиблись: пока их демобилизуют, у вас глаза на лоб вылезут, и хорошо еще, если не лопнут. Если раньше день вам казался равным неделе, то теперь он покажется месяцем.

Теперь, после приказа, старики "положат ..." на службу, теперь для них начальства нет, теперь - никаких нарядов, теперь что ни день - пьянка, что ни ночь - самоволка. Теперь, вскакивая по подъему, будьте осмотрительны, иначе можете вляпаться в блевотину. Кстати, вам же эту блевотину и убирать. Но и спите в полглаза, а то раздуются ночью да и помочатся вам, спящему, в лицо. Всё может быть!

И что самое страшное для вас - к вам теперь постоянно будут приставать: отдай парадные брюки, отдай китель, фуражку, ремень... Отдай! Нам на дембель, а тебе - на что?! Ну, посудите сами, не ехать же им домой в этой хламиде: у вас-то всё новенькое, полугодовое, а у них - четы-

рехлетней давности. Нет, нет, я не оговорился: именно - четырехлетней. Ведь у них, когда они сами были молодые, тоже все отняли старики, еще те, которые для вас - миф. Но вам жалко, с какой этой стати вы должны отдавать свое добро? По какому праву? По какому праву, спрашиваете? - По кулачному! "Отдай, падло, если жить хочешь! Лучшей сам отдай, а не то - ..."

Их - трое, четверо, десятеро, а вы - один. Со всех сторон на вас перекошенные лица, словно не они вас, а вы их собираетесь ограбить. Вы прижаты к стене, вам некуда бежать, некого звать на помощь. Да и хоть оборитесь вы - кто вам поможет? Ваши друзья-однопризывники? Они сами дрожат, как хвост овечий, их не трогают - им и слава Богу.

Отдай! Брюки или жизнь! Брюки или скулу на сторону?! Что вам теперь апории Зенона! Детская забава! Вы превращаетесь в сжатый до беспредельности комочек страха, вы ничего не можете сообразить, вы не способны ни к какому сопротивлению.

Но почему?

ПОЧЕМУ???

П О Ч Е М У ???!!!

Да потому, что - поздно, милостивый государь! Вы упустили самое главное и единственное преимущество, которое у вас было - время!

Ведь не вчера, не сегодня это началось, не сразу, не единым махом вас превратили в бессловесную скотину. Вспомните, как все это начиналось...

Вспомните, как впервые, с чемоданом, полным добра, вы вошли в эту каптерку, и как при вас же жрали вашу колбасу ваши будучи ПАЛАЧИ, как они тут же, при вас, делили ваши вещи, не положенные вам, видите ли, по уставу, как они "забили" ваш чемодан, сняли с вас кожаный ремень.

Вы возмущались? В вас каждая жилка дрожала от негодования? Вы были потрясены эти бесстыдным грабежом? Но вы - протестовали? Вы - сопротивлялись? Нет и нет! Вы

стояли с опущенной головой и молча взирали на происходящее! Вам было страшно? - Конечно! Но поймите - поймите! - вот этот самый миг, только он один, был мигом, когда вы еще могли - могли! - преодолеть свой страх и громко, во весь голос заявить о своем человеческом достоинстве. Но вы смолчали и, вместо того, чтобы раз и навсегда оттолкнуть от себя эту горькую чашу, сделали из нее один глоток, другой, третий... и вы уже не остановитесь, пока не осушите ее до дна.

И вы смолчите, когда какой-то шкет, болтыхнув вас с первого яруса ногами, пригрозит вам: "Эй ты! Салабон! Храпеть будешь - портянкой пасть заткну!" Вы смолчите и три дня спать не будете, боясь захрапеть.

А дальше - больше: вы смолчите в столовой, когда вам вместо 20 граммов масла дадут 10; вы смолчите, когда вас, как мешок с навозом, скинут с правого борта. Сказать ли, что вы смолчите и когда вас впервые поставят "на уши"? заставят кукарекать? отобьют "реактивный тапочек"?

А они - ваши ПАЛАЧИ, - поняв, что отпора вы им не дадите, будут наглеть с каждым днем, с каждым часом. Вы дали им зайти с тылу, теперь ждите, когда вам вскочут на хребет. Ведь это как камень, сорвавшийся с вершины горы: не остановится, пока не долетит до земли.

Пройдут годы, и с запоздалой вашей мудростью вы поймете, что во всех этих ситуациях вы должны были вести себя совсем не так, что они - ваши ПАЛАЧИ - были, в сущности, трусы и против силы духа - которой у вас не было - были бы бессильны их кулаки. Вы все это поймете - потом, спустя много лет. И сколько же раз вы будете краснеть: от стыда, от бессильной ярости, от того, что те ситуации никогда уже не повторятся, и что вы потеряли, может быть, единственную возможность быть смелым человеком.

...Ну, а теперь - отдавайте брюки.



А он - я имею в виду Зайцева - не отдал. И чего ему это стоило, читатель, надеюсь, теперь уже представляет вполне отчетливо. Мы не знаем, да и едва ли узнаем когда-нибудь, какие мотивы руководили им при этом, что именно побуждало его сопротивляться и упорствовать. Была ли это человеческая гордость и желание не уронить свое человеческое достоинство или же - жалко было отдавать хорошую вещь, СВОЮ вещь? Или даже страх: отдам, а как потом оправдаюсь?

Конечно, они его били, и били неоднократно, и врут они, что "около 10 мая ударили его по разу"\* , - не по разу, и не только 10 мая, но и после, и раньше. А он все терпел, надеялся: пусть бьют, собаки, все стерплю, а брюк - не отдам. Едва ли он понимал, что дело здесь не в брюках, речь идет о чем-то гораздо более важном, но только времени понять это у него уже не оставалось. Как бы там ни было, не нам - живым - судить его. На его месте точно так же, если не хуже, ведут себя сотни и тысячи его ровесников. А потому спроси каждый свою душу: что бы делал я, оказавшись на месте Зайцева? Только честно, наедине с собой - а потом уж суди.

А теперь читаем дальше:

*"12 мая 1974 года старшине подразделения прапорщику Сундареву стало известно от Зайцева, что Гаврилов взял у него брюки".*

Значит - не стерпел парень, значит - слишком уж стало неважно. Какова же была реакция старшины?

---

\* "Около 10 мая" - так сказано в приговоре. Думаю, не ошибемся, если уточним: 9-го мая, в День Победы. Понадобились новые брюки на традиционный парад, а пуще того - на праздничный вечер, перед девками пощеголять. Молодому-то зачем? Не дорос.

*"На следующий день Сундарев вместе с капитаном Бугаевым разбирались с Гавриловым по этому поводу. Однако Гаврилов заявил, что брюки у Зайцева не брал, и вместе с Сидоровым, Жмакиным и Ерлексовым вступил с Сундаревым в пререкания".*

А в качестве свидетеля на суде он, Сундарев, сказал чуть подробнее:

*"13 мая после политзанятий он вместе с капитаном Бугаевым разбирался с Гавриловым, поскольку ему стало известно от Зайцева, что Гаврилов взял у него брюки. Сундарев далее пояснил, что Гаврилов отрицал факт изъятия брюк у Зайцева и высказал в адрес Зайцева угрозы. Сидоров, Жмакин и Ерлексов поддерживали Гаврилова и стали с ним, Сундаревым, пререкаться".*

И мы теперь имеем перед глазами полную картину: вероятнее всего, "разбирательство", о котором свидетельствует Сундарев, происходило в классе для политзанятий тотчас по их окончании, т. е. утром перед завтраком.

На сцене в учивой позе склонились: четверо негодяев - Сидоров, Жмакин, Ерлексов и Гаврилов; старшина Сундарев и некий капитан Бугаев (первые трое позже выйдут, оставив Гаврилова со старшиной и капитаном). Позвольте, а это кто такой, собственно? - Скорее всего, замполит подразделения. Очевидно, старшина привлек его к разговору, не надеясь на свои силы. Этот Бугаев нам больше нигде не встретится, он всплыл перед нами, словно в тумане, и в следующее мгновение вновь в нем растворился. Но кто бы он ни был, мы знаем о нем - ВСЁ!

Он сейчас где-то благоденствует, поди, майор уже, командует, учит, воспитывает личный состав. Пользуется уважением сослуживцев. Только каждое его слово - ложь, каждая фраза - лицемерие и фарисейство.

Обратим внимание: четверо негодяев стали пререкаться со старшиной Сундаревым, и только с ним. А где же был в это время капитан Бугаев, почему не слышно его голоса? - Да он уже ушел... - Как ушел?! - Очень просто: есть и поважнее дела, товарищи дорогие, - радио послушать, газетку почитать. Может, где война началась или

наши кому ноту послали. Помилуйте, да ведь и завтрак в столовой стынет. Вот и побежал. Дело-то простое и ясное: ну, повздорили, брюк не поделили, всё это такая чушь, что и говорить как-то стыдно про это. Сами разберутся. Вышел - и на пороге столкнулся... Знаете, с кем? - Ну, конечно же: с Сидоровым, Ерлексовым и Коротышкой Жмакиным. Они-то всё это время стояли под дверью, подслушивали, болели за дружка. Вот так, мордой к морде, и столкнулись.

"Упустили мерзавцев, - думал про себя Бугаев, - не досмотрели в свое время! А теперь черта ли их воспитывать?! Молодых, молодых - вот кого сейчас надо держать во-о как!"

И побежал воспитывать молодых... в офицерскую столовую. И тоже упустил свой единственный звездный час, когда мог доказать, что он - человек. И что бы теперь он ни делал, что бы ни говорил, как бы ни хватался за голову, - кровавая печать легла на его совесть и не смыть ее ни потом, ни покаянными речами.

А как легко было сейчас, в самом начале, остановить страшные жернова. Но, увы, ушел наш brave кэп, и покати́лась дальше наша страшная история...

А дальше, едва захлопнулась за ним дверь, в нее ворвались нетерпеливо ждущие Сидоров, Ерлексов и Жмакин и тут-то они взяли старшину в оборот. Наверно, и рад был сбежать, да некуда. А главное, сам чувствовал, что неправ, что влез не в свое дело.

То есть как не в свое? - удивляется читатель. - Это старшина-то? Что за чушь? - Увы, не чушь. Надо знать, что такое старшина и с чем его едят, то есть, пардон, - что такое его дела, а что - не его (в скобках заметим всё же: едят старшину глазами, с хреном, с подбострастием, но об этом - после).

Для этого познакомимся с ним поближе. Официальные обязанности старшины легко узнает каждый, кто поинтересуется полистать Устав Внутренней Службы. В уставе образца 1960 года (еще был Малиновский) они - на страни-

це 80-83. Четыре страницы обязанностей! Больше всех! У командира роты всего три, у замполита - три, у заместителя командира роты по технической части - смешно сказать - полторы страницы! Совсем делать нечего. У солдата и то больше: почти две (стр. 88-90, ст. 134).

А коль уж зашла у нас речь об уставе, скажем и о нем два слова, не обойдем. Читатель, не оседлавший портянки, то есть, попросту говоря, не служивший в армии (а служба начинается именно с этого: надо научиться наматывать портянки - "оседлать" их, как говорят. Простое дело, а с месячишко походите с кровавыми мозолями), читая устав, немало подивится: всё так точно, так сжато, так разумно. Всё расписано по пунктам, никаких неясностей. Даже (стр. 22, ст. 43) предусмотрено, как отвечать начальству: утвердительно - "Так точно!", отрицательно - "Никак нет!". Так что и голову ломать не надо. И как "Ура" кричать, где и когда - тоже предусмотрено.

Но вот странно: всякий, кто служил в армии, знает, что кроме этих незамысловатых пунктов, никакие другие в точности не соблюдаются, да и эти-то - кое-как, по великим праздникам. Что же мешает уставу воплотиться в жизнь? - Да вот эта система, с которой мы уже отчасти знакомы (отчасти - потому что рассмотрели пока только два ее элемента, а их больше, и о них речь еще будет) и которую мы назовем - по главенствующему элементу - "система стариковства". На эту систему налетает устав и об нее, как о гранитный утес, разбивается в прах. И ничего не остается, кроме "Так точно", "Никак нет" и "Ура". Это остается, все прочее - распыляется.

- Но как же так? - думает, наверно, читатель. - Ведь есть же вполне приличные полки, отличные, гвардейские, образцовые, - ну, как там еще? В них-то этого нет?

- Есть! Нет такой дивизии, такого полка, такой роты, взвода, корабля, экипажа, где бы этого не было. Разница только в количестве, но отнюдь не в качестве. Подберутся неплохие ребята с одного призыва, смягчат систему на полгода, уйдут - и все опять по-старому, если не хуже. И так - всегда и везде.

Но мы отвлеклись от нашей темы. Речь была у нас о старшине. Посмотрим, какое место отведено ему в системе стариковства.

Только оговоримся сразу: старшины бывают разные - худые и длинные, короткие и толстые, с усами и без усов, русские и хохлы (правда, хохлов - больше, да и русские старшины как-то всё больше похожи на хохлов), те, которые любят материться, и те, которые матерятся редко да метко. Типичная фамилия старшины: Прихотько, Гриценко, Мостовой, Вреднов. Сундарев в эту компанию вписывается хорошо.

Обыденное сознание рисует старшину как воплощение упрямой тупости. Приписывают старшине такую обидную самохарактеристику: "Ежели старшина сказал, что трактора летают, то хоть один - да летает". Или вот такую анекдотическую фразочку: "Сегодня будем грузить ЛЯМЕНЬ".

Нам придется огорчить читателя: такое представление о старшине, мягко выражаясь, - неверно. Туп старшина только тогда, когда чувствует власть, а ее он чувствует только перед солдатами, у всех остальных он сам в подчинении. И согласитесь, зачем ему не быть тупым, зачем напрягать голову, если знает старшина, что самый надежный его аргумент - его власть?

Словом, старшина вовсе не туп и не глуп, а очень даже востр мозгами. Вся его деятельность требует большого интеллектуального напряжения и огромной практической изворотливости.

Вот вам пример. Допустим, решено (зачем? кем? - это все вопросы не для нас, наше дело - исполнять) увеличить площадь казармы на 50 квадратных метров. Для этого нужно сделать пристройку такой-то площади, а внутреннюю стену снести. Еще никто не знает, откуда возьмется кирпич, цемент, лопаты, кувалды, всё необходимое для такой работы, а старшина - знает.

Когда старшина не спеша идет по городу, вы не ошибитесь, не подумайте, что он просто так гуляет, отдыхает от дел и битв. Нет, в это время его глаз замечает реши-

тельно всё: там - брошена лопата, в ста шагах от нее - валяется гайка, в трубу запрятаны две пары рукавиц, чуть правее от трубы - кусок арматуры, в полукилометре от КПП на северо-восток стоит каток, по-видимому - "ничей". Поймите и то, как больно старшине смотреть на все эти многочисленные факты, доказывающие поразительную бесхозяйственность гражданского населения. Как человек, как гражданин, не может старшина пройти ни мимо брошенной гайки, ни мимо лопаты... Долго будет ходить мимо "бесхозного" катка... Ну, а сколько же можно ходить? День, два, от силы - три - больше нет мочи ходить, - и переключает каток в часть. Не верите? - Экскаваторы угоняли! Так ведь не корысти ради, не ради алчбы и личного обогащения, и вообще старшина не делит, как вы, на "твое" и "мое". Всё - "наше"!

Вот, например, получает старшина несколько десятков пар парадных сапог. Чудо, а не сапоги: так можно наваксить, что будешь, по выражению поэта, видеть в щиблети не рыло четвертого человека. Что прикажете делать с таким сокровищем? - Правильно, отдать! Вот и видно, какой вы неумелый, непрактичный человек. Ведь эти обормоты исковеркают, истопчут вещь в один момент. Так что - походят в старых, косячки подобьют - и походят. А новыми сапогами - сколько можно обуть гражданского населения? Почти задаром? Вот то-то.

Вы бы, дай вам только волю, и комбезы отдали солдатам, и бушлаты! Но через неделю - с чем останетесь сами? Ни с чем? - А у старшины должно быть всё! - от карманной атомной бомбы до птичьего молока. Такого старшину со всеми его запасами в 41-м бы году да в Брестскую крепость - месячишко еще продержались бы наши ребята.

Но кряжист, зажимист старшина, кулак-мужик, у него снега зимой не выпросишь, не то что шапки. - Зачем нам шапка? - Эх, друг-читатель! Пока мы с вами рассуждали - наши шапки-то - того, мягко выражаясь, увели. Беда! Зимой худо без шапки, пропадешь. - Но ничего, у старшины, это вам известно доподлинно, есть в каптерке десятков

запасных. Думаете - даст?! Ни за что! Лопнет, но не даст, будь их у него не десяток даже, а хоть миллион. Скажет: "У тебя шапку спи...ли, ты - сп...ди" (перевожу для малограмотных: укради - укради). Учитесь воровать, читатель, или так храните ваши вещи, чтобы никто не мог украсть. А то ведь дай вам новую шапку, ее у вас опять уведут. Так что прав старшина, - ох, как прав!

Да ведь и не о вас же одним болит у него душа, как-никак, а свое хозяйство есть у старшины - ну, там жена, дети... Их - надо кормить, обувать, одевать? А на какие шиши? Впрочем, это приbedняется старшина, деньги у него есть, и если он "соображает", то деньги немалые. Инженер на гражданке столько не заработает.

И все же нелегко это - быть старшиной. Чуть что не так - все шишки на старшину. Порядка в казарме нет - старшина виноват, солдат в самоволку ушел, пьяный из увольнения вернулся - а подать сюда старшину Тяпкина! И всё-то - старшина. Поневоле приходится искать помощников, надежных, верных парней. Положиться ли на молодых, на желторотиков этих, не знающих службы? Да с ними еще больше хлебнешь лиха!

Старики - вот единственный надежный оплот старшины, вот кого он любит и уважает. У него с ними безмолвный договор: держите роту в руках, не давайте распускаться молодым, - и делайте, что хотите, только начальству не попадайтесь. Никакому начальству, и мне в том числе. За это - черт с вами! - спите до завтрака, не ходите на зарядку, ну и все прочее такое, что оговорено в вашем п р и к а з е. Никому так не выгодна система стариковства, как старшине. С него она снимает 9/10 его обязанностей, он уже не только не нужен с нею в казарме, но буквально - нежелателен. С этой системой, если она хорошо отлажена, старшине и спокойно, и вольготно. Старики - малая часть личного состава подразделения; ходят они в самоволку - старшина знает, но знает он также и то, что старик не попадется в самоволке: и уйдет как надо, и придет вовремя. Водку пьют старики? Плевать. Зато ТОЛЬКО

старики, а лучше будет, если все начнут пить? И живут они душа в душу. Иногда и выпить старшину пригласят, не без того; и с домашним ремонтом помогут; и в бане спину потрут. - Обоюдная выгода!

И вот поэтому никогда, ни под каким предлогом не вмешивается старшина в отношения стариков с молодыми. Всё-то он, конечно, знает, что иной раз молодого и "припечатывают", но все это старики делают так, что старшина может и не знать. Вот он - и не знает.

...Живо вспомнился мне один эпизод из собственной службы. Было это на 1-е мая 1971 года, и в это время я, по общевойсковой терминологии, считался бы шнурком, а по авиационной, всё еще числился салагой. И был на всю эскадрилью только один мундир нового образца - у меня. Так собачились из-за него старики, что чуть до драк не доходило дело, а сам я уж и подходить к нему боялся. Но думал, на Первое-то Мая - мой будет? Не отнимут? Как же, размышлялся! Мой же сержант-старик и отнял. Всё - от ботинок до фуражки. Думаете, мне свой отдал? Вот еще! Он его отдал другому старику, тот свой - еще кому-то, и так дошел до меня не мундир, а горе сплошное. Вот так и представьте: мундир, при виде которого у всякого нормального человека слезы на глазах. А уж при виде фуражки вы рыдали бы навзрыд: без пружины, с расколотым козырьком, поля обвисли так, что уши закрывают.

И это еще полбеда, если бы досталась мне эта рвань сразу, а то ведь все уже в строю, а я бегаю по казарме без штанов, в чудо-фуражке и в стоптанных до безобразия сапогах. А мой сержант-грабитель на меня же еще и покрикивает.

Тут возник старшина и тоже на меня:

- Это что за явление без порток? Почему не в форме до сих пор?

И говорит моему сержанту (а на том - мой мундир, и все это знают, потому что больше такого ни у кого нет):

- Врежь этому ... на всю катушку!



Потемнело у меня в глазах, и усомнился я в ту минуту в существовании Бога: не разверзлась перед ними земля и не поглотила их. И когда проходили мы строевым шагом мимо трибун, на которых черной тучей громоздились заплывшие от жира местные князья, и по радио объявляли: "Мимо нас торжественным маршем проходят доблестные защитники родины!" - я скрипел зубами и с ослепляющей ненавистью клялся никогда и ничего этого не забыть!

А в довершение всех бед сел я в тот день на какой-то чугунок, густо покрытый сажей, - так и ходил до отбоя с черным, как у негра, задом...

А все оттого, что с самого начала моей службы не сложились у меня отношения со старшиной, и чем дальше, тем все больше ухудшались. Через год мы уже ненавидели друг друга и не скрывали своей ненависти.

Началось у нас всё с пустяка: мне прислали из дома маленький аккуратный перочинный ножичек. А было принято у нас: что понравилось старшине, то надо "подарить". Я на свой ножичек налюбоваться не мог, но на беду мою воспылал любовью и наш старшина. Два дня он как-то крепился, ждал, наверно, что сам я приду с подарком, но я все не шел, и он, наконец, не вытерпел; подошел и сказал просто: "Подари!". Спустя много лет мне стыдно признаться - пожадничал я, промямлил, что "не могу, подарок", "самому нужен позарез", словом - отказал.

Ножичек у меня все равно украли (догадываетесь - кто? догадываетесь - для кого?), но отношения были уже испорчены непоправимо.

А дальше - больше.

Наш старшина очень любил рассказывать историю, как однажды переспорил генерала и как, якобы, тот генерал пришел к нему извиняться и учиться военному делу. Послушал я эту историю раз, другой, третий, - но сколько же можно, в конце-то концов! А рассказывал он ее чаще всего на вечерней поверке, перед строем, сам сильно "под банкой". И без того стоишь усталый, и без того спать хочется, а тут стой и слушай - полчаса, час, полтора часа!!.. А

старики сзади (они всегда стоят сзади, у стены, так что незаметно могут прислониться, а то и вовсе уйти, молодые же - те всегда впереди) тычут прямо в спину:

- Как стоишь, зараза! Как слушаешь, салабон!

И вот интересно: всегда находились среди нас такие, которые слушали эту ахинею с разинутыми ртами, с умилением и восторгом на лице. А это старшине - пуще меда, его эти взгляды вдохновляли, подвиги сыпались за подвигами, и конца этому словоблудию не предвиделось.

Я в таких случаях всегда зло глядел на него, кашлял и чихал, вздыхал, смотрел на часы, и вовсе не скрывал, что рассказы его и он сам - противны мне до тошноты.

Всё это привело к тому, что, безукоризненно, в общем-то, неся службу, я вечно попадал в какие-то "черные списки", в наряды и выговора. За всю службу я не припомню случая, когда бы меня наказали за грязный подворотничок, за нечищенную бляху, за неглаженное х/б, тем более я ни разу не был замечен в пьянстве (зато всегда подозревался, и на праздники, например, меня старались обнюхать сразу и старшина, и замполит, и начальник штаба), ни разу не пойман в самоволке - а был худший из худших! Дважды отсидел на гауптвахте - за такие провинности, за которые другие не попадали и на кухню.

Правда, часто наказывали меня за сапоги и прическу. Обрастал я чрезвычайно быстро, а норма длины волос была такова: чтобы сзади не ухватить двумя пальцами, орудуя ими как клешней. Стричься приходилось чуть ли не каждую неделю - и всё-то были мной недовольны. Не вытерпел я однажды, остригся наголо, под бритву. "Ну, - ...па ...ва!" - говорил про меня старшина.

С сапогами было не лучше. Почему-то задники у меня всегда были нечищены. Бывало, смотрит на меня старшина с тоской: ну всё, всё в порядке у стервеца, и вдруг его осенит - задники!

Гаркнет, встрепенувшись:

- Кру-гом!!

И даже для приличия ни на кого не поглядит, а сразу - ко мне:

- Одна секунда - почистить сапоги!

А тоном каким! Честное слово, иногда становилось смешно, и я выдавал что-нибудь такое:

- Не могу, товарищ старшина!

- Как так? Почему?!

- Потому что за одну секунду, товарищ старшина, я даже доложить вам не успею, что не успел почистить сапоги за одну секунду.

Общий смех. Мне - три наряда: "больно умный".

Или попался я в другой раз. Секунду мне старшина уже не дает, а дает минуту. И напугтвует:

- Чисть сапоги до посинения!

Спрашиваю:

- Кто должен посинеть, товарищ старшина - я или сапоги?

Три наряда.

Или вот еще случай. В казарме нам строжайше запрещали курить, зимой и летом гнали на улицу. В сильные холода мы, нарушая закон, густо набивались в сортир, и случалось, что тут, в крошечном дыму, нас "накрывал" старшина соседней эскадрильи (мы размещались с ними в одной казарме). Это было его хобби: подкрасться, накрыть и "врезать". Мы выстраивались гуськом, и большинство послушно и обреченно подставляли свой зад. Следовал сокрушительный удар сапогом пониже спины, и на этом инцидент исчерпывался. Кто не желал - поднимал руку, это значит, что он хотел наказания по уставу. В том числе всегда оказывался и я.

Пинка я не получал, но шел докладывать своему старшине, что старшина Н. дал мне наряд вне очереди за курение в неподобающем месте.

- И от меня еще два получите! - радостно восклицал "мой" и спешил занести мою фамилию в список штрафников. Я не роптал, это была минимальная плата за гордость.

...Да, он бывал несправедлив ко мне. Не было для меня, по его милости, ни выходного, ни праздника, ни дня рождения. Кухня, сортир, свинарник - вот места, где я

преимущественно проводил свой культурный "досуг". Но зато и я был ему не подарок: уже одно мое существование на земле вчистую подрывало его авторитет. Если все смеются, когда рассказывает старшина, а один не смеется, да еще смотрит хмуро, с презрением, - то что это такое? Хорошо это? Где гарантия, что остальные не возьмут с него пример? (Да так оно и получилось впоследствии. И никто из нас, уходя на дембель, не сделал ему традиционного стариковского подарка: по две-три пачки "Беломора". А я и руки не подал, и еще оглянулся и плюнул ему во след.)

И всё же я непоколебимо убежден: окажись я в положении Зайцева, приди я к нему и все расскажи - он вел бы себя не так, как его коллега Сундарев. Он мог меня ненавидеть как старшина, но по-человечески он понял бы меня, и по-человечески в ту же минуту всё плохое между нами было бы раз и навсегда перечеркнуто. И он - спас бы меня.

В таких вот ситуациях солдаты почти никогда не жалуются старшине. Эта травля молодых редко когда достигает такой критической точки (да и молодые такие редко попадают), когда они просят чьей-либо защиты, и уж если просят - дело дрянь, значит, зашло уж слишком далеко, и пора принимать меры.

И даже из меркантильных соображений: помочь в этом случае солдату - значит навсегда покорить его сердце. В армии, где все тебя гоняют, матерят, вечно недовольны и грубы с тобой, доброе человеческое слово - на вес золота! Умные офицеры и старшины искусно умеют пользоваться этим. Всего и забот-то - минут десять покурить с солдатом, погулять с ним, отбросив субординацию и показав человеческое сердце, - и солдат твой! Навеки и с потрохами. А уж если поможешь ему в критический момент, он горло перегрызет любому, кто против тебя хоть слово скажет. И ведь это так легко было - ПО-НАСТОЯЩЕМУ помочь Зайцеву!

Вот, например, очень простой вариант, но не для каждого, а для старшины с умом и опытом.

Сказать Зайцеву, чтобы он сделал вид, будто смирился с потерей брюк, чтобы, когда в следующий раз будут приставать, - отдал их и не связывался. А вот когда поедут старики на дембель, проверить у них обмундирование (а оно в армии всё подписано - номером военного билета или фамилией) да снять с того паразита чужие брюки, а ему выдать рванину какую-нибудь - и пусть едет. Или даже еще лучше: для острастки, чтоб другим неповадно было, посадить его одного на губу суток на трое, а всех остальных отправить. Посидел бы, мышью вернулся в казарму, не только отнимать бы не стал чужое, а и свое бы отдал, да так и уехал бы в чем попало. А молодые еще бы и вздули его на прощанье! Или остригли бы наголо, - был такой случай. Лихо?

Но это, повторяю, не для всякого старшины.

Проще было бы поступить так: не замазывать это дело, а раздуть его до размеров вселенской катастрофы, поднять на ноги весь офицерский состав подразделения, а не одного замухрышку Бугаева, такую взбучку дать негодяям, чтобы у них до дембеля не то чтобы руки, но и язык отсох. Короче говоря, нужно было честно исполнить свой долг.

Но где там требовать это от старшины Сундарева, он, видно, вообще-то никогда службой себя не перетруждал. Ну, поступил сигнал, ну, принял меры, ну...

Ну-ну, баранку гну! Какие хоть меры-то принял?

Ну, дал всем по наряду вне очереди...

Об этом даже в приговоре сказано как-то скучно, вяло:

*"В тот день Сундарев назначил Гаврилова и Сидорова в наряд по офицерской столовой, а Жмакина посыльным по штабу".*

И при этом допущена неточность, о которой узнаем из последующих страниц приговора: пропущен Ерлексов, он был назначен рабочим по матросской столовой.

Это смехотворное "наказание" было чистой формальностью, отпиской, отговоркой, мол - я свое дело сделал, умываю руки...

Да плохо сделал-то, да неверно! Это если еще и не преступление, то в любом случае ошибка, равная преступлению!

Мы уже знаем "стариковские" нравы, знаем, что ни в какие наряды они не пойдут, просто плюнут и проигнорируют их; что это наказание, как бы ничтожно оно ни было, они воспримут как величайшее оскорбление. Так не удивимся же, когда прочтем следующее:

*"Полагая, что командование части узнало о их незаконных действиях от Зайцева, Сидорова, Гаврилова, Жмакин и Ерлексов решили избить его".*

После этого можно было бы перейти к последующим событиям, но не дадим упасть на нас тени подозрения в пристрастности, необъективности; мы всё говорили против старшины Сундарева, осуждали и клеймили его. Но мы ведь совсем не знаем его (пока!), может быть, он сам - начинающий старшина, не мог предвидеть, что из всего этого получится, впервые столкнулся с подобной ситуацией и т. д. В дальнейшем, спустя несколько часов, мы узнаем его очень хорошо, узнаем и поймем источник всей его деятельности и поступков - и вот тогда осудим, но не раньше. А пока мы ничего не знаем о нем, и поэтому скажем несколько слов в его защиту.

Да, он поступил неумно, он отнесся к делу формально, не сумел предотвратить преступления, хуже того - своими неуклюжими действиями только подлил масла в огонь. Но сам он еще не сделал преступления, за которое его можно и нужно было бы судить.

### 3

Итак, они решили избить его.

*"С этой целью около 17 часов 13 мая 1974 года Жмакин заставил матросов более позднего срока призыва Тэйга и Товмояна найти Зайцева и привести в котельную склада военторга, куда пошел сам вместе с Сидоровым, Гавриловым и Ерлексовым, не заступив своевременно в наряд".*

Не спешите, читатель, заключать, что вам всё понятно в этой фразе. Здесь что ни слово, то - загадка, и смысл сказанного опять ускользнет от нас, если мы не произведем детальнейшего анализа этой фразы и не проникнем в глубинную толщу, скрывающуюся за ее видимым контуром. Скажу больше: без такого анализа мы не поймем и всё дальнейшее.

Вместе с тем, здесь перед нами очерчен круг главных, но далеко не всех еще действующих лиц нашей хроники. Нам надо всмотреться в их лица, понять, что движет ими. Но прежде всего нам надо познакомиться с этими двумя - Тайгом и Товмосяном. О славном сыне армянского народа мы уже кое-что слышали. Помните, читатель, где-то уже упоминалось, что он - младший сержант? Тайг появляется перед нами впервые.

Это как же понять: "заставили"? Не напрягайте свое воображение, читатель, пытаюсь представить, как их заставлял Жмакин, потому что это - ложь, этого не было, он вовсе не заставлял их, он просто сказал им найти Зайцева, и уж они постарались, они не подкачали. Они, как собаки, спущенные с цепи, ни о чем не думали, ни в чем не усомнились; хозяин сказал "фас!" - так до размышлений ли здесь? Найти, догнать, притащить, разорвать в клочки!

Очень легко было бы доказать это, но мы поступим не так, мы попросим читателя отметить или заложить это место и потом вернуться к нему, когда мы найдем СТЕРЖНЕВОЕ ПОНЯТИЕ нашего исследования. Тогда читателю станет ясно, что вовсе не любовь, как думал Данте, движет солнце и светила (в мире? - нет, так не обобщим, не рискуем, но) на этом огороженном участке земли, именуемом в/ч 26894, а оно - найденное нами СТЕРЖНЕВОЕ ПОНЯТИЕ.

Именно оно погнало Тайга и Товмосяна на поиски Зайцева и оно же побуждало их лгать на суде, что их "заставили", и поскольку ложь объяснялась ложью - получалось вполне логично и правдоподобно. Когда мы найдем это наше понятие, пусть читатель вернется к этой странице. и

тогда побудительные мотивы поведения этих двух персонажей предстанут перед нами в первоизданной чистоте.

А теперь попробуем понять более важное: какое место занимают они в системе стариковства и какие отношения связывают их со стариками. Для этого, читатель, вам снова придется намотать портянки (уже оседланные, надеюсь), взять в руки автомат, карабин или что там у вас и послужить (чуть было не сказал "царю и") отечеству.

Помните, на чем мы остановились? Ну, еще бы! Такого всю жизнь не забудешь! С вас сняли брюки, может быть, и шинель, а может быть, и фуражку прихватили в суете. Но все-таки и наконец-то - уехали? Конечно! Уже второй день без них. И вы возрадовались... Только рано. Теперь готовьтесь к п р и к а з у. Помните, в предыдущих главах я как-то упомянул это слово? Вы пропустили? Или заинтересовались? Как бы там ни было, теперь самое время познакомить вас с ним.

В одну из ближайших после отъезда стариков ночей, сразу же после отбоя или через часик, вас поднимают по тревоге. Дневальный у тумбочки истошным голосом и безо всякой иронии орет:

- Рота, ПОДЪ-ЕМ! Тревога! АТОМ!!

Вы вскакиваете, как ошпаренный, но вот странно: дежурный сержант (из недавних черпаков) предупреждает всех: "Не одеваться, не одеваться! Выходить так!" Все и идут "так": кто в тапочках, кто в сапогах, кто и вовсе босой. Для многих из ваших друзей происходящее уже не таит в себе загадки, да и вы через минуту-другую краем уха улавливаете это магическое слово... Всё ясно: сейчас будет оглашен "стариковский приказ".

Не пытайтесь сопротивляться, убежать, спрятаться в сортир: старики (то есть, простите, еще черпаки) обложили вас со всех сторон, вы в западне, вы беспомощны, как и всякий человек, только что вытасченный из теплой постели и, извините, - без штанов. Вот выходит какой-нибудь молодой с голосом позвончей (хочет, не хочет - его всё равно выведут на середину, так что уж не обвиняйте его в рене-



гатстве, лучше скажите спасибо, что у вас глухой бас, а то ведь неизвестно, кто бы еще оказался на его месте), становится перед строем и читает по бумажке:

Приказ Министра Обороны СССР  
номер такой-то

от такого-то, такого-то, растакого-то.

На основании Закона о Всеобщей Военской Обязанности

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Военнослужащим срочной службы осеннего (или весеннего) призыва такого-то года присвоить очередное воинское звание "СТАРИК".

Освобождаю моих любимых стариков от (далее перечисляется все по пунктам: от всего освобождаются. Затем перечисляются все феодальные привилегии, вроде "правого борта", усиленной пайки и т. п.).

Все остальные военнослужащие срочной службы обязаны относиться к старикам с должным уважением и беспрекословно выполнять любой их приказ. Неповиновение старикам карается по всей строгости закона.

Министр Обороны СССР  
Маршал Советского Союза

А. А. Гречко

(с 1976 года - Д. Ф. Устинов)

Словом, король умер, да здравствует король! Старики никогда не переведутся в армии; эти ли, те ли - вам не лучше и не легче, и оставьте все ваши надежды на смягчение режима до тех пор, пока сами не станете стариком. А когда станете - для кого смягчать? Из либеральных соображений? А захотят ли ваши друзья? - вы ведь не один старик будете. Но это для вас - впереди... А пока вот - переваривайте и усваивайте "приказ".

Но ведь фантастично! В голове не уместается! Всё это от имени МО?! Случается, иные непросвещенные молодые первый приказ принимают за чистую монету. Так и пишут домой: "Подняли по тревоге, в торжественной обстановке (!) зачитали приказ министра обороны, заставили расписаться...". И вот уже сумасшедшая мысль закралась: знают ли, ведают ли Великие Стратеги, что творят от их имени? А если не знают, то почему не знают? Обязаны знать! Сер-

жанта, который не знает, где шляются его бойцы, могут разжаловать, а вот что делать с МО, от имени которого творятся преступления?\*

Друг мой, чёрта ли нам теперь эти вопросы? Не до них! У нас теперь другие заботы... Теперь, после приказа, надолго сомкнутся наши уста. Слышали, как там сказано: "беспрекословно!", "любой приказ", "по всей строгости закона!" - Да какого закона?!

Помилуйте, любезный, сколько же можно толковать об этом?! Сила - закон, кулак - доказательство, и какого рожна вам еще надо?! А право по марксистской теории - это вторичное, надстройка. Не потому вас бьют по морде, что имеют право, а потому имеют право, что бьют. Иначе говоря, была бы сила, а право - дело наживное.

После оглашения приказа вас, возможно, тут же по одному заставят принять "присягу". То есть перед строем вы должны будете продекламировать:

"Я - салага, мокрый гусь.  
Я торжественно клянусь  
Сало, масло не рубать -  
Старикам все отдавать" и т. д.

Я сказал "возможно", потому что не во всех уже частях живет эта присяга. И вообще после перехода на двухгодичный срок службы многие "славные" традиции те - "настоящие" - старики, к счастью, унесли с собой и не успели передать. А нынешние старики - это так, дерьмо. Ну, там дерьмо не дерьмо, а подчиняться всё равно беспрекословно.

Заметьте: в приказе нет деления на салаг, шнурков, черпаков; там сказано просто: "все остальные". Хоть вы год уже отслужили, всё равно для стариков вы - "зелён-

---

\* В Кремле знают, что делать: в ноябре 1978 года МО СССР Устинову присвоено звание Героя Советского Союза. Забыли только присвоить очередное звание - "Старик".

ка", "салажня". Между собой делитесь как хотите, перед стариками (перед лицом "закона") - все равны.

Молчаливое, неявное исключение сделано только для черпаков, да и то, бывает, не всех. Почему? Потому что многие из них за год службы успели доказать свою лояльность, приняли логику сего веселого учреждения, они и сами "возникать" не будут. Службу, как говорится, поняли глухо. Нет им резона артачиться, потому что через полгода сами будут стариками; ваше проклятое настоящее для них - недалекое светлое будущее. Им пора перенимать передовой опыт, пора учиться затыкать недовольные глотки, вырабатывать стальной голос и звериный гипнотизирующий взгляд.

И потом еще одна немаловажная деталь: черпаки уже не очень боятся стариков, потому что они в любом случае могут отыгаться на ПОСЛЕДНЕМ. (Мне рассказывали однажды, что лихие молодые в одной части пятерых последних стариков, порядком "поучив", ...обрили наголо!) А кто будет уезжать последним? - Этого никто не знает из стариков и поэтому дают черпакам послабку.

Но чаще всего они с черпаками уживаются мирно. И хотя черпаки формально ни от чего не освобождены, в действительности они ни черта не делают: на зарядку не ходят, территорию не убирают, картошку не чистят. Салаги и шнурки работают, а эти сидят себе в сторонке, анекдоты травят. Бывало, зайдет в столовую дежурный офицер, увидит такое дело и давай орать:

- А это что за бездельники?! Почему не работаете со всеми?!

Не шелохнутся. Объяснят спокойно:

- Перекур, товарищ старший лейтенант, мы по очереди, - чтобы д е л о не стояло...

- А-а, ну молодцы, - правильно. - И пойдет своей дорогой...

А бывает и так: старики раскалывают черпаков на две группы. Одних держат в руках, а другим дают всякие мелкие льготы, и в самоволку с собою берут, и в собу-

тыльники. И говорят про них: "Вот эти - настоящие парни, а те - сплошь дерьмо!" "Те" ничего поделать не могут, зато "эти" - рады услужить старикам в любом деле.

Еще хорошо натравить на черпаков шнурков и салаги или всех их друг на друга, этот метод известен издавна: "разделяй и властвуй", и никогда он не подводил.

И вот теперь, зная всю эту хитрую кухню, мы, наверно, не очень ошибемся, предположив, что младший сержант Товмосян и Тайг были именно из этой когорты привилегированных черпаков, что им уже не раз доводилось оказывать старикам такие вот мелкие услуги: приводить молодых на расправу, смотреть и учиться, заодно и самим тренироваться.

Усомнимся ли хоть на секунду, что они, может быть, не знали, для чего ведут Зайцева в эту котельную? Нет и нет! Всё-то они знали, во всё были посвящены, как же можно было не оправдать такого высокого стариковского доверия? И никто не уверит нас, что в этой котельной впервые пролилась кровь. О, сколько стонов и криков, испуганных умоляющих глаз, разбитых носов и свороченных скул повидала она на своем веку! И если бы ее, эту котельную, нам довелось бы судить, наш приговор был бы только один: взорвать!

В каждом гарнизоне есть такая котельная (или чердак, или подвал), где старики днюют и ночуют, где они пьянствуют, где переодеваются, идя в самоволку и возвращаясь с нее, куда они водят баб и приволакивают непокорных молодых и там бьют их, это редко-редко с кем просто "крупно" разговаривают.

Туда, молодой, не ходи один, не ходи без ножа и без кастета, а если пришел, ищи глазами кочергу, топор, дрючок потяжелее, не жди, пока ударят, хватай что попало, ори матом и - бей! По хребтам, по глазам, по ушам!

А лучше всего - вовсе не ходи, быть тебе там битую.

Но как не пойдешь, если тебе приказывает сержант? Таким и был простой расчет: для власти послать Товмосяна, для силы дать ему Тайга, а самим ждать в котельной.

Как они взяли Зайцева? Где именно? Это из приговора не ясно, но скорее всего - прямо из казармы. Как он шел - сам, добровольно, покорясь неизбежности (ведь это ангелы смерти явились за ним), или сопротивлялся, вырывался, а те тащили его под руки? Вряд ли сопротивлялся, вряд ли вырывался, шел спокойно, не звал на помощь, так что со стороны казалось - гуляют добрые друзья... А "друзья" вели его на пытки и на казнь и грозили вполголоса...

Взглянул ли он последний раз на Солнце, на Небо, на Мир Божий?.. Не знаем. Уже близка голгофная котельная, уже вот они - глухие черные двери, за которыми поджидает нас безноса... Уже вот - последние шаги по земле...

Но прежде чем со скрипом откроем эту страшную черную дверь и она поглотит нас навсегда, чтобы потом, через две недели, запоздалой отрыжкой выплюнуть наш почерневший изувеченный труп, - рассеем последнюю неясность.

Как же все-таки могло случиться, что эти четверо - Сидоров, Гаврилов, Жмакин и Ерлексов - не заступили в наряд? И как это могло так легко сойти им с рук? Признаюсь, читатель, моего богатого опыта не хватает, чтобы провести этому факту соответствующую параллель - за два года моей службы я не могу припомнить (а ходил я в наряды часто, бывало, - через день) такого случая, когда солдат не явился бы на развод наряда и дежурный по полку оставил бы это дело без внимания.

А здесь не явилось четыре человека - и ничего!

Обычно весь новый суточный наряд минут за 15-20 до его начала выстраивается на плацу на так называемый "развод". Заступающий дежурный по полку лично осматривает весь состав наряда, проверяет знание им устава, по заранее выданному ему списку производит перекличку. Отсюда, с плаца, новый наряд идет принимать дежурство, после чего лично докладывает об этом дежурному по полку.

И когда я говорил, что старики всё равно проигнорируют этот наряд, я имел в виду, что они уйдут с него после развода (это и у нас бывало), но никак не до него.

Да и вообще-то бывает ли в этой части развод? Жмакин, назначенный посыльным по штабу и обязанный быть в личном распоряжении у дежурного по полку, и тот не явился! И обошлось!

Дежурный по части, некто Плахута (хорошая фамилия! не в бровь, а в глаз!), в качестве свидетеля на суде показал:

*"Жмакин прибыл посыльным по штабу 13 мая не в 17 часов, а приблизительно в 21 час, а на следующий день - около 11 часов".*

И он, Плахута этот, ничего не предпринял! А ведь сказано в Уставе (УВС, ст. 235, стр. 121), что "без разрешения или приказа дежурного по полку лица суточного наряда не имеют права прекращать или передавать кому-либо исполнение своих обязанностей".

Да что им Устав! Это только солдатам они любят назидательно декламировать:

О воин, битвами живущий,  
Читай устав на сон грядущий!  
И паки ото сна восстав,  
Читай усиленно устав!

Сам читай, дурак в галифе!

После этого что же требовать от дежурного по офицерской столовой Балаценко и дежурного по матросской столовой Огненко? Последний на суде показал:

*"Ерлексов прибыл в наряд не в 17 часов, а приблизительно в 20, о чем он доложил Сундареву".*

Только не думайте, читатель, что Огненко, доложив Сундареву об отсутствии Ерлексова, поступил правильно. Как раз наоборот. Во время суточного наряда солдат выходит из непосредственного подчинения своему прямому начальству и подчиняется дежурному по полку. Вот ему-то и надо было докладывать. А "докладывая" Сундареву, Огненко явно хотел выручить своего дружка-"макарона" от неприятности, не доводить дело до более высокого начальства.

Где и когда он доложил Сундареву? Может быть, в столовой, когда тот привел подразделение на ужин... Что, что?!! Сундарев привел подразделение на ужин?! С ума сойти! Старшина приводит на ужин подразделение, в котором отсутствует Бог знает где чуть ли не треть личного состава! - можно ли такое вообразить? Можно, читатель, можно! В этой, с позволения сказать, воинской части всё можно. Может быть, друзья-"макароны" разговорились как раз в тот момент, когда Зайцев...

Но стоп, читатель, - назад! Мы слишком забежали вперед. Всё это будет потом, а пока мы еще только приближаемся к черной двери котельной. Вот до нее уже осталось три шага, два, один шаг...

4

...И вот, как говорит Рембо, открылись большие черные ворота...

*"В начале 18 часа того же числа Тайг и Товмосян привели Зайцева в котельную склада военторга".*

На суде они потом скажут, что пробыли в котельной всего несколько минут и ушли на ужин, но усомнимся всё же: сколько минут они там были? Только ли впихнули Зайцева в дверь и, сказав: "Вот он, получайте!" - тут же ушли или что-то еще говорили? И что именно говорили? А - самое главное - видели ли, как

*"Гаврилов, Сидоров, Жмакин и Ерлексов в присутствии других матросов, грубо нарушая общественный и воинский порядок, стали избивать Зайцева. При этом Гаврилов первым ударил Зайцева кулаком в лицо, а потом продолжал избивать его вместе с Сидоровым, Жмакиным и Ерлексовым" - видели ли они все это?*

А что за "другие матросы" присутствуют в котельной? Листая приговор, легко узнать, что это - Пахомов, Козлов и Карасев, причем последний - дежурный по котельной с 13 на 14 мая. (Так, так: значит, был даже дежурный по

котельной? И наверно, в его обязанности входило следить там за порядком, не пускать посторонних? Или, как везде у нас, бросай себе уголек в топку, и - ничего не вижу, ничего не знаю?)

И еще с двумя персонажами нам предстоит познакомиться через несколько минут. Вот сейчас выйдут из котельной Тайг и Товмосян (старики только скажут им, что на ужин не пойдут и чтоб принесли пожрать), а эти увидят их и пойдут. Вот - вошли, знакомьтесь, читатель: Сынчугов и Медведев собственными персонами!

Итак, четверо бьют одного, а пятеро (Пахомов, Карасев, Козлов, Медведев и Сынчугов) смотрят. Интересно! Еще бы! Да ведь и не им одним:

*"Примерно в 19 часов..."*

Что?! Мы не ослышались? В 19? Это сколько же прошло с "начала 18-го часа"? Ну, грубо говоря, полтора часа. *И всё это время Зайцева избивали.* И за эти полтора часа подразделение сходило на ужин, возможно, даже его водил САМ старшина, только, видно, многих не досчитался, зато из тех, кто был на ужине, почти половина "отдублилась"\*; по крайней мере, Товмосян, Тайг, Кротов, Малуев, Мальцев были в столовой тоже приблизительно в 19 часов, но уже ПОСЛЕ того, как поужинал личный состав подразделения. А Пахомов и Козлов вовсе не явились, а главное, главное - Зайцев уже пропал! И - старшина не заметил? - Нет, не обратил внимания. И это после утреннего разговора, после того, как слышал, что старики грозили Зайцеву! После этого, кажется, должен был хоть веревкой его к себе привязать, а не выпускать из глаз! Ну, что привязались, сказано: не заметил, может, и на ужин не водил роту. А кто же тогда водил? И где, в таком случае, Огненко мог ему доложить, что Ерлексов в наряд не явился?

И теперь мы знаем - не может быть, а точно, - в тот

---

\* "Отдублиться" - значит съесть двойную порцию.



момент, когда друзья-макароны встретились и разговорились в столовой, Зайцева били уже по крайней мере полчасика (если считать, что ужин в 18; а если - позже?!). Поздно уже Огненко предупредил Сундарева, но еще не поздно было спасти Зайцева. Вот именно сейчас, не дожидаясь, когда кончится ужин, идти в котельную...

Но нет, не пошел никуда старшина Сундарев и никому ни слова не сказал, вот так и получилось, что

*"примерно в 19 часов в котельную склада военторга возвратились Тайг и Товмосян, уходившие на ужин, а вместе с ними пришли Кротов, Мальцев и Малуев. Последний принес в бачке перловую кашу и хлеб".*

Надеемся, что читатель, преодолевший предыдущие страницы, ни на секунду не усомнится, кому предназначались эта каша и этот хлеб. Конечно же - старикам! Им - каша, хлеб и песня! Нельзя же "работать" не жрамши...

И вот их теперь десять свидетелей, десять зрителей, и ну-ка, читатель, сообразите, прикиньте, - что бы ВЫ делали на их месте? Вступились бы, закричали, полезли в драку? Или благоразумно смолчали бы? Или, как они, поинтересовались бы только: за что, мол, его? Страшная ситуация! В такие мгновения оценивается вся жизнь человеческая. И случись на месте этих десяти десять других, может быть, и не было ничего? - Не знаем. Но этих десятерых хватило только на то, чтобы поинтересоваться насчет Зайцева: за что, мол, его? (Неизвестно, кто именно задал этот вопрос. Только не Тайг и не Товмосян, они-то всё знали.) И Сидоров популярно объяснил: "Стучит" начальству.

*"После этих слов Сидорова Товмосян нанес Зайцеву два удара кулаком в лицо и оскорбительно выразился в его адрес. Тут же Тайг и Мальцев (уголовное дело в отношении них следственными органами предварительного следствия прекращено) нанесли Зайцеву по два удара. Затем Гаврилов, Сидоров, Жмакин и Ерлексов вновь стали избивать Зайцева кулаками, а когда он падал на пол, они избивали его ногами, обутыми в матросские ботинки и сапоги, нанося удары по голове и другим частям тела.*

Сидоров нанес один-два удара по спине Зайцева кочергой, которую взял в котельной.

Лицо Зайцева было разбито, из губ текла кровь. В таком виде отпустить его в столовую на ужин подсудимые не решились, и Жмакин предложил Малуеву и Кротову накормить Зайцева перловой кашей. Проглотив две-три ложки каши, Зайцев отказался есть, ссылаясь на боль при глотании, и просил отпустить его. Однако Сидоров со словами: "Он всех нас заложит!", ударил Зайцева и вместе с Гавриловым и Ерлексовым вновь стали избивать его ногами.

Во время избивания Зайцев сопротивления не оказывал, только закрывался руками от ударов и просил отпустить его, но затем потерял сознание и лежал на полу, не реагируя на удары.

Все указанные действия в отношении Зайцева Жмакин, Сидоров, Гаврилов и Ерлексов сопровождали нецензурной бранью.

Избиение Зайцева они прекратили только тогда, когда находившийся в котельной Мальцев закричал, чтобы они прекратили бить Зайцева.

В общей сложности Жмакин, Сидоров, Гаврилов и Ерлексов избивали Зайцева около трех часов".

Отсюда наше повествование набирает стремительный разбег, и нам - только поспевать за ним.

"В 20 часов находившиеся в котельной матросы Тайг, Товмосян, Мальцев, Малуев, Кротов и Козлов ушли в подразделение, а Сидоров, Гаврилов, Жмакин и Ерлексов ушли, чтобы отметить как находящиеся в наряде, где они должны были нести службу. Перед уходом Гаврилов и Сидоров затащили Зайцева в пристройку к котельной, предназначенную для хранения угля".

"Братишки", как это нетрудно догадаться, ушли в подразделение на вечернюю поверку. И опять у нас вопрос, который, правда, не вызывает уже недоумения: кто проводил поверку? Старшина Сундарев? И опять он не заметил отсутствия Зайцева? Или - не хотел заметить?

А сейчас, читатель, готовьтесь к блеску ослепительной молнии, которая на секунду ослепит нас и снова погрузит во тьму, так что даже усомнимся мы: такой-то свет отличается хоть чем от тьмы?

"Оставшиеся в котельной матросы Карасев, Сынчугов, Медведев и Пахомов, желая чем-либо помочь Зайцеву, все еще находившемуся без сознания, пригласили в котельную фельдшера-прапорщика Яндулова, который ввел Зайцеву внутри-

венный раствор глюкозы. Однако от этого Зайцеву лучше не стало”.

Собственно, привели Яндулова Сынчугов и Карасев, и было это приблизительно в 22 часа. Уже в котельной они

*”рассказали ему, что Зайцева избили матросы майского призыва. После внутривенного влияния раствора глюкозы Яндулов просил их перенести Зайцева в медпункт. Однако они отказались, сказав, что их тоже могут избить”.*

Ох, как близки мы к СТЕРЖНЕВОМУ ПОНЯТИЮ! Но не будем спешить, помедлим еще чуть-чуть. Они-то отказались (и мы, зная уже их, не удивляемся, жоть и хочется кричать до боли: не откажись они, и по сей день Зайцев ходил бы по земле), но ты-то, ты, фельдшер Яндулов! Как мог уйти ты?!! От избитого, искалеченного, но еще живого и нуждающегося в твоей медицинской и человеческой помощи!! Глас вопиющего в пустыне! Укол сделал и - ”умываю руки”.

Заметили ли вы, читатель, что блеснуло в глазах его? Ну, конечно же, оно, наше СТЕРЖНЕВОЕ ПОНЯТИЕ. Вот оно, получите - СТРАХ!

*”Через некоторое время (уточним: в 23 часа) после ухода Яндулова в котельную склада военторга пришел... прапорщик Сундарев(!)”.*

Но не спешите, читатель, облегченно вздыхать - спасен, мол... Лучше загляните и в его глаза, - видите?

”Карасев, Сынчугов, Медведев и Пахомов рассказали и ему об избии Зайцева Гавриловым, Сидоровым, Жмакиным и Ерлексовым.

*Посмотрев Зайцева, Сундарев сказал им, чтобы они привели Зайцева в подразделение, когда ему станет лучше, а сам ушел”.*

А сам ушел! Почему не истлевает от боли этот кусочек бумаги, на котором написаны эти слова: ”а сам ушел”?!

А дальше в приговоре - непонятный перебой. Написано:

*”Примерно в начале первого часа ночи 14 мая 1974 года Жмакин, Сидоров, Гаврилов и Ерлексов вновь собрались в котельной, где узнали, что избитого Зайцева видели Яндулов и Сундарев. Полагая, что избиевание ими Зайцева будет известно командованию и их могут привлечь к уголовной ответственно-*

сти, Сидоров, Жмакин, Гаврилов и Ерлексов, по предложению Сидорова, решили убить Зайцева, а труп спрятать”.

На самом деле было не совсем так. Видимо, вскоре после ухода старшины (в 24-м часу) в котельную пришли Ерлексов и Малуев.

”Последний передал Ерлексову двух соленых гольцов и тот обменял их где-то на две бутылки водки. (Малуев показал, что гольцов дал ему на продскладе кочегар Улжусев. — Это что еще за чурка?) Сынчугов слышал, как в первом часу ночи 14 мая в котельной склада военторга Сидоров, Жмакин, Гаврилов и Ерлексов, распивая водку, решили, что сделать с Зайцевым.

Гаврилов, Жмакин и Ерлексов упрекали Сидорова, что он сильно избил Зайцева, и потому он долго находится без сознания.

Убить Зайцева предложил Сидоров, Жмакин его поддержал, Гаврилов сидел молча, а Ерлексов высказал мнение, что возможно всё обойдется и об избииении Зайцева не узнают”.

Но чья-то ”добрая душа” (одна из четырех: Сынчугов, Карасев, Пахомов, Медведев) сообщила им, что Зайцева уже видели Яндулов и Сундарев.

И решение было принято.

## 5

Как хотелось бы нам, читатель, чтобы все это оказалось вдруг чьей-то большой фантазией, чтобы кто-то сказал нам сейчас: довольно, всё это выдумка, сон, ничего этого не было, жив-здоров Зайцев, отслужил, женился уже, дочка у него...

Но было, было, читатель!

И уж коль мы живые люди и не завтра умрем, то надо, чтобы и эта страшная правда как-то осмыслилась в нашем сознании, осела в глубинах души уже как наш собственный жизненный опыт и вписалась в общую картину нашего мировоззрения.

Ну, а если не впишется, не захочет и не сможет вписаться, а вместо этого расколется и разорвет на куски, и стройный до сих пор мир наших радостей и печалей вдруг

предстанет перед нами со звериным оскалом чудовищной жестокости, и все цвета радуги померкнут для нас, кроме одного, кроме цвета крови, и в этом багряном зареве - куда ж нам деться? Где найти опору, чтоб как-то жить дальше? Во что нам теперь верить? Что любить и что ненавидеть? Как нам жить?!

Читатель, если такие вопросы уже сейчас возникли у вас, то очень советую вам отложить эту книгу на время, проветриться, отдохнуть, лечь поспать, если дело к вечеру. Потому что дальше будет еще страшней и еще фантастичней.

Дальше было вот что:

*"Осуществляя свой преступный замысел, Сидоров заставил прибывших в котельную склада военторга около часа ночи Тайга, Товмосяна, Малую и Кротова перенести Зайцева в подвал дома № 15, расположенного в 120 метрах от котельной.*

*Не зная об истинных намерениях Жмакина, Сидорова, Гаврилова и Ерлексова и полагая, что они хотят спрятать Зайцева, пока ему не станет лучше, Малую, Товмосян и Кротов взяли Зайцева и быстро перенесли в подвал дома № 15, во второй отсек. Следом за ними пошли Сидоров, Гаврилов и Ерлексов, а несколько позднее Жмакин и Тайг".*

Здесь опять нам мелькнуло словечко "заставили", но мы пропустим его, мы уже знаем ему цену. Но зачем вернулась означенная четверка? Уже после отбоя, уже около часа ночи - зачем? Не зачем, а почему? - надо спрашивать. **СТЕРЖНЕВОЕ ПОНЯТИЕ - С Т Р А Х** - нами уже найдено, но это еще слишком малый результат нашего исследования, нам надо показать, что он - СТРАХ - движет не только нашими персонажами, а всеми - без исключения - лицами, поименно названными в приговоре, и еще многими-многими, оставшимися ЗА его строкой.

Подвал же дома № 15 и все подробности, с ним связанные, - пусть дорисует воображение читателя. И пусть сам читатель вообразит ту передвижную ремонтную будку, в которую Жмакин зашел по пути в подвал и где он взял двухкилограммовую кувалду ("с целью использовать ее как орудие убийства", - сказано в приговоре, но и без

этих слов никто не подумает, что шел он делать пятилетку) у находившихся там матросов Голубева и Федосеева.

И вот, сколько там шагов от этой ремонтной будки до подвала - столько Зайцеву и осталось жить.

И мы не будем больше анализировать, почему матросы Голубев и Федосеев дали эту кувалду, даже не поинтересовавшись, зачем она Жмакину нужна (он спросил у них что-нибудь "потяжелей", они решили - орехи колоть), и почему безмолвствовали оставшиеся в котельной, уже знающие, ЗАЧЕМ понесли Зайцева.

Не будем - потому что все эти вопросы, по крайней мере, неуместны перед лицом надвигающейся неизбежности.

Утро и ночь, жизнь и смерть - и неужели за этот промежуток ничего нельзя было сделать? И неужели молодой человек, еще утром полный сил и здоровья, должен ночью умереть? И неужели эти губы, которым бы еще целовать да целовать, сейчас посинеют и станут кормом могильных червей? Как представить, как вообразить себе такую чудовищную нелепость, такую несправедливость?! Никак. Нельзя себе этого представить и нельзя вообразить. И увидеть нельзя. Нам можно только - прочитать, как ЭТО происходит:

*"Когда Гаврилов, Ерлексов и Сидоров проникли во второй отсек подвала, Сидоров наклонился над Зайцевым, и тот, придя в сознание, встал и хотел выйти из подвала. Однако в это время туда проникли Жмакин с кувалдой в руках и Тайг, освещавший подвал фонарем. Действуя в соответствии с ранее состоявшимся сговором на убийство Зайцева, Жмакин ударил его кувалдой по голове, отчего тот сильно закричал и схватился руками за голову. Продолжая оставаться на ногах, Зайцев наклонился вперед и своей кровью испачкал Жмакину его рабочее обмундирование. Жмакин оттолкнул Зайцева и нанес ему второй удар кувалдой по голове, отчего Зайцев упал на пол. Тут же Гаврилов, Сидоров и Ерлексов стали наносить Зайцеву сильные удары ногами, обутыми в матросские ботинки, по голове и другим частям тела, а Жмакин нанес Зайцеву еще два-три удара кувалдой по голове.*

*В результате этих ударов голова Зайцева была разбита, из ран видны были обломки костей черепа и мозговое вещество.*

*Видя, что смерть Зайцева стала очевидной, Гаврилов заявил своим сообщникам:*

*– Хватит, он уже готов.*

*После этого все прекратили бить Зайцева. Затем по предложению Жмакина, передавая кувалду друг другу, Сидоров, Гаврилов и Ерлексов нанесли ей по два удара по голове Зайцева”.*

*И с этого мгновения для матроса Зайцева Время кончилось, и наступила Вечность. Тут уместны тишина и молчание. Мы пропускаем целую главу .....  
.....”старший матрос Зайцев (1955?-1974), как до призыва на военную службу, так и по службе в армии, характеризовался положительно. По характеру спокоен и выдержан”.... Вот и всё, что мы о нем знаем. . . .  
.....*

7

*Нет, эта жуткая ночь с 13 на 14 мая, наверно, никогда не кончится. Мы думали, она - конец нашего повествования, а оказалось - она - начало. В потрясенном сознании читателя все еще мерцает кровавое марево, но мы должны предупредить его, что эта глава, против его ожиданий, не даст ему желанного отдыха и успокоения. Потому что все самое страшное - впереди.*

*”Убив Зайцева, Жмакин, Гаврилов, Сидоров и Ерлексов заставили Товмосяна, Тайга, Малую и Кротова ударить по голове трупа Зайцева, что они и сделали, ударив по голове кувалдой по два раза каждый. Затем по их требованию Малую, Товмосян и Кротова оттащили труп Зайцева к стене подвала и, положив в углубление, все вместе, за исключением Жмакина, забросали его различным мусором и досками (уголовное дело в отношении Тайга, Малую и Кротова по факту укрывания ими умышленного убийства органами предварительного следствия прекращено по ст. 6 УПК РСФСР)”.*

---

*\* Привожу полностью 6-ю статью УПК РСФСР - ”Прекращение уголовного дела вследствие изменения обстановки”:*

*”Суд, прокурор, а также следователь и органы дознания, с согласия прокурора, вправе прекратить уголовное дело, если*

Мы уже знаем, что движет всеми нашими персонажами; так не удивимся же свидетельским показаниям Малугева, Кротова и Тайга, из которых следует, что

*"они ударили кувалдой по голове трупа Зайцева, понимая, что он уже мертв, и б о я с ь Жмакина, Сидорова, Гаврилова и Ерлексова".*

*"При перенесении трупа Зайцева (показание Кротова) он брался за воротничок спецпошива, в котором Зайцев был одет. Воротник оторвался, и он бросил его в сторону. (Впоследствии воротник с надписью "Зайцев" был найден во 2-м отсеке подвала дома № 15)".*

А Жмакин потерял там значок "ДОСААФ СССР за отличную учебу".

*"Этот значок Тайг дал Жмакину по его просьбе, так как Жмакину предстояло увольнение в запас; когда Жмакин потерял его, он попросил Тайга, Малугева и Кротова поискать в подвале дома № 15, но те отказались".*

Конечно, значок - мелочь, незначительная деталь, которую можно было бы и опустить, но эта мелочь так многозначительно смыкается с нашим стержневым понятием, что грех было бы смолчать об этом.

Сколько раз доводилось мне видеть дембелей, увешанных значками, как собаки на выставке, и всякий раз я думал: откуда у них эта бездумная, безудержная страсть к побрякушкам, это желание выделиться за счет чисто внешнего отличия? Самое странное, этим они достигают своей цели: пассажиры в поезде смотрят на них с уважением, они, бедняги, принимают весь это маскарад за чистую

---

будет признано, что ко времени производства дознания, предварительного следствия или рассмотрения дела в суде, вследствие изменения обстановки, совершенное виновным деяние потеряло характер общественно опасного или это лицо перестало быть общественно опасным".

То есть, пока убийство Зайцева оставалось нераскрытым, укрывательство его носило характер общественно опасного деяния, а когда его раскрыли, укрывательство этот свой характер потеряло. Пойми, кто может!



монету. Чего только нет на груди дембеля: Отличник Вооруженных Сил, первоклассный специалист, спортсмен-разрядник, парашютист! Иной раз смотришь и глазам не веришь: этакая-то мразь - и почти герой! Я почти всегда был уверен: чем больше побрякушек, тем большая сволочь, но люди-то, но попутчики-то! Верят! Уважают!

Так уж привела нас наша история, что в глазах нашего народа только патентованное мужество, одобренное и поощренное сверху, пользуется исключительным уважением. Орден, медаль, значок - род клейма. Вчера еще ничтожество, сегодня с побрякушками ты - человек, ты - герой, к тебе и отношение другое.

Ордена, медали, значки - это общественное мнение, которое правительство прибрало к рукам. Не народ, не общество, не мы с вами, читатель, а только власть, начальство, генералитет могут оценить заслуги человека.

Давно уже отгремели бои, третье поколение выросло без пороха и уже начинает заявлять о себе, а награды всё сыплются, как из рога изобилия, как будто позавчера только освободили Одессу. Молодой России вколачивают в мозги идею, что только военный героизм - единственный героизм, военное мужество - единственное мужество. И мы поддались. Да и как не поддаться, если с детства только Чапай, Щорс да двадцать восемь панфиловцев, только война и рубка, только герои труда и космоса?\*

И мы забыли, если вообще когда-нибудь знали, что существует другое мужество и другой героизм - гражданский. Да и само слово "гражданин" приобрело у нас ругательский и двусмысленный оттенок.

Так извращается и выворачивается общественное сознание, мнимые ценности вытесняют настоящие. И еще многое можно было бы сказать по этому поводу, но на-

---

\* Правда, в последние десятилетия стала заметной благотворная дегероизация общественного сознания. Новые поколения воспитываются уже не на Василии Ивановиче, а на анекдотах о нем. Давно бы пора!

деюсь, что нужный нам вывод и без того уже ясен: военный героизм (не лучше ли сказать - ПСЕВДОвоенный ПСЕВДОгероизм) наизнанку оборачивается гражданской и человеческой трусостью. Значок сомкнулся с нашим стержневым понятием.

...И даже после такого убийства этот негодяй Жмакин, как ни в чем не бывало, суетился по поводу потерянного значка - найдите, мол, братцы, домой хочу приехать, КАК ЧЕЛОВЕК!

Мы просим извинения у читателя за столь длинное отступление и продолжаем наше повествование:

*"Кувалду Жмакин бросил в соседний отсек подвала через отверстие в стене.*

*Выйдя из подвала, Кротов ушел в казарму, а Жмакин, Сидоров, Гаврилов, Ерлексов, Тормосян, Тайг и Малуев возвратились в котельную склада военторга. В котельной Жмакин снял с себя рабочее обмундирование, которое было испачкано кровью Зайцева, и послал Тайга и Малуева отнести это обмундирование в прачечную для стирки. В дальнейшем Жмакин, Сидоров, Гаврилов и Ерлексов часть своего обмундирования, в котором были одеты во время убийства Зайцева, - сожгли. Товмосян также в ночь на 14 мая выстирал брюки от рабочего обмундирования, опасаясь, что на них может оказаться кровь Зайцева".*

Из дальнейших свидетельских показаний узнаем несколько подробностей: в частности, о том, где и как стиралось окровавленное обмундирование. Оказывается,

*"возвратившись во 2-м часу ночи 14 мая в котельную склада военторга, Жмакин снял рабочее обмундирование и послал Малуева и Тайга отнести его в прачечную для стирки. Малуев и Тайг передали это обмундирование Коптеву и Мартьянову, которые той же ночью отнесли его в прачечную, удивившись при этом, что оно по размерам было гораздо меньше носимого Малуевым и Тайгом".*

Лихорадочная деятельность по заметанию следов преступления продолжалась. Этой же ночью в котельную был вызван как старый "приятель" Голубев (кувалдодаватель).

*"и Жмакин потребовал у него молчать про кувалду и наколот ему на большом пальце левой руки татуировку в виде могильного креста (чтобы Голубев помнил это предупреждение)".*

Туда же привели и печально знаменитого эскулапа Яндулова, и тому даже показалось, что Сидоров держал в руке раскрытый нож. Дескать, если бы не грозил ножом, я не стал бы молчать. Врешь, голубок, - стал бы! Тем же ножом пришлось бы тебе зубы разжимать, чтобы хоть слово от тебя услышать!

Ну, и само собой, там же и так же был предупрежден Сынчугов и все иные-прочие.

И когда онемевшие сердца еще трепетали от страха, занялся рассвет - тот самый, которого убиенный матрос Зайцев никогда уже не увидит . . . . .

...Утром 14-го мая, наконец-то, обнаружилось, что старший матрос Зайцев исчез. Мы уже знаем, что исчезновение это фактически ни для кого не было тайной, но именно так написано в приговоре. Естественно, что первым обнаружил это прапорщик Сундарев. То есть: прикинулся дурачком - мол, ничего не знаю, ничего не видел, а Зайцев вот взял и пропал. Где же он, однако? Хлопцы, кто его видел последним? (Ты, иуда!)

Казалось бы, нужно спросить об этом у Жмакина со товарищи, но - боязно. Сначала спросил у Медведева, Сынчугова и Пахомова (тех самых, которые присутствовали ночью в котельной, когда заявился туда Сундарев), и они

*"рассказали ему, что в ночь на 14 мая Зайцева из котельной склада военторга увели Жмакин, Гаврилов, Сидоров и Ерлексов".*

Пришлось побеспокоить эту четверку. Вопрос тот же: где Зайцев? Я абсолютно уверен, что ни один читатель не угадает, каков был их ответ. С трудом веришь глазам своим, когда читаешь следующее:

*"После непродолжительного препирательства и запирательства Жмакин, Сидоров, Гаврилов и Ерлексов признались, что Зайцев ими убит в подвале дома № 15. Однако (!) он, Сундарев, не доложил об этом официально, так как чувствовал за собой вину в том, что видел избитого Зайцева вечером 13 мая и мер не принял. По этой же причине он длительное время не говорил об*

*известных ему обстоятельствах и органам предварительного следствия”.*

Здесь что ни слово - то ложь, нагромождение лжи и страха. Если Сундарев и допытывался у них относительно Зайцева, то не ради истины и не потому, конечно, что был озабочен судьбой своего матроса, а - из страха: где же он? что теперь делать? Они должны были сказать ему - как соучастнику преступления - где находится Зайцев и что с ним, иначе он не смог бы их укрывать. А укрывать надо было, не ради них, разумеется, ради себя - чтобы шкуру спасти.

И вины никакой он за собой не чувствовал, только страх - спастись, выжить, как-нибудь замять это дело. То, что **УБИЛИ ЧЕЛОВЕКА**, - это до него не доходит и никогда не дойдет, потому что самая высокая для него ценность в мире - это его собственная, сундаревская, жизнь.

Как, наверно, он ненавидел Зайцева, уже убитого, уже заваленного кучей мусора, в эту минуту! Если бы не этот треклятый Зайцев (портки, гад, отдать пожидился!), если бы он вообще на свет не родился, - как прекрасна была бы жизнь прапорщика Сундарева, и вот надо ж...

Вполне естественно было и его молчание. Только не по той причине, которую он сам назвал. "Чувствовал вину", "мер не принял" - это для реабилитации, дескать, осознал я свое поведение, раскаиваюсь, больше не буду, отпустите домой, дяденьки судьи (они отпустят, они сердобольные). Но мы в раскаяние его не поверим! Чтобы чувствовать хоть малейшие угрызения совести, надо эту самую совесть иметь, а ее-то как раз и нет у старшины Сундарева. Молчал он как соучастник, и тем самым добровольно причислил себя к убийцам.

Исчезновение человека не такая вещь, чтобы ее вообще можно было замолчать, словно никогда и не было никакого Зайцева. Начальству всё же пришлось доложить. И, зная уже, что Зайцев убит, зная, где находится его труп, Сундарев бесстрастно докладывал: "Старший матрос Зайцев исчез. Причины неизвестны".

Очень жаль, что у нас нет сведений о том, как отреагировали на это командир и офицеры подразделения, хотя бы тот же самый Бугаев. Но зато у нас есть нечто более существенное. То, что мы имеем сообщить читателю, вовсе уж не укладывается ни в какие рамки:

*"Командир части свидетель Двойников (подполковник? полковник? да уж не генерал ли, братцы, – так что даже в приговоре трибунала с т ы д н о назвать его звание, и он целомудренно наречен "свидетелем"?) показал, что 14 мая 1974 года, в связи с исчезновением матроса Зайцева, он вызвал в свой кабинет многих матросов и спрашивал их о Зайцеве. В том числе он вызвал Жмакина, Сидорова, Гаврилова и Ерлексова, и они сказали, что Зайцев (а сдается нам, что, почуяв в нем с о у ч а с т н и к а, они ему так и выложили напрямик: "труп Зайцева", а не "Зайцев", как здесь сказано. Ну, да ладно, – спорить не будем) находится в подвале дома № 15.*

*Как пояснил далее Двойников, он не придал значения их словам, так как отвлекся разговором по телефону и тем, что к нему явился в это время прапорщик Сундарев. В дальнейшем об их сообщении забыл вообще(!)".*

Такая позиция командира части дала и Сундареву удобную возможность выкрутиться. Он

*"пояснил, что утром 14 мая, подходя к кабинету Двойникова, он видел, как из него вышли Сидоров, Гаврилов, Жмакин и Ерлексов. Поэтому он полагал, что они признались в убийстве Зайцева командиру части (и в этом он, пожалуй, не ошибся; и дальнейшее его поведение понять совсем не трудно: если уж командир части знает все и молчит, то что же ему, червяку ничтожному, лезть в это дело?). Но так как Двойников направил его забрать Зайцева на аэродроме, он, Сундарев, решил, что те обманули его, сказав, что Зайцев убит ими" (конечно, обманули – просто решили "пошутить" над старшиной).*

Вот это называется "пояснил", так пояснил! Спасибо и на этом, Сундарев. По словам командира выходило, что он отвлекся разговором по телефону (уж с кем и о чем он там говорил – Бог его знает) и тем, что пришел Сундарев. Жмакин, Сидоров, Гаврилов и Ерлексов всё еще, якобы, находились в его кабинете. Но Сундарев ведь ясно "пояснил", что они выходили из кабинета Двойникова, когда он сам еще только подходил к нему. Значит, в тот момент,

когда он вошел в кабинет, убийц там уже не было, значит, они всё сказали Двойникову и, значит, приход Сундарева никак не мог "отвлечь" его. И заметьте, читатель, еще такую деталь: Двойников не сказал, что он не слышал слов Жмакина и К°, он просто "не придал им значения". Как это понять? А вот как хотите, так и понимайте. Не придал значения - и всё тут. А в дальнейшем забыл вообще.

В этой легкости, с какой великий стратег местного значения дает лживые показания, угадывается первостатейный мерзавец. Он не чувствует за собой никакой вины, он даже как бы с недоумением спрашивает: зачем и почему я здесь? Ну, убили матроса Зайцева, случай, конечно, неприятный, но, товарищи, надо всё понимать - я командир части, профессиональный военный, имею заслуги перед Родиной (ко всем своим недостаткам он, наверно, еще плюс коммунист) - разве я могу усмотреть за каждым солдатом? Их у меня сотни, если не тысячи. Вот есть старшина Сундарев, капитан Бугаев - с них и спрос... (А Бугаев думает: вот есть старшина Сундарев, с него и спрашивайте, а тот в свою очередь: есть младшие командиры - вот с них и... В общем, как в известном анекдоте про милицию: сама, бабка, виновата, что кошелек спёрли).

Мы всё гадали и думали, до какой подлости, до какой низости может дойти человек. Мы уже приближаемся к концу нашего повествования, перед нами прошли десятки лиц, но ни одного ч е л о в е ч е с к о г о лица мы так и не видели. Все они, словно сговорившись, стремились переплюнуть друг друга в подлости и жестокости. И нам казалось, что идти дальше уж некуда, что это предел падения человека. Ан нет! Двойников их всех переплюнул. По той простой причине, что падал он с самой высокой вершины.

Как их всех изображают в кино! Отцы родные, воплощенная справедливость, сама мудрость на двух ногах. И в данном случае "мудрость" подсказала: не стоит ворошить это дело, лучше замять его. И замаял. Соломоново решение было таково: во избежание всех бед и неприятностей,

**Жмакина, Гаврилова, Сидорова и Ерлексова срочно... ДЕМОБИЛИЗОВАТЬ!!!**

...Если взглянуть на дело трезво, оставив эмоции в стороне, то чего другого мы могли ожидать от командира такой части? Вся система летит к черту, а у нас кто на вершине системы, тот и олицетворяет ее, тот и есть система. Помните, еще у Маяковского: "Мы говорим - Партия, подразумеваем - ...!!!" (И обратно.) Так и здесь: говорим в/ч 26894, подразумеваем - Двойников. А о чем еще думать Двойникову, если не о чести полка? Своей-то у него нет. А всплыви это дело наружу - тогда пиши пропало: очередного звания не видать, это уж как дважды-два; пятно на всю жизнь, пятно на полк. И решено было списать Зайцева по статье "дезертир".

Так прошла первая волна укрывательства, и возможно, что она была бы последней, если бы у командира Двойникова не была такая короткая память. Помните, он говорил, что "в дальнейшем об их сообщении забыл вообще"? То есть забыл, что труп Зайцева находится в подвале дома № 15, причем не как-нибудь там просто так забыл, а вообще забыл. А такие вещи, мил-человек, если память худая, надо записывать.

Потому что вздумалось какому-то лопуху через две недели после убийства произвести в этом самом подвале ремонт. Тут бы Двойникову категорически запретить, ножками застучать, порвать смету, перенести на следующую пятилетку, но - забыл.

28 мая труп Зайцева был обнаружен матросом Эбертом. И завертелось колесо. То есть началась вторая волна укрывательства. Тут уж самому Двойникову пришлось попотеть: следователя нашли такого, чтобы не очень шустрый был, чтобы побольше пил да по бабам ходил, любил бы деньжата (а кто их не любит в наше-то время развитого социализма?); трибунал как-то и чем-то задобрить и ублажить. И с этой своей задачей он справился успешно. Военный трибунал в/ч 22628 15 октября 1975 года (со дня убийства прошло более полутора лет! Вот так "знатоки"!

Да-а, насмотришься фильмов по телевизору и не знаешь, во что уж и верить... Там Пал Палыч Знаменский преступника по одному волоску без единого свидетеля к концу второй серии уж обязательно находит, а тут - куча свидетелей, труп - пожалуйста, а ищут... Впрочем, сколько лет ищут, это мы еще увидим) судил Жмакина, Сидорова, Гаврилова и Ерлексова и присудил (крепись, читатель):

- Жмакина к трем годам лишения свободы *условно* с обязательным привлечением к труду по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР (злостное хулиганство);

- Сидорова к четырем годам лишения свободы в ИТК усиленного режима по ч.ч.2 и 3 ст. 206 УК РСФСР;

- Гаврилова к двум с половиной годам лишения свободы *условно* с обязательным привлечением к труду по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР;

- Ерлексова к двум с половиной годам лишения свободы *условно* с обязательным привлечением к труду по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР.

Гаденыша Гагика (Товмосяна) судили на три месяца раньше и в другом трибунале и вlepили ему по той же части два года ИТК общего режима.

Двойников вздохнул, дело как будто утряслось, и можно продолжать спокойную жизнь: ну, там, воспитывать солдат, повышать боевое мастерство, изучать военную литературу. Так позвольте, надо же и классиков марксизма-ленинизма полистать когда-нибудь! Казалось, дело закончено - и овцы целы, и волки сыты. Зайцев убит, виновные понесли "суровое" наказание, чего же еще? Как он стремился, наверное, в светлое будущее, когда забудется эта злосчастная история с Зайцевым, принеся ему столько забот и огорчений, когда полк снова выйдет в передовые и Двойников получит благодарность Лично от Самого!

Но никогда подлость не принимает в расчет те благородные порывы честного человеческого сердца, которых сама лишена начисто. Так случилось и здесь.



Безмятежное бытие подонка Двойникова и его подручных палачей (а это, считай, все его подчиненные) было прервано разразившимся новым процессом по делу об убийстве матроса Зайцева.

Кто-то, нигде не названный в приговоре, всё никак не мог успокоиться и всё снова и снова продолжал толкать это дело. Достаточно зная нашу систему судопроизводства, мы ни в коем случае не заподозрим в такой инициативе должностных лиц трибунала, товарищи и сослуживцы убитого тоже оправдают: мы видели - не такого сорта эти люди. Остаются только родственники.

Новый судебный процесс состоялся во второй половине 1977 года (со дня убийства прошло уже более трех лет, и в течение всего этого времени почти все главные убийцы фактически находились на свободе! Прикиньте, сообразите, читатель, скольких еще Зайцевых можно наубивать за это время?) и, наконец, докопался до истины. Показания же свидетелей (а мы видели, какие это "свидетели", им бы впору на скамью подсудимых во главе с самим Двойниковым) приходилось буквально выдавливать. Причем, параллельно с трибуналом действовала другая, противоборствующая, сила - явная попытка третьей волны укрывательства, только на сей раз не сработало, не получилось. А шли, судя по всему, уже на крайние меры. Из приговора трибунала узнаем такой небезынтересный факт:

*"Свидетели Сынчугов, Яндулов и Кротов пояснили на суде, что 30 сентября 1977 года, в судебном заседании, они дали правдивые показания об известных им обстоятельствах об избении и убийстве Зайцева.*

*Однако в тот же вечер при возвращении в гостиницу их встретили в парке незнакомые лица и, угрожая убийством, потребовали отказаться от данных ими в суде показаний. Это явилось причиной того, что на следующий день судебного разбирательства они отказались от данных ими в суде показаний. После же перевода их в другую гостиницу, расположенную в военном городке, они почувствовали себя в безопасности и 5 октября 1977 года собственноручно по собственной инициативе (ах, какие молодцы! хоть по ордену каждому выдавай!) написали в военный трибунал заявление с просьбой считать их первоначальные показания в суде правдивыми и в дальнейшем давали подробные показания".*

- Кто такие эти "незнакомые лица", так напугавшие наших добрых молодцев, - осталось неизвестным. Трибунал ими не заинтересовался, а жаль. Думается нам, что от них протянулась бы цепочка... Уж не к Двойникову ли? Наверняка утверждать этого не станем, но надеемся, нам не придется слишком долго убеждать читателей, что в такой связи, после всех известных нам обстоятельств, нет ничего невероятного.

Нам остается только сообщить читателю, что приговор трибунала в/ч 55422 (председатель - майор юстиции Л. М. Захаров) был оглашен 12 декабря 1977 года. Его решением

- Жмакин Василий Васильевич, 1954 года рождения, был приговорен к РАССТРЕЛУ;

- Сидоров Александр Сергеевич, 1954 года рождения, к ПЯТНАДЦАТИ годам тюрьмы;

- Гаврилов Сергей Николаевич, 1954 года рождения, к ДВЕНАДЦАТИ годам тюрьмы;

- Ерлексов Владимир Феликсович, 1954 года рождения, к ДЕВЯТИ годам тюремного заключения;

- Товмосян Гагик Ценикович, 1954 года рождения, к ТРЕМ С ПОЛОВИНОЙ годам тюремного заключения (в январе 1979 года он будет уже на свободе).

На этом наша хроника заканчивается. Истина установлена, виновные понесли наказание... Но все ли виновные? Вся ли истина найдена трибуналом или только часть ее? Мы еще не ответили на эти вопросы и поэтому не ставим точку и не прощаемся с читателем, -

## 9

...Один мой близкий знакомый, прочитав предыдущие главы рукописи, сказал: "Эта вещь оставляет гнетущее впечатление. Где опора, за что схватиться человеку в этой ситуации? Неужели в армейской жизни нет никакого оптимизма? Где силы, которые задержат возможность подобных преступлений? Или автор этого не знает?"

И еще, эта повесть посвящена матерям и допризывникам. Но если сейчас матери, провожая своих сыновей, плачут, то после нее они будут рыдать, ломать руки, падать "наземь". Допризывники тоже будут в ужасе. Лучше уж ничего этого не знать. Вот так стреляет "За строкой приговора".

...Я думаю, мой товарищ не очень внимательный читатель, иначе он увидел бы, что выход у меня - в каждой строке, только он, может быть, сложнее и неожиданнее, чем ожидает читатель.

Я утверждаю, что этого преступления вообще могло бы не быть. Но одновременно с этим я утверждаю, что оно отнюдь не случайность.

Против страха одно лекарство - смелость и сила духа. Задача каждого человека не быть не только Зайцевым, но не быть Жмакиным со компанией, не быть Сундаревым, не быть Двойниковым.

Неизвестно еще, что труднее. Упоение старикинской властью, оно ведь тоже со страху. Страх господствовал во всей этой части, но если бы в ней одной - стоило бы писать? Жмакин, Гаврилов, Сидоров и Ерлексов тоже были салагами и впитали в себя логику страха. Сами запуганные до предела, они целью своей жизни ставили в будущем тоже кого-нибудь запугать. И так до бесконечности. Попади в эту цепь о д и н бесстрашный человек, и он разорвет ее. Значит, всем нужно быть бесстрашными. Надо вытравить из себя бациллы страха, заложенные в наших генах. И никогда ничего не бояться! Не бояться думать, не бояться говорить то, что думаешь, не бояться писать то, что говоришь, не бояться умереть за истину и за человеческое достоинство. А для этого прежде всего нужно знать правду и бесстрашно смотреть ей в глаза. Я согласен, за строкой этого приговора лежат страх, ужас и боль. И пусть останется навсегда за строкой страстное желание не знать, если знаем - не верить. Стремись, знай и верь. Правда и Добро победят, если мы того захотим.

Прощайте, читатель.

Май 1978 - Январь 1981

**Сергей ЛАРИОНОВ**

## **Разбудите спящих**

### **I**

- Двери, - напоминали проводницы, - угля на вас не напасешься!

Вдоль состава плыли авоськи с апельсинами, пакеты с колбасными хвостами, чемоданы на колесиках, спортивные сумки, портфели, коробки, рюкзаки.

Я избавился от вещей, вышел на перрон и свободно вздохнул.

Пахло дымом.

Носильщики скользили и матерились. За тележками спешили "уважаемые москвичи и гости столицы".

Девушка в черной шинели и в шапке с эмблемой железнодорожницы переступала с ноги на ногу. Снег под ее сапожками хрустел. Бедняга терла нос варежкой и поглядывала на вокзальные часы.

Рядом на глазах у милиционера выпивала небольшая компания. Солдаты получили долгожданный "дембель" и веселились с накрашенными девицами.

Ильи не было.

Ведь какой-то час назад условились по телефону: выезжаем. Что могло произойти?

Захрипело радио и вдруг сообщило о скором отправлении.

Пассажирам посоветовали проверить, а вдруг остались у провожающих добытые таким трудом билеты? Счастливого пути.

После короткого булькания тот же дурной голос начал выкликать родителей мальчика Гриши. Пятилетний Гриша сыскался и преспокойно ждет в справочном бюро, а мама с папой - растяпы: растворились под сводами Казанского вокзала.

Илья примчался за три минуты до отхода.

Пан композитор поставил на вагонную площадку "дипломат" с клавиром и партитурой, крикнул и сбросил с плеча гигантский пакет с пельменями. Мазстро еще не переступил порог вагона, как немедленно потребовал пристроить его быстротающий груз. Проводница резонно заметила: холодильник забит до отказа. Илья никак не мог взять в толк, что из столицы в город-герой и "крепость на Волге" возят не только и не столько экскурсантов, сколько - главным образом - жратву. Он стоял и ждал, когда юная железнодорожница сменит гнев на милость. Но она предложила композитору пройти в вагон, левой рукой взялась за поручень, а правую выставила вперед со свернутым желтым флажком.

- Куда же их? - растерянно спросил Илья.

- За окно, - посоветовал я и весело подмигнул проводнице. - Там они больше затвердеют. Видишь, какой мороз?

Девушка шмыгнула носом и отвернулась. Ей было безразлично, кому пожилая теща моего друга всю ночь накручивала пятьсот пельменей. Полтыщи! Предназначались эти "подарки судьбы" главному режиссеру театра, стоящего на берегу великой русской реки. Такая нехитрая взятка большому любителю маленьких кулинарных радостей.

Композитор приуныл.

Я ни секунды не сомневался: поезд протянет наш вагон мимо вокзала, мимо стоящих в тупике закрытых наглухо почтовых вагонов, мы пересечем "границу станции", я войду в служебное купе и улажу это дело.

Из пудовой сумки, приготовленной моей женой и женой брата для стареньких тетушек, я вытащил банку сгущенки и аппетитный лимон.

- Девочки, - обратился я к проводницам, - с чем вы пьете чай?

- С печеньем, - сухо ответила та, что стояла на посадке.

- С вафлями, - улыбнулась напарница.

- Примите сувенирчик, - я выложил на столик свой невинный презент.

- Ой, что вы, не надо, - запротестовала напарница.

- И кстати, дайте, пожалуйста, вилочки, тарелочки, стаканы. Мой друг на грани помешательства, у него может случиться голодный обморок. Большое спасибо. И пристройте куда-нибудь его проклятые пельмени: отравил всю душу. Вдруг на нервной почве спятит? Носилки в штабном вагоне?

Я отправил Илью к проводницам и занялся готовкой.

Театр оплачивал дорогу и пребывание в городе - отчего не побаловать себя и не поехать в "СВ"? Простор, мягкие диваны, устойчивая экологическая обстановка на тридцать шесть часов спустя.

Когда мой друг возвратился с пустыми руками, я успел накрыть на стол. Здесь присутствовало некое разнообразие: нарезанный свежий огурчик, ломтики сухой венгерской колбасы, стрелки зеленого лука, хлеб, сыр, горячая картошка, сдобренная сливочным маслом и засоленным на зиму укропом. На краешках тарелок краснел за предстоящее "безобразие" кетчуп, а в центре лежали остывающие куски мяса. Сиял на солнышке сопровождающий продукт - ну разве можно обойтись без него в такой ответственный момент?

Пельмени благополучно доберутся до народного артиста - замечательно. Готовый завтрак или - точнее - обед, изумительно. Мясо, картошка с еле заметным паром - волшебство.

Мой друг застыл в дверях двухместного купе.

Если и дальше так пойдет, ни один театр не устоит перед нашей музыкальной комедией!

- Ты помнишь, в нашем совместном произведении пер-

сонаж заявляет своему другу: "Моряк обязан уметь подойти к причалу, к девушке и к столику?" Мысль не очень свежая...

- И не твоя.

- ...но главное не в том...

Илья оценил намек: он очень умело подошел к дружескому причалу и с большим желанием подсел к накрытому столу.

(Я не стал раскрывать мастеру секрет: картошку я сварил перед самым уходом, загрузил в тройной целлофановый пакет, а сверху засунул обжаренные антрекоты. Тайна осталась тайной.)

Поезд пролетел подмосковные платформы, и мы не замечали, как время вместе с поездом летит навстречу завтрашнему показу. Наконец оранжевый диск повис над Рязанью.

Я увидел здание вокзала и умолк.

Вспомнилась бедолажная рязанская жизнь, суетливый неустроенный быт в актерском общежитии на Первомайском проспекте - всего две улицы от нашего вагона, вспомнились репетиции, спектакли, бесконечное болтание в поездах, когда все путалось и после небольшой дремы нельзя было сообразить, в Москву едешь или из Москвы...

В школе я бредил Есениным, учил его стихи. Я до сих пор вздрагиваю, когда слышу:

...Я хотел бы опять в ту местность,  
Чтоб под шум молодой лебеды  
Утонуть навсегда в неизвестность  
И мечтать по-мальчишески в дым.

Но мечтать о другом, о новом,  
Непонятном земле и траве,  
Что не выразить сердцу словом  
И не знает назвать человек...

В мой первый приезд в Рязань был май, цвела сирень, улицы казались умытыми, уютными, я влюбился в них, в

их непохожесть на Замоскворечье, Таганку, Солянку, влюбился в Рязанский Кремль, в древние названия - Пронск, Спасск, Ряжск. А поездка в Константиново? Разве забудешь?

Тогда в послеинститутские годы я не уставал от репетиций, не поглядывал в окно при повторениях одной и той же сцены, не дергал актеров по пустякам и не признавал никаких других забот, кроме предстоящей карьеры. Я верил в приметы, мечтал о главрежестве и пыжился доказать неизвестно кому, что еще чуть-чуть, спектакль произойдет, выстроится по всем компонентам и тогда...

Что - тогда?

Ничего.

Было и ушло.

Словно и было не со мной, а с кем-то другим, кто на уроках вместо алгебры и тригонометрии читал книжки о театре и мечтал о режиссерском факультете.

Поезд постоял и двинулся дальше.

Из нашего вагона никто не вышел, никто в него не вошел - слишком дорогое удовольствие эти "СВ".

- Ты знал такого-то? - спросил я Илью о тогдашнем главреже Рязанской драмы.

- Здрости, - удивился Илья. - Ты же сам нас знакомил. Помню, он "свистел" о своих военных подвигах, будто при одном упоминании его фамилии "языки" бросали шмайсеры, вылезали из окопов, поднимали руки вверх и под руководством твоего главрежа строем шли сдаваться нашему командованию.

- Я видел его военный билет и орденские книжки. Он и глаз потерял на фронте.

- Может быть, - Илья потянулся и зевнул. - Стоило ему получить народного, а потом еще и Госпремию, он начал писать на каждой афише - надо и не надо - свои звания не меньше трех раз. Хлестаков! - Илья достал сигареты, взглянул в пустой коридор, но курить в купе не стал и отправился в холодный тамбур.

Мы расположились у покрытой изморозью двери, Илья затыкнулся и сказал:



- Нет, в общем, он мужик был приличный, тебя в обиду не давал.

Поезд уверенно набирал ход.

Солнце наполовину сползло за горизонт. Стекла домов приняли его отражение и вспыхнули словно на пожаре. Дым, торчащий столбами из труб, покрылся красными пятнами. Мы возвратились в купе. За окнами крутились и неслись в сторону Москвы знакомые рязанские окраины.

Я вспомнил, как дирекция отобрала выходной у актеров, рабочих сцены, реквизиторов, гримеров, костюмеров: в день моего рождения двадцать пятого декабря были назначены две генеральные - утром и вечером. Главреж накануне тактично подкорректировал все мои огрехи и теперь сидел дома перед телевизором и ждал, пока мы втроем не освободимся - его жена, моя и сам именинник, чтобы сесть в его трехкомнатной квартире на улице Дзержинского за стол, чокнуться и потрепаться обо всех насущных и назревающих проблемах.

Поговорить было о чем.

Последние дни мы почти не виделись. На ходу, на бегу обменивались короткими:

- Привет! Ну, как у тебя? Помощь не нужна?

- Пока нет, спасибо.

- Если что, звони.

- Обязательно.

Я спешил на сцену, в зрительный зал, он - в свой кабинет, к директору, в репетиционную - мало ли дел у главного режиссера.

Давно уже в перерывах я не заглядывал в общагу - "домой".

Кончался утренний прогон, актеры спускались в полутемный, наполовину укрытый серой дерюгой партер, выслушивали мои замечания и пропадали кто куда до вечерней репетиции или спектакля.

Мы с женой выходили из театра и спускались по улице Ленина в ресторан, схожий скорее с приличной столовой - большой и неуютный. (Жена играла главную роль -

выпал в нашей судьбе и такой период - и потому ей было не до возни с обедами.) Знакомые официантки приносили остывший суп, недожаренное второе, я с завистью поглядывал на соседей, которым дозволялось заказать графинчик и к нему все, что пожелает душа из тогдашнего совсем не скудного меню, а мы через полчаса расплачивались и спускались в гардероб. Жена останавливалась у зеркала, слегка касалась помадой губ, мы выходили на заснеженную улицу и привычно замечали: день перешел в вечер, главпочтамт засиял всеми своими окнами, приглашая зайти и удостовериться, что на наши фамилии ни писем, ни открыток никто не прислал, хоть мы уже отправили новогодние поздравления во все концы друзьям и родственникам. Улицы заполнялись идущими с работы людьми, у светофоров скапливались в несколько рядов машины и неизвестно почему портилось настроение.

В один из таких перерывов мы столкнулись с худруком ТЮЗа. Оказывается, только что он насмерть разругался с моим главрежем. И где? В Управлении культуры! Ведь оба дружили, приехали каждый в свой театр почти в один день и вдруг...

Мой главреж вместо поддержки при начальстве раздолбал тюзовский репертуар - зачем, почему, какого черта? Подумаешь, не поделили пьесу! Других будто не написано за пять веков! Глупо!

Я пообещал обязательно заглянуть в ТЮЗ, где еще доигрывали поставленный мной на летних гастролях спектакль.

Жена о чем-то со мной говорила, я слушал и не слышал. Я гадал, пришло ли письмо от Веры Федоровны Пановой с новым названием. Пьеса Пановой, опубликованная в центральном литературном журнале, мне нравилась. Добрая, человечная. Но Вера Федоровна была прозаиком, и частенько в необязательных подробных диалогах терялась основа - встреча двух бывших фронтовиков в ночном аэропорту, двух соединенных и разлученных войной людей, по-своему несчастных и одиноких. К моему огорчению, по

Рязани сплошняком висели афиши, рекламирующие фильм "Сколько лет, сколько зим...". Надо же - совпадение! Разные авторы, разные сюжеты, но областной кинопрокат нас опередил.

Мой главный режиссер немедленно присваивал письма из Ленинграда. Он обходился с ними так, будто не я, а он состоял в переписке с писательницей.

- Вчера из Питера мне звонила Вера Федоровна, - объявлял он актерам, - я посоветовал ей кое-что сократить... Она, конечно, согласилась... Сегодня утром в письме я получил окончательный вариант... - И дальше в том же духе.

Я сидел за его спиной, раскачивал локтями колченогий столик и то включал, то гасил лампу, делая вид, что сверяю его слова с экземпляром пьесы. Наши жены подмигивали мне со сцены и откровенно хихикали. Главреж обходил первые ряды кресел, присаживался на минутку рядом со мной, шептал ничего не значащие слова, я кивал и начинал репетицию.

В первый же свободный вечер я заглянул в ТЮЗ.

Тогда был строгий порядок: сначала спектакль принимала общественность, потом он допускался до зрителя.

Худрук ТЮЗа сдавал инсценированную повесть другого ленинградца В. Фролова "Что к чему?". После сдачи по протоколу обязано было состояться обсуждение. Своего рода - вердикт: быть спектаклю или не быть.

В финале актеры вышли на поклон и к удивлению почти не слышали аплодисментов. Жиденские хлопки как возникли, так и свяжи.

Перепуганный худрук выскочил из-за кулисы, спустился в партер небольшого зрительного зала, пробежал в проходе между скрипучими деревянными креслами и остановился перед сидящей в амфитеатре группой рязанской общественности.

- Этот? - спросил один из ее представителей.

- Он, - с усмешкой ответил другой.

- От гнида! Та я ж его мизинцем удавлю!

Худрук сконфузился. Он вдруг понял: реплики эти относятся не к кому-то стоящему сзади, а именно к нему. Он растерянно улыбнулся. Ему и в голову не могло прийти, что в бывшем дворянском собрании можно обсуждать спектакль в таком тоне.

- Постановку поставил, гад, - задумчиво произнес член Рязанской писательской организации. По его команде мастера слова поднялись со своих мест и двинулись на маленького тщедушного худрука. Они напоминали в ту минуту подвыпивших трактористов на танцульках в сельском клубе.

Еще бы!

Кто - коренной, а кто - пришлый?

Да откуда ему знать, этому режиссеришке, какое поручение в обозримом будущем возложит на них Обком! И ничего, не подведут! Партия им скажет: "Надо!" Они ответят: "Есть!" И только этим одним своим поступком войдут в историю литературы!

На своем собрании они заявят Александру Солженицыну, что он предал не просто Родину - он продал родную мать. И на его попытки сказать несколько слов в свою защиту хамски потребуют соблюдать регламент, Вас. Матушкин, Ник. Родин, Евг. Маркин, Ник. Левченко, Серг. Баранов под руководством приехавшего из Москвы Ф. Таурина за каких-то полтора часа повернут судьбу известного на весь читающий мир писателя на сто восемьдесят градусов. Секретарь по идеологии Ал. Кожевников предврит исключение Солженицына из Союза писателей неким призывом: "он-де не хочет вмешиваться в ход голосования, но уверен, присутствующие и без него решили судьбу своего бывшего товарища".

Решить-то решили, вот только товарищем этой братии Александр Исаевич никогда не был и быть не мог: на заседания не являлся и совместной шефской работы на ниве школьного воспитания не вел. Про застолья и говорить нечего - сочинений собратьев по перу не читал, а стало быть и говорить было не о чем.

Интересно, живы ли те голосовальщики?

Бывшие скотники и пахари, молотобойцы и рельсоукладчики к литературе имели самое дальнее отношение. Но Обком дал клич: Рязани нужна писательская организация!

И пошло-поехало, поехало-покатило.

Сейчас не в каждой городской библиотеке сохранился альманах "Литературная Рязань". Я сохранил обе книги. В первой, изданной газетой "Сталинское знамя" тиражом 12.000 экземпляров, яркие стихи, впечатляющая проза.

"...Поутру и в метель, и в морозы  
Кто на ферму спешит, как всегда?  
Рядовые доярки колхозов  
И доярки - Герои Труда..."

Так завершает свою оду "Накануне" Андрей Абрамов. В ряду других поэтов-рязанцев он выделяется мало: у всех дружный и одинаковый подход к делу, похожая игра рифм и необыкновенный подбор метафор.

"...Красный флаг  
Над фасадом театра.  
Распахнуты  
створки дверей широко.  
Выходят толпою  
колхозники знатные,  
по древней Рязани  
шагают легко.  
Поземка еще  
под ногами беснуется,  
но в сердце у каждого  
нынче весна:  
сегодня в театре  
на Ленинской улице  
героям села  
вручены ордена..."

Это Николай Поваренкин. Написано смело, а главное - честно и от души.

Прозаики тоже не ударяют в грязь лицом, у них есть чему поучиться.

"...Она подошла к открытому окну, посмотрела на улицу, залитую голубым лунным светом.

- Как хорошо, Володя! Полная какая луна! Помнишь, как в ту ночь на Оке, в лугах?..

Владимир улыбнулся, вспоминая первый веселый и счастливый вечер, проведенный с Лизой.

- Жаль только Машу, - вздохнула Лиза.

- Ничего, - успокоил ее Владимир. - Она тоже найдет свое счастье..."

Не знаю, как-кто, а Александр Чувакин именно так завершает главу 45 первой части замечательного много-планового романа "Урожай".

Что помешало издать еще большим тиражом вторую книгу альманаха "Литературная Рязань", до сих пор не ясно. Скорее всего возросшая требовательность авторов к самим себе. Всего 5000 экземпляров утвердила областная газета. Заодно и обрела сегодняшнее название: "Приокская правда".

"...Проносится ветром время,  
Трудное, но и радостное.  
Идет по рязанским селам  
Гордости звонкой волн, -  
За трудовые подвиги  
Заслуженные награды  
Труженикам деревни  
Вручает ныне страна.  
Настя! Радуйся, Настя!  
Счастье тебе какое, -  
На кофточке орден Ленина,  
Дороже награды нет.  
На рязанские фермы  
Идут теперь за тобою

Многие парни и девушки,  
Которым по двадцать лет..."

Разные годы, разные сборники, а поэтическая традиция соблюдена! И пусть Евгений Маркин разрабатывает собственную систему образов - пусть! Зато подход к теме...

Они считали себя серьезными литераторами. И не их вина, что слова не складывались во фразы, неизвестно, куда надо было ставить знаки препинания, зато если за день или за два в муках и пытках удавалось исписать несколько тетрадных листков, остальную часть рабочей недели можно было догулять с сотоварищами по перу. И даже ночью подушке - не то что жене - большинство из них не призналось бы: пути назад отрезаны, в среде писателей они были и остались печниками и шорниками, в среде механизаторов и скотников прослыли писателями. Руки давно не те, да и сами тоже. Единственный свет в окне - "Приокское издательство". Где уж иметь собственное мнение, а тем более возражать работникам Обкома! Вякнешь хоть слово не туда, куда тебя направили мудрой рукой, прости-прощай. Такие пешки двинуты были на ферзевом-фурцевском фланге...

Пока я готовил к выпуску мой спектакль, опальный Солженицын сидел на далеком хуторе под Рязанью и, не теряя ни часа, писал свой "Архипелаг". Весной он возвратился в город и узнал: в Москве рассыпали готовый набор его "Ракового корпуса"...

Александр Исаевич иногда бродил по рязанским улицам - странный желчный человек, неохотно подающий при знакомстве руку и готовый увидеть в любом и каждом стукача или кагебешника... Этого рукопожатия был удостоен и я.

Если бы руководство в те далекие годы спохватилось, в какую пропасть оно влетит в недалеком будущем, то при каждом Обкоме на прочной и довольно высокой ставке в слуховом окне под крышей расположился бы астролог. По движению и расстановке планет он предсказывал

бы завтрашний, а то и послезавтрашний день. Не гласно, а строго секретно. Первому секретарю. Под расписку.

Но, к сожалению, наука астрология была в ту пору не очень популярна в Рязани. Обкомовцы о ней понятия не имели - откуда? Мотались, выполняли директивы, постановления, когда пялиться на звезды? Тут успевай под ноги смотреть, не свернуть бы шею, на которой крепится башка! И дальше своего носа работникам Обкома замечать было просто некогда. Я их понимаю: при любом другом подходе могла утратиться вера в Моральный кодекс строителя коммунизма. А без веры? Собьешься с пути истинного и, чего доброго, запьешь горькую где-нибудь на окском дебаркадере позади Кремля да возмечтаешь о специальности обстановочного старшины, в просторечии именуемом бакенщиком.

Тогда руководство бездумно разбрасывало камни, сегодня кинуло клич: немедленно все собрать!

Но как?

Разве запомнишь, в кого и когда брошен камень?

Бросили камень в режиссера - подумаешь, делов-то! Режиссер поднялся и уехал. В другом городе в других условиях создал он принципиально новый театр, получил звание народного артиста РСФСР и умер там, где и до сего дня вспоминают его добрым словом.

Бросили камень в писателя. Ну что ж... Имя его на земном шаре называют чаще, чем город, где пережил он столько невеселых событий в знаменитой своей судьбе.

А через двадцать с небольшим лет - 5 апреля 1989 - новое поколение обкомовцев, последователей и наследников тех, отдало приказ: разогнать резиновыми дубинками своих рязанских сограждан, пришедших к Обкому на площадь Ленина услышать доброе умное слово от претендентов в народные депутаты. (Милиционер, стоявший на посту внутри горисполкома, видел, как избивали интеллигенцию, женщин, детей - стоял перед окном и решал, с кем он? На следующий день он пришел на работу и подал рапорт...)



Древние астрологи предугадали мировые войны, крупные катастрофы, недавнее жуткое землетрясение, образование озоновой дыры, предстоящее смещение земной оси... Самое странное, астрологи верно указали даты и победителей! Много веков назад астрологи противопоставили добро злу. Тех, кто оказался вне добра и зла, древние называли спящими.

- Разбудите спящих! - заклинали они. - Разбудите!

...Поезд летел через бесконечные голые поля - ни леса, ни домов, только легкая голубая полоска над горизонтом. Яркие желтые звезды прочно заняли свои места в темном небе. Если бы не частый стук колес, могло показаться, что мы стоим в пустом и незнакомом месте...

"Что к чему?" в детском театре - по тем временам не лезло ни в какие рамки.

Мать двоих детей, актриса, оставляет мужа, капитана первого ранга, бросает Питер и уходит к любимому человеку. Он тоже актер, оба уезжают куда-то в Сибирь, в Томск, в Иркутск - не важно. Мальчишка, ее сын, страдает вместе с отцом и младшей сестренкой. За честь матери он кидается в драку с одноклассниками. Потом по совету товарища собирает деньги на билет и едет в неизвестный ему город. Он находит мать и хочет к ней подойти, но становится случайным свидетелем ее разговора с новым мужем. Парень прячется в кустах и не решается выйти из укрытия...

- Она так смотрела на него, - признается он своему товарищу, - как никогда не смотрела на отца. И тогда, - говорит он в финале пьесы, - я понял, что к чему. Хотя разве кто-нибудь когда-нибудь до конца это понял?

(Спустя несколько лет "Ленфильм" снял картину по этой повести с Шукшиным в роли отца. Мог ли предвидеть худрук Рязанского ТЮЗа в стычке с местными писателями такой пассаж?)

- Эта чему, значица, вы хотите образовать наших детишек? - дыша перегаром, спросил режиссера рязанский пиит. - Что матеря ихние... они... вот эти вот... самые?! - и

помахал перед физиономией худрука чугунным кулаком. - Да мы тебя из нашего города взашей!

- Дай-ка я! - напирал сзади другой поэт. - Я ж его, падлу, мизинцем удавлю! Июда поганая!

Воспитанного в лучших ленинградских традициях худрука окружили растерянные исполнители. Они тоже никогда не сталкивались с такой оценкой спектакля.

Нервы худрука сдали.

- Вон из моего театра! - завопил он нечеловеческим голосом. - Держите меня! Я их сейчас всех поубиваю!

Писательская когорта отпора не ожидала. Мастера слова слегка отпрянули от подхвативших истерику артистов.

- Борис Абрамыч, не надо! - Актеры вцепились в своего худрука и вместе истошно закричали. - Не на-до!

Худрук норовил выскочить из пиджака, но актеры держали крепко.

- Плевать я на них хотел! - не унимался он. - Плевать! На них! На их мнение! Тьфу! - плюнул он себе на галстук.

- Во-на ка-ак, - поразились писатели. - Оскорбления наносит! Ну тогда ожидай, холера! Мы твою пиеску в "Приокской правде" разрисуем, про сон забудешь, про аппетит! А то нас не ставит, подлая тварь, а какую-то аморалку выкопал! Что морду воротишь, Искарить? И откуда ты на наши головы свалился, из Воронежа?

Две дамы в заляпанных рязанской грязью и помеченных соляными разводами сапогах олицетворяли в тот вечер Областное управление культуры. Они сидели в пятом ряду спиной к скандалу и боялись пошевелиться. Как только "писательская элита" повалила в раздевалку, дамы поспешно похватали хозяйственные сумки и выскочили из зала.

- Ну что, - обратился ко мне худрук, - ты видел? - на глазах его стояли слезы. - Ведь она... Ведь я... Мы душу вкладывали!

Маленький театрик бурлил.

Актеры не собирались расходиться. Реквизиторша и

зав. электроцехом потоптались возле открытых дверей кабинета, куда я отвел худрука, но войти не решались. Пожилой зав. труппой выманил меня пальцем в коридор и по праву прежней дружбы назвал меня "на ты":

- Ты там... - зашептал он, - успокой его! Нельзя так убиваться, честное слово! Хамы. Оголтелые хамы. Спектакль ведь получился, верно?

- Мне нравится.

- Честно?

- Абсолютно.

- Вот и мы считаем... - Иван Иванович стиснул мою руку. - В общем коллектив... - Завтруппой нахлобучил шапку, хотел еще что-то добавить, но не сказал ни слова и ушел.

В тот далекий вечер я не столько удручен был базарной склокой писателей, сколько жалел худрука. Мы шли с ним по Первомайскому проспекту, он тяжело вздыхал, останавливался и хватался за сердце.

- Сейчас мы с тобой выпьем коньяку, - тихо сказал он, - сердце остановится, и я умру. - Он обернулся в сторону театра.

- Пусть им... будет хорошо... без меня...

Я вел его под руку и, как мог, успокаивал.

В подъезде не горел свет, на площадках благоухали ведра для пищевых отходов, за дверьми ругались, разговаривали по телефону, четко докладывал обстановку в стране диктор Игорь Кириллов.

Когда мы разделись и присели на тесной кухоньке, худрук взялся за голову и застонал:

- Ведь они напишут!

- Не напишут.

Он чокнулся со мной крохотной рюмочкой.

- Ты себе побольше, мне после инсульта нельзя... Берег к премьере... А, ее равно не будет...

На цыпочках входила и выходила жена худрука и за его спиной сигналила: Боре - ни в коем случае!

Давно остыла картошка, и к котлетам мы не притрону-

лись, а он продолжал раскачиваться на табурете и тихо постанывать. Иногда он поднимал голову и с надеждой спрашивал:

- Почему ты так думаешь, не напишут?

Не помню точно, что именно я втолковывал. Приблизительно так: народ они ревнивый, завистливый. Пока один убедит другого, будто он обругал ваш спектакль лучше всех остальных, уйдет уйма времени.

- Вы бы...

- Что я? - испуганно встрепенулся он.

- Напомнили, кто кого играет.

- Зачем тебе?

- Надо.

- Все-таки?

- Потом.

Он позвал жену.

Жена принесла программку, худрук галочками отметил основных исполнителей, я посидел еще немного, распрощался и ушел в общежитие.

На следующий день после репетиции я направился в редакцию "Рязанского комсомольца". Она размещалась в крыле старинного особняка. Здесь готовились номера "Приокской правды", "вещал" радиокомитет, заседало местное отделение Союза писателей. Крыло выходило на улицу Ленина. Бронзовый Иван Петрович Павлов всматривался в окна учреждений и денно и ночью сверял по сотрудникам правильность учения об условных и безусловных рефлексах.

Редактор был искренне рад.

Он прочитал мои каракули и сразу же отправил на машинку. Значит, о вчерашней стычке он знать - не знает и ведать - не ведает.

- Вот эту фразу... - с извинением забормотал он.

- Какую?

- Относительно того, что театр обязан поднимать острые вопросы... но не должен отвечать на них... Остальное вполне... - Он встал, проводил меня до двери. - Хорошо бы фотографию... Мы сразу зашли в номер!

Через пару дней в областной комсомольской газете появился мой материал. Я чуть-чуть погордился и забыл: заботы о предстоящей премьере были основными, а все остальное...

На премьеру прибыли два благополучных дядечки - из Министерства культуры и ВТО.

Они нашли мой спектакль "очень интересным, даже лучше, чем у Товстоногова". Я только руками развел: дай-то Бог нашему теляти когда-нибудь вашего волка съесть!

Оба деятеля были обязаны дать обстоятельный отзыв для защиты моего диплома в ГИТИСе. Их благожелательность была подогрета в театральном буфете - тогда обходились без ненужных запретов - а предстоящий ужин в ресторане, куда по традиции пригласил гостей заслуженный артист, председатель местного отделения театрального общества, располагал их к довольно поверхностному анализу.

(Друг Сергея Есенина Анатолий Мариенгоф в романе "Мой век" высказался так: "...право, XVII век не слишком далеко ушел от нашего. Тогда тоже портили пьесы. Кто? Актеры, завлиты, режиссеры. Только в том и различие..." Речь не о пьесе Веры Пановой - о "Гамлете, принце Датском". Но в приведенной цитате речь и обо мне.)

Через неделю после премьеры я вводил кого-то на второстепенную роль. (Как выяснилось, артисты - тоже люди, они болеют, их заменяют.)

Актеры переходили от одной мизансцены к другой, заученно и без интонаций, не затрачиваясь перед вечерним спектаклем, произносили свои реплики, осторожно позевывали и поглядывали на часы. Я и сам соображал, как бы поскорее и покороче свернуть "творческий процесс". Вдруг дверь в репетиционный зал распахнулась, и на пороге возник директор. Его нижняя губа дрожала.

- Кончай все... на х-хрен! - приказал он мне.

Артисты замерли на полуслове.

- Срочно в кабинет, - кивнул он мне и решительно зашагал по коридору, спотыкаясь о плохо пригнанную ковровую дорожку.

- Все свободны, - растерянно сказал я.

В директорском кабинете меня сразу же "атаковал" главный режиссер.

- Сукин сын! - закричал он. - Сколько раз твердил: не болтай! Кроме меня никому твое мнение не интересно! Нет, снова-здорово!

- В чем дело?

- В том! - главреж понизил голос и заговорил в нос. - Солженицына там, - он ткнул пальцем в сторону плотно закрытой двери, - склоняют на все лады! И это еще начало, вот увидишь!

- Да я-то при чем?

- При том! Пока ты работаешь здесь, мы с Саней, - он повернулся ко мрачно курившему директору, - несем за тебя полную ответственность! А ты вместо этого... - главреж отпустил матерную тираду и в конце ее хватил кулаком по столу. Под руку попала лежащая на столе кнопка, главреж издал звук типа - Уй!.. - и отпустил вторую порцию мата - позлее и позакрывистее.

- Объясните... - возник я, когда главный режиссер перевел дух для нового захода.

- В Обкоме объяснят, - хмуро отозвался директор. И сразу подвел черту, - собирайся.

Мысли, словно пустые бидоны в кузове грузовика, сбивались в кучу, откатывались к бортам, гремели, подпрыгивали на ухабах и ни за что не хотели обрести устойчивое положение.

Пропрощаться бы с женой. В случае чего, пусть дозвонится матери, та всю Москву поставит дыбом и дойдет до любых инстанций...

Я сбежал по ступенькам невысокого порога, вскочил в холодный с грязными сиденьями "лиаз", мы выехали на улицу Ленина и понеслись к памятнику Павлова перед филармонией имени Есенина.

Однажды осенью, в период нашего дружеского сближения, бродили мы с главным режиссером по усыпанной листвой тротуарам и выставлялись друг перед дружкой всяческими познаниями и остротами.

Я шутливо раскланялся с бронзовым академиком и воспроизвел по памяти ленинскую телеграмму от 25 июня 1920 года: "Смольный, Зиновьеву Григорию Евсеевичу. Знаменитый физиолог Павлов просится за границу. Отпустить за границу Павлова вряд ли рационально, так как он и раньше высказывался в том смысле, что, будучи правдивым человеком, он не сможет, в случае возникновения соответственных разговоров, не высказаться против Советской власти и коммунизма в России. Ввиду этого желательно было бы, в виде исключения, предоставить ему сверхнормальный паек".

- Врешь! - заявил мне главреж и захохотал во всю силу поставленного голоса.

Сейчас было не до смеха.

- Дождись, - коротко сказал он шоферу, и мы вошли в обкомовскую дверь.

Милиционер был заранее предупрежден.

Главреж направился к двери с табличкой заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации товарища Гордеева, но неизвестно откуда возникший инструктор направил нас в другой кабинет - зава, а не зама.

Заведующему кабинет достался просторный, светлый. Окна выходили в парк. Из нехоженого снега торчали молодые елочки, на слабом ветру пошевеливали ветвями березы и клены, возле изгороди пищали и дрались воробы.

Заместитель сидел за столом своего начальника и внимательно изучал подшивку "Правды". Если бы я появился один, он вряд ли бы встал и вышел навстречу. Но со мной был главный режиссер. Для официального визита он успел переодеться в темносиний костюм. Мой руководитель нацепил орденские планки, единственный глаз его сурово сверкал. Губы были прочно сжаты. На суетливое приветствие зама он отреагировал довольно прохладно. Товарищ Гордеев сунул и мне свою потную ладонь и крайне вежливо предложил сесть. (Я хорошо изучил своего главрежа и теперь надеялся на его защиту и выручку. Знать бы толком, в чем моя вина...)

Мы присели возле огромного стола, замзав поместился в кресле с подстилочкой и вытертыми подлокотниками, шаркнул о паркет подошвами, разгладил лежащий сверху номер газеты и посмотрел на меня.

- Та-ак, - загадочно произнес он и откашлялся. - Та-ак...

В стенных часах что-то хрустнуло, стрелки совместились на двенадцати, товарищ Гордеев сверил их показания со своими часами, нехорошо заулыбался и уткнулся в передовицу под заголовком "За идейность советского театрального искусства".

- Та-ак, - назвал он меня по имени-отчеству, - та-ак...

Я похолодел: весь рот товарища Гордеева был заполнен серыми металлическими зубами.

- Как вы лично представляете себе репертуарную политику советского театра?

Я опешил: причем тут репертуарная политика?!

Видя мое замешательство, товарищ Гордеев снова протянул:

- Так-ак!

И вдруг я сообразил, что он хочет услышать, и по недавней студенческой привычке быстро пробежал глазами первые два абзаца передовой. Изложить их в адаптированном виде была пара пустяков.

- Та-ак, - согласился с моими доводами Гордеев, - та-ак... - и снова назвал меня по имени-отчеству. - А куда с вашей точки зрения будет развиваться...

На следующие абзацы ушло меньше времени.

Мой главный режиссер недоуменно водил головой то в сторону товарища Гордеева, то в мою и ничего не мог понять.

Странная игра продолжалась.

Главреж вместе со мной заглядывал единственным своим глазом в лежащую вверх ногами передовицу и сразу же сверял мой ответ с тезисами центральной печати. После четвертого моего ответа, когда мы с товарищем Гордеевым почти исчерпали газетную статью, главный



режиссер не выдержал и, едва сдерживая смех, тряхнул седыми вихрами и ринулся к графину с водой, стоящему на столике возле окна.

- Та-ак, - всполошился товарищ Гордеев, - вы это... что? Вам плохо?

- Да уж, - еле отозвался главреж, - чего хорошего!

Мой главный режиссер покашливал, посвистывал носом, плечи его дрожали. Я вынужден был отвернуться. Иначе одолеть последний абзац не хватило бы мочи.

Товарищ Гордеев улыбнулся металлическим ртом. В его улыбке обозначилась доброта.

- Та-ак, - суммировал он и назвал меня по имени-отчеству. - Та-ак...

На процедуру под названием "идейность советского театрального искусства" ушло всего семь минут.

Товарищ Гордеев закрыл подшивку "Правды", и под ней обнаружилась другая - "Рязанского комсомольца".

- Та-ак, - сказал товарищ Гордеев и раскрыл ее как раз на моей статье о премьере в ТЮЗе. - Та-ак...

Товарищ Гордеев не успел назвать меня по имени-отчеству, как дверь широко раскрылась, и к столу хозяйским шагом прошествовал владелец кабинета. Широкий в плечах он вполне мог бы вместо Боброка возглавить западной полк рязанских бояр в Куликовской битве. Твердый кожаный пояс, кованный меч до земли, помятый в честных схватках шлем. Под тяжестью меча пояс спустился ниже пупа - не зря воинов-рязанцев издревле прозвали "косо-пузыми"!

Гордеев подскочил в чужом кресле, будто его ужалили. Он хотел выпрыгнуть из-за стола, но "воевода" был вальяжен и добр.

- Сиди-сиди, - вполне демократично положил он руку на плечо своего зама. Тот собрал лоб гармошкой и зашаркал подошвами по паркету.

Товарищ Шестопалов поздоровался с главрежем, пожал мою ладонь, внимательно осмотрел меня с головы до ног и довольный хохотнул:

- Ты чего это наших писателей обижаешь, а? Кха-ха!

- Я?!

- Да вот жаловались всей гурьбой, кха-ха! Всем составом явились! Я их за стол заседаний - излагайте, мол, по порядку, кха-ха! Куда там!.. Всем сходом гомонят, не утихомиришь! Кха-ха!

- Чем же я мог их обидеть?

- Да заметкой вот этой, кха-ха! - он ткнул пальцем в мою рецензию.

Мой главный режиссер выхватил подшивку "Комсомольца" и вперился в нее своим черным глазом.

- Видишь ли, - продолжил заведующий отделом, - они написали свою статью, приходят в "Приокскую правду", а редактор им - от ворот поворот. Во-первых, материал нуждается в серьезной правке, а во-вторых, в "молодежке" подробный и положительный анализ. Газета против газеты не пойдет и конфликт создавать не собирается. - "Воевода" опять хохотнул. - В другой раз ты уж сперва ко мне загляни, а потом выходи на страницы печати! - Он оглянулся на главрежа. - Верно я рассуждаю? Вот и вы недавно поспорили с ТЮЗом насчет репертуара, мне доложили.

- Да-да, - возник из-за плеча начальника заместитель. - Нам все подробно доложили!

- Одно дело мы, - ответил главреж, дочитывая рецензию, - другое... Боря вытянул пьесу, которую я собирался ставить у нас... В детском театре она ни к чему...

- И однако до сих пор не помирились! - продолжил мысль начальства Гордеев. - Наши писатели и об этом проинформированы! А ваш товарищ пишет!

Подшивка в руках моего главного режиссера затряслась и вдруг полетела в перепуганного Гордеева.

- Что?! - взревел главреж. - Что?! Эт-то кто кого обидел?! Эт-то до каких пор в моей стране будут наказывать за правду?! Писатели митингуют?! По кабинетам шляются, доносы строчат?! А сочинять за них кто будет, Константин Федин?! Толстой "Войну и мир" двадцать шесть раз переписал и - ничего, умер с чистой совестью, а они?!

(Откуда взялась эта цифра, я так и не спросил. Может быть, главреж перепутал со мхатовскими репетициями "Чайки" в 1898 году?)

- Я так не оставляю, - набирал обороты мой главный. - Завтра же еду в Москву и там расставляю точки над "i"! У меня есть, с кем посоветоваться! А сейчас ведите меня к первому! - Он направился к двери, но вдруг пошатнулся и приложил руку к орденским планкам. Другой рукой главреж беспомощно повел в пространстве. - Воды! - чуть слышно произнес он и опустился на стул возле стола заседаний.

- Быстрее, - приказал "воевода" своему заму. - Медсестру живо!

Гордеев зацепился штаниной за торчащий в ящике ключ, с трудом высвободился и опрометью кинулся в коридор.

- Ну зачем вы так, дорогой мой! Инфаркт схватить можно! Шут с ними, с писателями! Я отправил их по домам... Вот беда-то!..

- Сейчас уколёт! - ворвался в кабинет Гордеев.

В дверь впорхнула в белоснежном халатике и крахмальной шапочке... Ангел, честное слово!

- Что с нами приключилось? - спел медовым голосом ангел.

Главреж начал срочно выздоравливать. Он взял руку юной исцелительницы и нежно ее погладил.

- Постепенно отпускает? - участливо спросил ангел.

Сестра милосердия не спешила вытащить ладошку из руки главрежа, и тот не торопился освободить ее. Медицинская сумка стояла без движения на полу. "Воевода", заместитель и я стояли тоже, не шевелясь. Будто кто-то всем троем из далекого детства скомандовал: "Замри!"

- В театре у нас... - главному режиссеру становилось лучше не по минутам, а по мгновениям, - премьера... - вялой рукой он показал на меня. - Про любовь... Он тебя завтра встретит и посадит в ложу... И вы приходите... - устало обернулся он к работникам пропаганды и агитации. - Коллектив ждет...

- Сходишь и доложишь, - отдал распоряжение "воевода". - И чтобы всех поздравить, ясно?

- Так точно! - обнажил металлический рот Гордеев. Он собрал морщины на лбу и быстро смахнул с них капельки пота.

- Тебя как зовут, сестричка? - мягко спросил главреж.

- Галя, - ответила та и залилась краской.

- Когда на Сandomирском плацдарме в меня попал осколок, из боя вынесла такая же, как ты... Дотасила на себе до медсанбата... Спасла жизнь... За ту операцию мне вручили "Красное знамя"... В них определенно скрыта особая сила... верно? - обратился он ко всем присутствующим мужчинам.

Что мы могли ответить?

- Верно! - рявкнули все трое.

Девчушка окончательно растерялась.

Главреж приподнялся, взял исцелительницу под руку и пошел из кабинета. Я подхватил сумку с красным крестом и поплелся за ними. У выхода главный режиссер обернулся:

- Мы еще вернемся к данному вопросу, - он многозначительно показал пальцем на потолок. - У самого.

- Стоит ли, кха-ха? - отозвался Шестопалов. - Забудьте, ну их совсем! Вопрос предлагаю считать закрытым.

- Не-ет, - покачал головой главный режиссер. - Что же теперь с каждым литературным материалом являться на ковер?

- Вовсе не обязательно, - резиновым голосом парировал Гордеев. - Ваш товарищ идейно выдержан... сам проверил... - И заместитель осклабился своим железным ртом.

- Галочка, - в раздевалке мой главный режиссер выглядел бравым, - завтра мы вас встретим оба. Он и я. Захватите подругу, будем рады. - Мне показалось, он попетушину встряхнет седым вихром, подкрутит несуществующие усы, звякнет шпорами и пройдет мимо гардеробщицы вместе с медсестрой в лихой гусарской мазурке.

- У меня институт, - попробовала возразить Галя.

- Галочка, наш вопрос решен у товарища Шестопалова.  
- Я приду, - робко проворковал ангел.  
- Одна? - строго поинтересовался главреж.  
- С сестричкой.  
- Сколько лет?  
- Близнецы...  
- Отлично! - прокукарекал мой главный режиссер.  
- Ты даже не понимаешь, как ловко им ввернул! - веселился он в автобусе. - Ох, бандит! Уголовник! Я смотрю, они с лица спали! - Главреж и думать забыл о сердечном приступе!

Он был в прекрасном состоянии духа.

- Теперь пишущая шантрапа театр верстой... Волокут вместо пьес... мочало! - Не доезжая улицы Дзержинского, - стой! - заорал он шоферу. - Выскочи, купи полбанки, я его должник! - он сунул шоферу деньги и нахлобучил шапку мне на глаза.

- Подожди! - догнал я шофера и добавил свою долю. - Бери две, чтобы потом не бегать.

Тогда с этими покупками было легко и просто.

## 2

Илья преспокойно спал.

Я ворочался на диване и так и сяк, потом накинул рубаху, подсунул подушку под локоть и придвинулся к окну. Под комариный звон стакана о подстаканник я вспомнил, как в разное время мой бывший главреж и худрук ТЮЗа привозили на гастроли в Москву свои театры. Туда перешли они после года работы в Рязани. Вспомнил кипящую толпу у входа, "лишний билетик", переполненные залы. Под занавес аплодисменты сыпались из всех ладоней, и цветы до начала покупали зрители, а не унылые администраторы, поднимающие любой ценой собственный престиж. Московский зритель многое перевидел, он сразу отличает настоящее от подделки.

**А Рязань...**

**Что - Рязань?**

Стоит себе и будет стоять - хранить накопленный со времен генерал-губернаторства Салтыкова-Щедрина опыт. Слава Богу, не одними театрами жив город.

Местных писателей последнее время что-то не слышать.

Зато ретивые москвичи, увенчанные сединой, славой и наградами, решают на рязанском "плацдарме" развернуть второй "Сталинград". Они ловко пристроились к перестройке и под разными предлогами перестраивают литературу под себя. (В столице их печатают мало и через силу, а здесь, в благодатном краю...) Против кого они откапывают "окопы полного профиля", известно еще со сталинских времен. В свое время Михаил Шолохов заклеил в "Комсомольской правде" евреев-литераторов, скрытых под русскими псевдонимами. Ну, скрылись и - ладно. Так нет же: работают на порядок выше их, носящих свои собственные фамилии! Не-ет, будь жив - даже не Сталин, а хотя бы Михаил Андреевич Суслов, каждый сверчок знал бы свой шесток!..

Поезд замедлил ход.

Отсветы огней незнакомой станции забродили по стенкам купе, отразились в зеркале. Состав с минуту постоял и рывком подался вперед. Под полом послышался лязг и стук, вагон поплыл дальше, навстречу неизвестным полустанкам и городам, где так и не удастся побывать. Но если раньше за названиями многих скрывалась некая тайна, теперь и загадок почти не осталось. В черном морозном тумане скрывался завтрашний день, изученный мной почти наизусть.

Тоскливые улицы, бабы в ватниках и сапогах со связанными ремнем кошелками через плечо, заплеванная и ободранная пригородная электричка, пузырьки из-под "лесной воды" в мусорной корзине театрального туалета, цыганские дети, кланчащие мелочь на лестнице в центральном универмаге, пирожки с ливером, которые таскает алюминиевой вилкой хмельной и небритый тип в белой

рванной куртке поверх пальто, нелепый памятник вождю посреди сквера, а за его спиной Обком и облисполком с обязательными ненужными колоннами, бегущий мимо трамвай с дребезжащими стеклами, пустые прилавки в магазинах и дороговизна в павильонах рынка... И вдруг неожиданная столичная афиша со знакомыми фамилиями и грамматическими ошибками и над всем - диктат одного человека: первого секретаря. Его мнение единственно правильное, окончательное в городе и никаким обжалованиям в местных инстанциях не подлежит. Да и не к кому апеллировать: обком один, газета одна, на телестудии тоже подневольные люди. Не угодил - вывернут руки и вышвырнут за дверь. Сумеешь - встанешь, не сумеешь - так и сдохнешь в стороне от главных событий. Спасибо, если пенсию выслужил...

Утром нас встретил молодой замдиректора.

Он сразу понял, что мы - это мы, а не еще кто-то, проворно подхватил сумку с продуктами, забросил за спину пакет с пятью сотнями пельменей и повел нас на привокзальную площадь.

Площадь можно было назвать и Центральной и Театральной, но она именовалась торжественно и строго площадью Павших борцов. Гостиница стояла в противоположном ее конце, торцом к ней расположилось здание универмага, из подвалов которого 31 января 1943 года вышел сдаваться в плен генерал-фельдмаршал Паулюс.

Пока мы с маэстро приводили себя в боевой настрой, замдиректора ловко приладил пельмени за форточку - так, чтобы это "счастье" не грохнуло случайному прохожему на голову. Мы сложили в "дипломат" экземпляр пьесы, пачку нот с партитурой и клавиром и двинулись навстречу главной цели приезда. В необычном качестве автора музыкальной комедии я чувствовал себя не совсем удобно - такое случилось в первый и, надо полагать, в последний раз. Именно потому в потрепанном театральном автобусе я бойко заявил присутствующим:

- Оперетта - жизнь моя!

Пан композитор не разделял моего веселья.

- Худсовет покажет, - мрачно отозвался он.

Демонстрировать наш "опус" мы наловчились: показывали его несколько раз редакторше, показывали на расширенной коллегии Министерства культуры, показывали главному режиссеру, пригласившему нас в город-герой. Но в театре при таком стечении актеров, музыкантов, дирекции и даже нескольких танцовщиц - м-да...

Но все сошло удачно.

Незнакомые люди оказались вполне дружелюбными. Они окружили меня и маэстро плотным кольцом, наговорили дополнительных после официальных выступлений комплиментов - мною абсолютно не заслуженных и честно заработанных Ильей, и выразили главному режиссеру свою готовность приступить к репетициям хоть сейчас. Пожилой главреж тоже ощущал душевный подъем: как-никак именно он отыскивал московских авторов!

Что касается "хоть сейчас", то на этот отрезок времени созрели совсем иные планы. Мы вышли из театра и немедленно приступили к их реализации.

Когда непостижимым образом стараниями того же замдиректора в гостиничных условиях была сварена первая порция пельменей и когда их оценили по трехбальной системе - "плохо", "хорошо" и "отлично" - на "очень здорово!" (это гораздо выше оценки нашей музыкальной комедии), разговор соскочил с темы недавнего показа и словно мячик с тротуара запрыгал-покатился к московским новостям.

Главный режиссер, директор, замдиректора:

- ...как там, в столице?

Действительно, как?

По-разному. Кого что интересует.

Если бы нас пригласил драматический театр, тут бы я развернулся и оставил композитора далеко позади. Но мы попали в гости в театр музыкальный. Жанр хоть и родственный, и все же солировать предстояло Илье. Он - Лауреат госпремии, звучит по радио, с экрана - маэстро, прошу!



Его можно было и не просить.

За обедом Илья был остроумен, изящен, тонок, философичен. (Впрочем, как всегда.)

Пока Илья дирижировал беседой, я тихонько вышел в соседнюю комнату и набрал номер телефона старшей из двух моих тетушек.

- Ну, - спросила тетя Аня низким, почти мужским голосом, - вас можно поздравить?

Да, поздравить можно. А с чем? Сыграют премьеру - тогда... Но я не стал омрачать праздничный настрой и пустился в описание подробностей:

- ...Аркадий Райкин был я, мне пришлось исполнить все роли. Илья был Магомаевым и Синявской: он пел арии, дуэты, хоры и, если бы не сидел за роялем, исполнил бы и балетные номера. Но ему надо было нажимать то на белые, то на черные клавиши, а внизу еще давить на педаль, так что... Кстати, труппе больше всего именно это и понравилось.

- Мы с Маней ждем вас завтра к обеду, - заявила тетушка.

Я бодро ответил: - Будем! - и повесил трубку.

На следующий день многострадальный театральный автобус перетащил нас из одного конца города в другой.

Тетки были рады.

Они накрыли праздничный стол, надели нарядные платья, сели рядышком, нас посадили напротив и с явным удовольствием выслушали детальный до мелочей рассказ про то, как Илья пел, а я читал по ролям. (Я постарался изобразить главного режиссера, директора и даже за танцовщиц в коротких юбочках. Особенно удачно получился у меня завлит. Ну, почему в домашней обстановке мы - таланты, а там, где необходимо, - увы?!)

Тетушки при обычном своем скептицизме не могли не порадоваться за племянника.

Во-первых, в городе их юности и нежной любви Одессе уже год шла моя пьеса. Увидеть ее старушенциям не было никакой возможности. А теперь появлялся шанс попасть

на премьеру здесь, в Волгограде. И во-вторых... Любопытно: мой друг композитор... не сын ли знаменитого выходца из компании одесских писателей-классиков? Илья привычно и буднично разъяснил: он племянник. (Два племянника за одним столом - вот совпадение!) Но сын не менее знаменитого его младшего брата - тоже классика и тоже одессита, одного из соавторов двух сатирических романов о герое-проходимце, охотнике за богатством. Илья и назван в честь рано умершего отцовского друга Ильей. (Сам отец погиб во время войны. Он летел из осажденного Севастополя, за их "дугласом" погнались "мессеры". Уйти не сумели, врезались в курган в донской степи... Там и лежат - экипаж и пассажиры.)

Теткам нравилось, как мой друг непринужденно обращался к ним по имени-отчеству и, будучи знаком с ними всего час, не путал одну с другой.

Илья рассказывал о частых наездах в Одессу, о картинах - их около двадцати - снятых Одесской киностудией с его музыкой, о дяде Вале, скучающем по родному городу, но из-за преклонного возраста и здоровья сидящем на даче в Переделкино. Словом, опять солировал. И пусть. Корни его настолько уходят вглубь и расползаются вширь по черноморскому побережью, что он вправе считать себя настоящим одесситом.

А я... Что я? Разве можно сравнивать?

Тетки были просто счастливы.

Да, теперь, к сожалению, были...

Я их любил. Особенно старшую, тетю Аню.

Внешне мало похожие, они имели разные характеры и разные привычки, но общее угадывалось легко, особенно когда они спорили и ни за что друг с дружкой не соглашались.

Пока текла светская беседа с паном композитором, я по московской привычке из соседней комнаты накрутил еще один волгоградский телефон.

- Петр Иванович?

- Да, я.

- Здорово, старый хрен.
- Простите, не понял.
- Да где уж!.. - я назвался.
- О-о! - заворковали в трубке. - Здорово! Ты откуда?
- От первого шлюза с Заканальной улицы.
- Не может быть! Когда объявишься?
- Часа через полтора.
- Жду!

На обратном пути мы с мазстро разделились. Он отправился в музыкальный театр, я соответственно - в драматический.

- Слушай, - спросил я у водителя автобуса на подъезде к площади Павших борцов, - почему на машинах по-разному обозначены номера: "ВГ" на одних и "СТ" на других?

Театральный шофер, молодой парень в зеленой армейской куртке с сероголубым воротником помялся и вытащил из кожаного мешочка с документами подретушированный портрет Сталина. Он приладил его на лобовом стекле и оглянулся: дошло до москвичей или нет?

- У нас многие за прежнее название - за "Сталинград". А что? При Сталине хоть порядок был, битва тоже называлась Сталинградской...

Я промолчал. А что ответишь, если прожил дольше и знаешь больше?

В театре имени Горького главрежствовал мой приятель, соученик по ГИТИСу. Он встретил меня на проходной, обнял и потащил в свой кабинет.

- Рад, очень рад! - приговаривал он. - Уже в курсе... Вашу комедию все хвалят.

Кабинет был не просто большой, а многокомнатный, со всеми удобствами. В нем вполне можно было бы жить семейно. На стене висел остекленный портрет мастера, у которого с отличием закончил режиссерский факультет руководитель театра, на столе как бы нечаянно лежала книга "Уроки режиссуры" с дарственной надписью и наилучшими пожеланиями. Мастер поглядывал на своего ученика с лукавым прищуром. На портрете он был уже с бо-

родой, но еще без геройской звезды. (Мой мастер книги надписывать не любил, хоть и выпустил их несметное количество, да и меня не жаловал.) Но его, Петин, мастер был жив, возглавлял академический театр, купался в славе. Он не только по улицам, даже на отдыхе на пляжном топчане был всегда окружен смотрящими в рот учениками, он не просто говорил - изрекал. Мастер, очевидно, сделал эпитафией своей жизни строки Пастернака из стихотворения "Мейерхольдам": "...Если даже вы в это выгались, ваша правда, так надо играть..."

- Иди сюда, - не унимался Петя, - смотри. Узнаешь?

Я растерялся.

Макет действительно был интересный, но - к какой пьесе?!

- Когда меня будешь ставить? - потянул я время.

Пете хотелось, чтобы я отгадал. Неожиданно я вспомнил афишу на площади: "Готовится к постановке..."

- Эт-то, пожалуй... Шукшин, "Я пришел дать вам волю"!

- А ты не меняешься, - похвалил меня Петя.

Сам он заметно огрузнел, казацьи усы его поседели, но по-прежнему он охотно и открыто смеялся и вообще держался молодцом, как и подобало заслуженному деятелю искусств, лауреату премии имени А. А. Попова.

В дверь осторожно постучали.

- Петр Иванович, разрешите?

- Заходи.

Вошла эффектная элегантная женщина, вежливо поздоровалась.

- Знакомься, моя жена.

- Очень приятно.

(Давненько при мне жена своего мужа не величала "на вы"!)

Супруга главного режиссера принесла ему термос с горячим бульоном, пакет с бутербродами. Петя поставил термос на журнальный столик, еду спрятал в холодильник, а жену выводил: извини, занят.

Мы покалякали о том, о сем, ни о чем и обо всем.

Мы спустились в зрительный зал, постояли на сцене, прогулялись по фойе. На сцене стояла готовая декорация, ни рабочих, ни реквизиторов не было, по центру торчал столик с дежурным светом.

- Послушай. Мы так и будем... ходить? Идем куда-нибудь посидим.

- Дело говоришь, - отозвался Петя.

Он привел меня в кафе неподалеку от театра, но я запротестовал: грязные столы, люди в пальто, рожи несвежие - нет, в гостинице куда приличнее.

Мы пересекли площадь, поднялись в номер, я по телефону заказал столик и через несколько минут мы сидели за чистой скатертью.

- На твои спектакли ходят?

Петр с тоской посмотрел на толстую официантку, плывущую к нам словно баркентина, и уткнулся в меню.

Мы сделали заказ, "баркентина" взяла курс на буфет, я повторил свой вопрос.

Пете не хотелось продолжать разговор.

- Я держусь здесь дольше всех - двенадцать лет. Худобедно, а дело существовало. Сначала я был и директором, и главным, а потом... В двух ипостасях тебя долго не вытерпят. - Он вздохнул, оглядел просторный зал и тупым концом ножа принялся выводить узор на скатерти. - И понеслось... То ему одно не так, то другое... Оно бы и ладно: не у всех директор - профессионал, не все главрежи вместе с директорами тянут упряжку... Но у нас в городе многие друг другу родственники: тот женат на племяннице секретаря горкома, этот ездит на рыбалку с зампредом облисполкома, финская баня - тоже своя компаньша, а та актерка и вовсе... с кем только не спала... М-да...

Возвратилась "баркентина" с подносом. Петя замолчал.

- Сегодня мы с тобой случайно, - продолжил он, когда "парусное судно" медленно отвалило в глубины зала. - В театре был назначен бенефис. Пожилая крепкая актриса... Из моих. Директорские взвились: за что такая честь? Не-

долго думая... В общем... Директор пустил билеты на кассу, купили пять или три... Вот тебе и ответ на вопрос... У нас если не предприятия, в зале шаром кати... Город растянут по берегу на сто верст, в центре населения немного... - Он поковырял вилкой в салате, чокнулся со мной, однако пить не стал. - Задумал я покончить со склокой и записался на прием к первому. Но разве утаишь? Конечно, меня опередили! Вызывают. Я и рта не успеваю раскрыть, а первый мне с улыбкой: "У нас к вам предложение. Вот вам пьеса. Читайте. Поставите, посылаем документы на народного республики. Театру поддержка на всех уровнях..." Вышел из кабинета, смотрю - Анатолий Софронов! Ну мать-перемать!.. Пока добрал до театра, сообразил: они же близкие друзья! Мои тут же донесли: Герой Соцтруда чуть не каждый день звонит Первому насчет нового "шедевра", и тот ему пообещал... Хоть бы отдал в театр - так нет, в обком!..

Официантка принесла некое "горячее". В тарелке в основном был рис, в остальном несколько кусочков мяса. Я хотел отпустить по адресу кухни нечто язвительно-ироничное, однако печально обвисшие усы моего приятеля удержали меня от шуток.

- Так что же?

- Отказался.

- Дурак.

- Возможно.

- Спорить с ними все равно что против ветра... чихать! Извини, конечно. На днях собираюсь в Москву для переустройства... А как прикажешь? Ставить? Потом всю жизнь пальцем будучи тыкать...

- Вызвал бы на месяц крупнейшего "софрониста" страны...

- Кого же?

- ...главрежа театра Гоголя, он тебе бы "навалял"... На этот период подлечил бы давление и заодно передохнул от суеты. Смотришь, и пьеса в репертуаре, и сам ни при чем. На звание послали бы...

- Легко со стороны...

- В общем и я поступил бы точно так же...

Конечно, ему помогут с переходом - и сомневаться нечего. Да и поездка в Москву в радость, а не в тягость.

Долгие годы на одной из ключевых должностей в Управлении театров состояла некая дама.

В Министерстве ее старались избегать, пореже встречаться в коридорах, садиться подальше на бесконечных и бесполезных заседаниях, летучках, совещаниях, не говоря уже о чьих-то юбилеях или поминках.

Дама эта служила не только Мельпомене.

И пусть за семью печатями и сорока запретами хранилась главная тайна маленькой, с ледяными зелеными глазками и распущенными до плеч волосами коротконогой женщины, ничего нет тайного, что бы не стало явным. Через женщину эту, прозванную сослуживцами Малюткой Скуратовой, осуществлялась надежная связь между учреждением в Китайском проезде (там расположено Министерство культуры РСФСР) и другим суровым заведением, расположенном совсем рядом - на площади Дзержинского, а проще - с "Лубянкой". Министерская дама в юные годы прошла "стажировку" в так называемых "тройках", которые единолично решали - кому жить, а кому и голову сложить, и там дама полюбила власть. Кто знает, как именно поощрялась ее служба в органах, но в Управлении театров она чувствовала себя полной хозяйкой. Она запросто входила в кабинеты замминистров российской культуры, без робости звонила в крайкомы и обкомы - от нее зависело назначение и перемещение главных режиссеров и директоров в областных и городских театрах. На репертуарных совещаниях в узком (и чуть пошире) кругу Малютка Скуратова "советовала" сосватанным ею руководителям творческих коллективов то ставить, это - нет, с тем подождать, а вот о том - совсем и навсегда забыть.

В тонкости ведения театрального дела Малютка Скуратова почти не вникала - зачем? Ее авторитет строился на

другом: на феноменальной памяти анкетных и личностных данных каждого из нас. Не голова, а компьютер. Как она умудрялась запомнить имена-отчества работающих в ее ведении режиссеров и директоров, не знаю. Она знала. Знала всё - за кем какие грехи числятся, с кого какие сняты. Это сразу возвращало строптивых к прозе жизни и на глазах превращало требователей в просителей.

Так формировались группы "своих" и "не своих".

Петя был "свой". У него возникла легкая семейная дружба с министерской дамой, жена петина в ее кабинет без подарка не входила, и это было взаимоприятно.

Большинство "своих" носит почетные звания, их жены (мужья) тоже не обойдены вниманием, они засели в крупных театральных городах и некоторые даже умудрились издать на местах свои мемуары. (Книги этих деятелей о самих себе ценности не представляют, однако в специальных театральных магазинах стоят на полках до сих пор и терпеливо ждут своих читателей.)

Но время постепенно превращает среднее поколение в старшее. Младшее, переходящее в среднее, в "подарочную политику" втянуться не успело. Оно предпочитает скандальные инсценировки готовым пьесам, шум и треск в собственном городе, гастроль в Москве, в Ленинграде, любой ценой утвердиться и заработать право на очередную собственную "пьесу по мотивам" и получить за это очередной гонорар.

С уходом на пенсию Малютки Скуратовой по пятому этажу Министерства культуры пронесся вздох облегчения. Да что там вздох - стон! В ее бывший кабинет моментально перетаскивали из других кабинетов шкафы и столы, забили углы изданными и неизданными пьесами, завалили подоконник циркулярами и распоряжениями - лишь бы она, используя свои многолетние высокие и прочные связи, не вздумала возвратиться. В Управлении театров даже сократили штат - только бы не оставить для нее лазейки. Такая осталась память об этом "ценном специалисте".

Во время нашего разговора за ресторанным столиком



мой соученик по режиссерскому факультету был относительно спокоен: ему безработица не грозила.

Эх, если бы в тот момент к нам случайно подсел астролог! Он бы спрогнозировал Петину судьбу, и приятель мой поостерегся бы стучать в заветную дверь министерского кабинета. (В темной науке астрологии важно иметь светлые мысли. Звезды точно предскажут, делать ли следующий шаг или затаиться и помалкивать до поры. В книге Бытия в главе 49 Иаков перед смертью призывает двенадцать своих сыновей и говорит:

- Я возвещу вам, что случится с вами в последствии времен...

Здорово повезло тем двенадцати!)

Не без помощи министерской дамы Петя перебрался из одного города-героя в другой не менее героический город. Казалось бы, живи да радуйся, новое место работы всего в трех с небольшим часах езды от Москвы. Но - нет! Петя слишком недооценил работников партаппарата. Один секретарь набрал телефон другого и дал "объективку" на рекомендованного Министерством главрежа. Звякнул и сразу ограничил срок его пребывания в новых стенах. Приемчик старый, отработанный, ему сто лет в обед, не стоит удивляться. Но обкомовцы оказались новаторами и изобретателями.

Пока мой соученик по режиссерскому факультету окочивал министерские пороги, в газете "Советская Россия" в двух номерах появилась огромная статья с продолжением, где ушедшего из Волгограда постановщика разбирали на сомножители, били не только по усам, но и ниже пояса. Действует безотказно. Когда Петю ввели в репетиционный зал для представления труппе, весь творческий состав зашелестел экземплярами газеты и закрылся "разоблачительным" материалом от вновь назначенного главрежа.

В общем спектакли могут быть лучше или хуже, могут быть, а могут и вовсе не быть - не в них, оказывается, счастье. И в Москве, бывает, досидишь до антракта: открылся занавес, и сразу ясно - все не то и не так...

Из второго города-героя Петя вынужден был "демонстрироваться" через несколько месяцев.

Но Бог шельму метит.

Спустя пару лет наступили перемены и в Волгоградской театральной жизни. Впервые в практике за творческой непригодностью коллектив театра имени Горького был распущен, а сам театр закрыт до лучших времен. Устали люди, изверились, вызверились - какое уж тут творчество! Помитинговать, произнести на собрании бурную речь, проголосовать "за" или "против" и разбежаться по домам - вот цель и самоцель. А репетировать, гримироваться и выходить на сцену - нет уж, увольте! Вот и уволили целый театр. Жаль, что один: достойных очень много! Я бы назвал, да не прислушаются...

Перед отъездом из "крепости на Волге" я позвонил тетушкам. Тетя Аня радостно сообщила:

- В газете публикация о вас!

- Не может быть.

- Да! - обрадовалась тетя Аня. - Позвони Мане, она подтвердит! Мы вырежем и пришлем тебе!

Действительно, вырезали, прислали.

Эх, тетушки-тетушки! Они до конца дней гордились своим непутевым племянником. Племянничек не баловал их письмами, предпочитал трех-пятиминутный телефонный звонок. А для старушек был настоящий праздник, если почтальон приносил бандероль из Москвы, а в свертке, перевязанном бечевкой, оказывалась программка пошедшей пьесы с изданным ВААПом экземпляром. (Бывало и такое. Редко, но факт.) Представляю, как тетя Маня спешила к тете Ане, старухи садились на просторной кухне за традиционно некрепкий чай и от восторгов постепенно переходили к обязательным спорам о достоинствах пьесы и недостатках племянника. Было бы о чем спорить...

Обратно мы возвращались не в шикарном СВ, а в обыкновенном купейном вагоне. Ну ничего, обратный путь всегда короче.

Нашими попутчицами оказались две симпатичные инженеры. Они признались, что приезжали сюда в третий раз и опять не успели в Мемориал. (Нам с Ильей показали и дом Павлова, и Вечный огонь, и мы, несмотря на жесткий морозный ветер, наблюдали смену караула без шапок...)

Нам стало интересно, какая уж такая у них работа, чтобы - с завода в гостиницу, из гостиницы на завод? Инженеры рассказали коротко и весело про комплектующие детали, про внедрение, необходимое больше Москве, чем местному заводу... Мы выставили на столик то, что сумели "зацепить" в гостиничном буфете и окрестных магазинах. Соседи оказались предусмотрительнее. Пока состав несколько раз объехал Мемориал, и Родина-мать погрозила и так и эдак мечом - ведите, мол, себя в вагоне достойно и не приставайте к женщинам, инженеры добавили свои столичные припасы, я вскрыл банки с горькими рыбными консервами - других в местной природе не существует - и мы приступили к скромному дорожному пиру. Естественно, ни в какое сравнение с московским отъездом отъезд из города-героя не шел...

В два часа ночи я вскочил.

Я не сразу понял, где нахожусь. Огни полустанков вспышками озаряли купе. Под вагонами стучало так, будто черти с азартом толкли в ступе адское зелье. Неожиданно с ревом промчал товарный поезд. Я сжал виски кулаками. Пот лил с меня дождем, я вытер физиономию полотенцем, оно намочило и для умывания не годилось.

Я огляделся.

Одна инженерша укрылась с головой и похрапывала на верхней полке. Напротив преспокойно спал Илья. Другая инженерша во сне крепко держалась за край стола. Не открывая глаз, она вдруг протянула руку и вытащила ложку из стакана - при торможении ложка звонила как будильник.

Я оделся и вышел в пустой коридор.

Вагон спал.

Страшный сон не оставлял меня. Мне привиделась Малютка Скуратова. Она сидела в обнимку с бывшим замминистра и здоровилой-отставником. Все трое не то пели, не то молились. Старая и прочная скамья подсудимых при раскачивании жалко скрипела. Широкое, отполированное бесконечным ерзанием обвиняемых сидение могло вместить еще несколько соучастников. Стоило прокурору кого-нибудь вызвать, милиционеры тут же хватали виновного, выворачивали ему руки и втаскивали в зал. Судью я не рассмотрел, но народными заседателями почему-то оказались мои тетушки.

Я был сжат орущей толпой.

Из толпы Малютке грозили, самые резвые порывались перелезть через барьер и "отметелить" всю троицу, но люди в синих погонах ни свидетелей, ни пострадавших к скамье подсудимых не подпускали и довольно грубо запикивали ретивых в общую кучу...

Я прислонился лбом к холодному стеклу.

В черном ночном окне корчили рожи соседи Скуратовой - бывший замминистра и отставник-генерал.

- Кха-ха, - повторял один и хлопал другого по плечу.

- Та-ак, - тянул второй. Он поглядывал на луну и сличал с ее незакрытыми тучами обломком свой разбитый циферблат. При этом он гнусно улыбался, металлические зубы его матово покрывал иней.

Я оглянулся.

На купе появились министерские таблички: "Начальник Управления театров", "Заместитель Начальника Управления", "Главный инспектор", "Старший инспектор"...

По ковровой дорожке навстречу мне своей гусиной походкой шла Малютка Скуратова. Она дергала дверные ручки, стучала, иногда просовывала в щель голову и настойчиво повторяла:

- Все ко мне на совещание!

За ней плелся долговязый нескладный малый. Он испуганно тарашил рыбы глаза и на каждую реплику начальницы кивал головой:

- Прошу на совещание! На совещание прошу!

Министерская дама подошла ко мне, назвала по имени-отчеству и строго спросила:

- А к вам это не относится?

- Нет! - закричал я и не услышал своего голоса. - Нет!

- Разбудите спящих, - коротко приказала она.

И в ту же минуту в коридоре появились главные режиссеры и директора из Тюмени, из Рязани, из Вологды, из Краснодара, Мурманска, Владивостока, Ачинска, Калинина, Кемерова, Тамбова, Омска, Томска... Некоторые стыдливо совали конверты, сувениры... А этот смело: главный из Тольятти приложился к начальственной ручке и в виде презента надел ей на шею новенькую покрывку для "шестерки" "Жигулей".

Малютка Скуратова помнила всех - и мертвых, и живых.

Она стояла возле остывающего титана и пропускала в "служебку", где ночуют проводники, сперва народных артистов Российской Федерации, потом заслуженных, а потом остальных. При этом она выговаривала каждому в отдельности и всем вместе:

- Нельзя опаздывать, ни в коем случае нельзя!

Унылый долговязый тип вторил за ее спиной:

- Ведь вас предупредили... А вы - опять...

Я замыкал шествие.

Перед самым моим носом начальница громко захлопнула дверь...

В слезах я рухнул с бокового сиденья. Оно грохнуло о стенку вагона. От его пушечного выстрела я снова проснулся. До самой Москвы заснуть я уже не мог.

В Москве потеплело.

С крыш капало, из водосточных труб с шумом вываливались оттаявшие куски льда.

На Казанском вокзале стоял привычный гвалт, сновали носильщики, торчали возле табло встречающие, хрипело

радио. Между шпалами на пустых путях сустились грудастые вороны. Они собирали яичную скорлупу и апельсиновые корки. На перроне приставали к недавним пассажирам цыганки...

Мы спустились в метро и разошлись каждый в свою сторону.

Дома меня ждал пес. Я надел ему ошейник, подцепил поводок и ушел с благодатной зверюгой шлаться по лужам.

Было это не так уж давно, и все же...

Теперь наступила другая эпоха.

В чем-то она лучше старой, а в чем-то и нет. Все считают - теперь стало хорошо. Так хорошо, что лучше бы и не надо.

Никто не думает про "потом". Как будто так и будет: потом хоть суп с котом!

Ну, если так, зачем лично мне беспокоиться?

А может быть, по секрету все-таки сходить к астрологам? Что-то они скажут? Что посоветуют?



**В. Ю. СОФРОНОВ**

## **Когда наследство не в радость**

### *У истоков сибирской культуры*

...Приятно осознавать себя "венцом природы", человеком, нимало в оправдание тому сил не прикладывая. Приятно осознавать себя наследником гигантских культурных богатств, не пытаюсь богатства те преумножить. Наследником всегда быть приятно. Приятно ощущать за собой вековые традиции наших предков и называть себя не только человеком прямоходящим, но еще и человеком культурным. Хотя наши предки как раз были в этом отношении людьми более щепетильными и в калашный ряд со всякой там физиономией не совались. Да и культурным человеком (а в то стародавнее время подобная прерогатива и звания разрешались лишь дворянскому сословию) каждый купец назвать себя не мог, будь он хоть трижды грамотный и отдавай театрам или операм все свое время и наличность. Но надо сказать, что и купцы тогда тоже были разными, неоднозначными.

Возьмем тех же тобольских купцов Корнильевых, предков Дмитрия Ивановича Менделеева, чья фамилия куда более известна нашему современнику, нежели его хорошо забытых родственников.

### *Загадки рода Корнильевых*

Итак, в 1749 г. купцам Корнильевым "была выдана привилегия от Мануфактур коллегии на основание при селе Аремзянском в 25 верстах от Тобольска стекольной

фабрики". Основали. Начали производить "посуду разного размера и калибру". Попросили разрешения завести на речке Суклёмке бумажную фабрику. Разрешили. Завели и стали производить для нужд тоболяков разную бумагу с собственными водяными знаками "ВК" - "Василий Корнильев", значит личное клеймо, предвосхищая будущую госприемку. Имели при тех мануфактурах до сотни людей крепостных, приписных, крестьян. Ходили в купцах I-й гильдии. Капиталу до шести тысяч на ежегодных ревизиях показывали. Не гнушались заниматься винокурением и хлебными откупами - госпоставками, по-нашему. Купец есть купец и его дело о приумножении собственного капитала заботиться. И вдруг... через год после вступления в должность гражданского губернатора Тобольска статского советника Алябьева Александра Васильевича происходит гигантский пожар, 1788 год, спаливший 90% всех городских строений. Пострадали ли Корнильевы? Конечно, как и все тоболяки. Но не об этом речь. Жертвуют они неожиданно городу, а точнее самому Алябьеву, под губернское правление свое двухэтажное каменное здание. Алябьев с благодарностью тот дар принял и благополучно в корнильевский дом переехал, а на другой год, в 1789, открывает там что бы вы думали? Еще одно административное учреждение, как наверняка бы поступил любой из нынешних администраторов? Нет! Он открывает в корнильевском доме первое регулярное в Сибири учебное гражданское заведение - Главное народное Училище.

*Загадка первая.* Зачем понадобилось преуспевающим купцам дарить собственный дом гражданским властям? Кстати, никаких документов на этот счет, то есть дарственной или купчей, не сохранилось. Тут можно предположить и материальные затруднения купцов-фабрикантов, и наличие другого дома, и личные взаимоотношения с Алябьевым, и просто нравственно-гражданскую заинтересованность. Так почему-то хочется, чтоб было именно последнее!



*Загадка вторая.* Но это далеко не всё, связанное с династией Корнильевых. В 1789 году 5 апреля они открывают не какой-то там заводик или фабрику, а... типографию! Представьте себе, что завтра кто-то из кооператоров займется не продажей шашлыков или столь нам всем необходимых "бананов", а начнет издавать переведенные с английского книги или ежемесячный журнал? А именно такую "продукцию" принялись выпускать тобольские первопечатники Корнильевы. Впервые в Сибири начала действовать вольная типография. Для Москвы и С.-Петербурга это была вещь обычная, и занимались издательским делом всё больше аристократы-дворяне. Но для Тобольска это было событием, рубежом, с которого началось как бы новое летоисчисление культурной жизни.

Не надо забывать, что на престоле находилась самая просвещенная из семьи Романовых Екатерина II, которая всячески приветствовала любые "культурные мероприятия" со стороны своих подданных, если они соответствовали ее царственному пониманию "гласности и дозволенности". Печально закончившие свою издательскую деятельность Новиков и Радищев - наглядный тому пример. Алябьев же приехал на тобольское губернаторство с явным планом культурной перестройки края, согласовав его с царственной покровительницей муз. Иначе и быть не могло. И то подтверждает почти одновременное открытие трех столпов просвещения: училища, типографии и театра. Но почему выбор пал именно на Корнильевых? Были купцы побогаче и позаслуженнее, те же Кремлёвы, Ершовы, Худяковы. Не верится, что купили Корнильевы типографию, как говорится, "по случаю", на ярмарке - и давай книги печатать. Не те люди были, судя по всему, сперва семь, а то и больше раз отмерят и лишь потом отрежут. Может, заслуги предыдущие и сыграли свою роль? Вы нам здание - мы вам типографию, и в расчете. Может, наличие бумажной суклемской фабрики как-то сказалось? Бумага, доскать, своя, вам и карты в руки. Но бумаги, оказывается, и в то время не хватало и продать ее чистую, как уви-

дим ниже, было гораздо проще, чем в виде отпечатанной книги. Одним словом, неясно нынешним исследователям, почему именно купцы Корнильевы оказались у истоков сибирского книгопечатания. Это можно назвать их второй семейной тайной.

*Загадка третья.* Теперь подумаем, кому, кроме самих купцов, нужна была типография в Тобольске. Как говорят юристы: "кому выгодно". Губернатору? Да. Но многочисленные его предшественники великолепно обходились и без нее. Да и вообще, лишние хлопоты, сами знаете, чем заканчиваются. К одной из самых заинтересованных сторон можно отнести духовенство. Его роль в российском просвещении вообще неопределима. Благодаря духовенству большая часть русских крестьян была обучена грамоте за счет церковно-приходских школ, состоящих при храмах, разбросанных по всем уголкам необъятной страны. И кому, как не сибирским пастырям, ратовать о книгопечатании и распространении слова печатного. Тем более пост сибирского архиерея занимал человек отнюдь не случайный, а по воспоминаниям современников личность яркая и незаурядная - Варлаам Петров, пребывавший на этом посту с 1768 по 1802 годы. За годы его правления число деяний сибирского архипастыря могло составить честь любому архитектору с мировым именем или градоначальнику. Вот лишь некоторые из них: строительство архиерейского дома на три этажа, консистории, открытие Ивановского монастыря, церкви Семи отроков на кладбище, каменного госпиталя у вала и наконец мужского Абалакского монастыря. Впечатляет, не правда ли? Такой человек не мог остаться в стороне от такого события, как открытие типографии. Более того, на одной из книг, хранящихся в тобольском музее-заповеднике, изданной в корнильевской типографии, имеется его дарственная надпись в дар тобольской семинарии. Но... Почему бы тобольской епархии самой не открыть собственную типографию? Никаких документов или даже упоминаний об этом факте не имеется. И судя по всему, ее не существовало.

*Очередная загадка.* Но пойдем дальше. У Варлаама в С.-Петербурге находился родной брат - Гавриил, который был митрополитом С.-Петербургским и ректором Александро-Невской духовной семинарии, лицо в столице не последнее. Они поддерживали связь друг с другом, переписывались, обменивались местными новостями: один столичными, другой сибирскими. В петербургской семинарии учились выпускники из тобольской семинарии, повышая свой уровень. Варлаам наверняка был в курсе главных событий столичной жизни. И не мог пройти мимо него факт закрытия вольных типографий издателя Новикова. Может быть, не просто совпадение, что через год после закрытия царским указом тех, новиковских, типографий в Тобольске открывается типография купцов Корнильевых? Опять вопрос, ответ на который может дать лишь недавно найденный документ, дающий основания для подтверждения, что новиковская типография попала к Корнильевским, но это пока лишь догадка, если хотите, - гипотеза. Но в самом деле, ведь не могли же купцы, задумав благое дело книгопечатания, поехать на ту же ирбитскую ярмарку и приобрести там, наряду с рысаками и чугунками, выставленную на прилавок слегка подержанную типографию. А наборщики, а литейщики и переплетчики? Их из числа приписных аремзянских крестьян не возьмешь, хотя русский мужик издавна во всех науках горазд и научиться любому ремеслу способен. Но ведь учить надо! Время не пощадило для нас имен непосредственных исполнителей процесса книгопечатания. Ни в одном документе пока не найдено их имен. Были то привозные иноземцы или всё те же мастера на все руки из крестьян стояли у печатных станков - неизвестно.

Корнильевы не ограничились только издательским делом. Они взвалили на себя еще и издание ежемесячного журнала с весьма звучным названием "Иртыш, превращающийся в Ипокрену", одним из редакторов которого и составителем был Дмитрий Васильевич Корнильев. Напрашивается вопрос, что козь возник подобный журнал, а он

был преимущественно литературным, то следовательно в городе были литературные силы, пожелавшие участвовать в публикации собственных произведений. Да, были. Тобольск стал к тому времени не только местом ссылки, но и культурным центром Сибири (чего сейчас о нем никак не скажешь). Не будем перечислять авторов, предоставивших свои стихи и прозу для печати в местном издании - желающие легко сделают это, открыв журнал в стенах библиотеки тобольского музея. Не будем сравнивать его с нынешней официальной тобольской газетой, которая вопреки желанию наших первопечатников отнюдь не спешит превращаться в источник вдохновения для всех испивших из нее пиитов (а именно таков смысл второй части названия журнала), от этого она не превратится в желаемый источник. Скажем, что корнильевское предприятие закончилось плачевно - согласно указу все той же просвещенной монархии, все вольные типографии велено было закрыть в 1796 году. Закрыли и нашу сибирскую, хотя никаких крамольных мыслей из-под ее станков не вышло. Так, на всякий случай, чтоб никому не обидно.

*Загадка четвертая, почти решенная.* В 1775 году умирает Корнильев-старший Василий Яковлевич. В 1804 г. его сын Дмитрий возобновляет книгопечатание в Тобольске, но не надолго. В 1807 году закрывает совсем. А где все это время находилась типография? Бездействовала, лежала мертвым капиталом? Но у деловых людей того времени так было не принято, тем более, что в конце XVIII в. Корнильевы переходят из I-й гильдии во вторую. Как видим, особых доходов книгопечатание им не принесло. Так где типография? Продана? Сдана в аренду? Тогда кому? Никаких новых изданий в то время по Тобольску не выходило. И вот, занимаясь в тобольском архиве, автор просматривал фонд Приказа Общественного Призрения - общественной организации, в чьем ведении находились гимназии, больницы, приюты, богадельни, - и натолкнулся на интересный документ. В описи Приказного имущества, по случаю прибытия нового губернатора - Богдана Андреевича

Гермеса в 1802 г., наряду с сундуками, зеркалами и пр. казенным имуществом значится типография! А также приобретенные для нее олово, свинец, шрифты, матрицы. Конечно, типография никак не могла быть связана с той, самой первой, корнильевской. Однако надо думать, что в то время по России их насчитывалось не больше нескольких десятков, а ехать приобретать новую, когда под боком находится таковая, просто не имело смысла. И дальше, самое главное дальше! В той же описи читаю: "Книг в переплете: "Иртыш, превращающийся в Ипокренту" по цене - 3 руб. 60 коп., экземпляров - 118 шт. на 432 руб. 80 коп.

Ученая библиотека из 12 частей - 192 шт., на 1008 руб.

Перечисляются годы издания журнала: 1789, 1790, 1791 и даже месяцы нераскупленных журналов. Стоит роспись прапорщика Сухарева. Всё, нашлась типография, на бумаге, конечно. Приказ Общественного Призрения выполнял еще одну немаловажную функцию - он служил ломбардом, т. е. под проценты выдавал деньги за сданные вещи. Таких документов существует множество. Тот же Иван Павлович Менделеев закладывал в приказ свои вещи для получения 400 руб. наличными. Могли так же поступить и Корнильевы с закрытием своей типографии, а заодно сдать и нераспроданные номера журналов. А прогорели они, как явствует из описи, почти на полторы тысячи рублей! Это при общем-то капитале в шесть тысяч! Да, подвели тоболяки своих издателей. Выходит, не нужен был им журнал. Жалко, что мы не знаем тираж журнала - не принято было тогда ставить такие цифры на книгах, неудобным, что ли, считалось. Можно было бы узнать, оправдали купцы свои затраты или нет. Да и не в затратах дело. Тобольск был не готов к переменам в своей культурной жизни. Как это ни прискорбно, но это факт. Лишь значительно позже начался регулярный выпуск "Тобольских губернских ведомостей", а затем "Ежегодника тобольского губернского музея".

*Загадки дня сегодняшнего.* Ну что ж, загадки прошлого остаются для новых исследователей, а мы вернемся в

наше время, пройдем к могиле сибирских первопечатников или к мемориалу, коли таковой имеется, возложим венки, постоим в молчании. Увы, нет ни мемориала, ни могил. Похоронены отец и сын Корнильевы, судя по записи в книге гражданских актов Богоявленской Церкви, были на городском кладбище. Но где? Могила их не известна. Судя по письмам Марии Дмитриевны Менделеевой - дочери Дмитрия Корнильева, она хоронила своего мужа рядом со своими предками, возможно, что так оно и есть. Но не ставить же новый памятник в менделеевской ограде? Уж лучше, действительно, поставить им памятник, барельеф, стелу - пусть решат художники, - но встречать юбилей одними благодарственными речами самой богатой области как-то не к лицу.

Есть напротив старого здания пединститута небольшой скверик, в котором некогда находился бюст прямого потомства первопечатников - Д. И. Менделеева. Администрация института, переехав в новое здание, то ли из сострадания к великому химику, то ли по бедности собственной прихватила тот бюст вместе с сейфами и столами в новое здание. Постамент от бюста у педработников подобной жалости не вызвал и лет эдак пять или больше сиротливо вызвал к тоболякам о сострадании и человеколюбии. В конце концов убрали и его и сделали на том месте то ли малогабаритный бассейн, то ли гигантскую плевательницу. Таблички, сообщающей о предназначении этого резервуара, до сих пор не имеется. Рядом находится подаренное городу Корнильевыми здание.

Может, этот сквер и примет на себя честь быть увековеченным каким-то монументом от благородных потомков к юбилею? А улица имени Розы Люксембург примет их имя? Тем более, что немецкая революционерка, при всем нашем и моем личном к ней уважении, к сибирскому книгопечатанию никакого отношения не имела. Так что, ее память мы как раз не потревожим.

Теперь о самом здании бывшего народного училища, а затем гимназии, ныне поликлиники. На нем уже висят три

доски, которые с большой натяжкой можно назвать мемориальными. Но ни одна из них не упоминает фамилии Корнильевых.

С помощью поднятой на несколько метров автомобильной дороги местные власти приблизили здание к памятникам археологии, так что вскоре его действительно придется раскапывать. Не знаю, какие имеются соображения на этот счет у архитекторов и реставраторов, но туристы, да и многие тоболяки отказываются верить, что именно в этом затрапезном здании, похожем сейчас на что угодно, но только не на Главное Народное училище Сибири, находилась - "альма матер" всех сегодняшних учебных сибирских заведений! Не знаю, что собираются делать с эстакадой дороги, доходящей до окон второго этажа, а, может, начнут поднимать само здание, это дело, повторю еще раз, архитекторов, но оставлять здание в таком жалком виде далее просто нельзя. Были предложения сделать эту мемориальную зону пешеходной вплоть до Базарной площади, но... городским властям виднее, что охранять, а что разрушать. До недавнего времени это была их прерогатива. Не знаю, как с хозяйственной точки зрения, но с идеологической точки зрения не в столь отдаленные времена подобные деяния назывались вредительством. Правда, расхожая фразочка "идеологическая диверсия" отошла постепенно в прошлое, однако идеологическое невежество продолжает оставаться неизменным спутником многих, ой как многих, именно идеологических работников, азартно развешивающих транспаранты: "Даешь перестройку!".

Кто внимательно читал данную статью, тот заметил, что в ней ничего не было сказано о месте размещения типографии. Последнее ее местопребывание находилось, видимо, рядом со зданием Присутственных мест, где находился Приказ Общественного Призрения (позднее - здание рыбопромышленного техникума), а именно в том небольшом здании, где и сейчас находится городская типография. Год назад работники этого достойного заведения при непосредственном наблюдении со стороны журналистов из

"Тобольской правды" - прямых последователей и продолжателей святого дела просвещения народа, - выволакивали во двор какие-то очень старые станки и оборудование, не представлявшее на их профессиональный взгляд никакой ценности. Не смею утверждать, что хоть одно приспособление из выброшенного за ненадобностью оборудования имело хоть отдаленное отношение к прабабушке той, корнильевской, типографии, но... Может кто-то твердо сказать, что это не так? Впрочем, снявши голову, по волосам не плачут - не принято.

А как поживают сами печатные издания? Их-то никто во двор выволакивать и поджигать за ненадобностью не собирается, надеюсь. С ними всё в порядке - покоятся на своих книжных музейных полках и на дом не выдаются. А почему, собственно, не выдать их на руки всем желающим? При всей открытости библиотечных фондов для всех желающих ни места, ни времени не хватает, чтоб даже перелистать их. И нужно ли листать, вообще брать в руки те уникальные экземпляры? Надеюсь, теперь, как двести лет назад, они не залежатся на складе, будут изданы небольшим тиражом. Помните, что было с "Историей государства российского" Карамзина, когда в прошлом году начали ее издание? А тут наша, сибирская история. Однако издать их, сделать общедоступными никто пока не спешит. И хотелось бы вернуться к Варлааму Петрову, сделавшему для Тобольска немало полезного и в этом городе умершего. Его никак не назовешь "мракобесом" или "носителем опиума для народа". И поныне бы он пекся, и народ должен ответить ему тем же. И ответили...

Знаете, где он похоронен? В северном приделе Софийского собора, там, где ныне размещается выставочный зал музея-заповедника. Северный придел служил издавна местом захоронений в приделе-усыпальнице, но нынешняя культура твердо держится на костях прошлого, причем в прямом смысле слова. Вспоминайте об этом, когда придете на очередную выставку.

...Вот и прошагали мы с вами через два столетия и



остановились накануне сразу двух юбилеев: народного образования и книгопечатания Сибири.

Как видите, наши предки не только о насущной пище думали, но и о духовной. Не всегда они встречали взаимопонимание и поддержку со стороны своих сограждан. Много трагедий скрыто за темными корешками книг, плодами их надежд и стремлений. Трудно поверить, но не искали они в том деле личной выгоды. Потому и помним мы их имена, переименовываем в их честь улицы. Последний из рода Корнильевых - Василий, родной дядя Д. И. Менделеева, уехал в 1810 г. в Москву, стал литератором. Был другом Дельвига, принимал у себя Пушкина, Погодина, Гоголя. Получил дворянство, был похоронен в районе храма Христа Спасителя. Теперь, как вы верно догадались, там находится бассейн "Москва"... Все-таки картинная галерея не в пример лучше. Как по-вашему?

Но вернемся к началу разговора о том, как приятно быть наследником культурных богатств. Конечно, никто этого отрицать не будет. Но в те ли руки богатство попало? Не те ли мы самые тоболяки, что некогда не захотели купить Корнилевский журнал, для них же изданный? А как вы сами думаете?

...Можно не открыть новый химический закон - его откроют через год, через сто лет. Можно не написать новую книгу - ее за вас напишут потомки. Можно не построить новый дом - проживем еще несколько лет в коммуналке. Допускаю, что можно не пустить в срок очередной завод - глядишь, потомки спасибо скажут и такой завод вообще строить не будут. Но разрушать историю народа, историю города, разрушать памятники и вдавливать каблуками в землю чьи-то могилы - недопустимо! Поскольку история человечества неповторима. Ее не прожить изнова, не повторить судьбы даже одного человека.

И мне бы не хотелось, чтоб потомки называли нас "идеологическими варварами" двадцатого столетия.

**Борис ГАБЕ**

## **Письмо глубокоуважаемым коллегам\***

Внимательно и с симпатией следя за деятельностью НТС, позволю себе, хотя я и посторонний, высказать одну существенную претензию к вашей деятельности, как, впрочем, такую же претензию можно сейчас предъявить практически всем политическим организациям страны, отстаивающим свободу и демократию. Нашему общему искреннему идеализму явно не хватает расчетливости и дальновидности. Как бы все они ни клялись (пусть и от души) в любви к своей стране, как бы ни агитировали за сохранение ее целостности, на практике по мере победы демократии дело неуклонно идет к распаду государства. Конечно, всем ясно, что во многом это дают себя знать давние, прежде всего межнациональные, противоречия. И хотя о неизбежности распада коммунистической державы трезвые аналитики предупреждали очень давно, нам сейчас от этого не легче. Уже развалился СССР и давно нет СЭВа с Варшавским договором. Вот уже и из Российской Федерации рвутся к независимости одни автономии, а другие используют угрозу начать борьбу за свой выход как средство давления на российские власти. Да и исконно российские земли одна за другой добиваются для себя особого статуса "свободных зон", и уже маячит на горизонте перспектива распада России на "удельные" республики. А в самом деле, если серьезно обсуждаются перспек-

---

\* Печатается в порядке дискуссии.

тивы восстановления ДВР (Дальне-Восточная Республика - *Ред.*) - этого политического фантома гражданской войны, то почему бы не возникнуть и какой-нибудь курской или тамбовской независимым республикам? А братья-демократы всех мастей (в том числе, к сожалению, и ваша многоуважаемая организация) ведут себя просто по-детски. Одни лепечут: "ребята, давайте жить дружно" и возлагают все надежды на то, что экономика всех объединит. Другие после всяческих призывов к мирному ненасильственному способу решения всех проблем, после небезуспешного в последние годы использования парламентских путей вдруг, как сорвавшись с цепи, требуют силой покончить с любым сепаратизмом.

Беспомощность первых неудивительна - нашим гуманным и благородным демократам давно уже не хватает трезвой конкретности. Они любят ограничиваться общими лозунгами и принципами, а конкретные задачи решают лишь тогда, когда припрет. И хотя во многом это связано с чрезвычайной стремительностью происходящих в стране изменений, да с тем, что информация о реальном положении дел стала у нас доступной только недавно, но и о личных качествах активистов и лидеров демократического движения забывать негоже.

Но вот о демократах, призывающих проблемы целостности государства решать силой оружия, хотелось бы поговорить особо. О безнадежности и опасности такого пути говорит и югославский, и молдавский, и азербайджанский опыт. Если политические деятели не учитывают его, то следует глубоко задуматься об их истинных целях и способностях.

Когда к аргументу силы призывают прибегнуть коммунисты - неудивительно. Что взять с полусумасшедшей Нины Андреевой, провалившегося Роя Медведева или теряющего союзный депутатский мандат Виктора Алксниса. Коммунистическая идеология - это прежде всего идеология абсолютной власти, и естественно, что коммунисты из числа "убежденных" готовы бороться всеми средствами за

сохранение аппарата этой власти - чиновничьей машины СССР. Ведь вне ее они как реальная политическая сила существовать не могут и их судьба в 1991 году это подтверждает.

Когда использовать силу призывают наши достаточно многочисленные расистские, фашистские, "патриотические" и прочие "нашистские" организации, - это тоже понятно. Их бредовые идеи нельзя осуществить иначе, как кровью, а сами их члены мечтают о сильном и едином государстве в рамках СССР не только потому, что таковы их идеалы. Не случайно всех их так тянет к военизированным формам организации структуры - обычно именно так проявляется честолюбивое политиканство тех деятелей, которые готовы рваться к власти любой ценой.

Но остальным пора бы знать - "идеи на штыки не улавливаются" и с соблазнами сепаратизма можно бороться, только противопоставляя ему другую, столь же соблазнительную, идею. А вот именно на этом-то уровне у всех демократов (и у вас тоже) наблюдается обиднейшая слабость. Во-первых, при обсуждении проблем будущего страны и ее единства много говорится об объединяющей силе традиций, культуры и прочего, о чисто политических делах - кого и как и куда выбирать, кому и кем командовать, как организовать власть и пр. - и очень мало говорят об экономике. А ведь именно она - отражение наших бытовых забот, и эти заботы для советского человека главные и, пожалуй, единственные. За годы коммунистической власти он утратил традиции, культуру, ощущение своих общих интересов и кроме забот сегодняшнего дня его ничто не волнует. Его реакции на те или иные повороты экономической ситуации страны будут в основном определять ее судьбу, а именно об этом почти ничего не говорят. Обсуждается один и тот же "джентльменский набор" проблем: легализация частной собственности, либерализация цен, приватизация государственной промышленности, торговли, жилья, земельная реформа, изменение в связи с этим законодательства да вероятность бунтов и возрожде-

ния компартии (или какой-либо иной тоталитаристской организации на ее месте) в связи с этим. Все уверены, что если успешно преодолеть эти трудности, то дальше дело пойдет само собой. Мол, взаимный экономический интерес снова стянет всех обитателей бывшего СССР (а то и СЭВа) в одну команду типа ЕЭС.

Но есть серьезные основания сомневаться в столь благоприятном исходе. Не говорю уже о том, сколько продлится процесс нового сближения. Ведь движущие силы процесса образования ЕЭС - предпринимательские круги Европы с их стремлением к расширению рынков сбыта своей продукции. Именно они, несмотря на свою малочисленность (около 5-7% трудоспособного населения), силою своего влияния и авторитета подвигли страны Западной Европы на этот интегральный эксперимент. В нашей же стране, несмотря на то, что реальная возможность заниматься предпринимательством существует уже несколько лет, даже в самых далеко продвинувшихся по пути освобождения от коммунизма регионах предпринимательством (в сколько-нибудь широком, далеко не общемировом смысле этого слова) занимаются менее одного процента трудоспособного населения. Сколько лет мы еще будем наращивать "предпринимательскую массу" и когда она начнет (если начнет) играть интегрирующую роль, неясно.

Весьма вероятно, однако, что процесс объединения может и не начаться. Ведь нынешний экономический кризис на одной шестой части суши связан не столько с происками "зловредных сепаратистов" и даже не только с бездарной и преступной политикой цепляющейся за власть коммунистической номенклатуры. Хотя, конечно, оба этих фактора нельзя сбрасывать со счетов. Но главное все же - исчерпание возможностей самой системы социалистического хозяйствования. Ее структура, вся система экономических связей была именно такой, какой она была, прежде всего потому, что центральная власть СССР создавала ее лишь для своего удобства. Ради сохранения возможностей без помех управлять всем в стране из Кремля и со Старой

площади расходовались все ресурсы державы. До поры до времени для этого хватало людских и даже (сейчас трудно это представить) сельскохозяйственных ресурсов. Но преступная власть истощила эти возможности и последние 20-30 лет грабила природу. Та ведь безответна, а плодами грабежа - выручкой от продажи за рубеж нефти, леса, золота, алмазов и т. п. можно было не только залатать дыры машины тоталитарной власти (прикупить техники и технологий и для государственного аппарата, и для народного хозяйствования), но и утихомирить подданных, купив им импортного ширпотреба и продовольствия. Но и этот ресурс хищнически исчерпан. Сырья добывается все меньше и оно все дороже достаётся, а на мировых рынках цена на него все ниже. Из-за нехватки выручаемой от продажи сырья валюты не только растет наш внешний долг, но и увеличивается нехватка импортного сырья и материалов. А ведь на этом работает весьма значительная доля промышленности страны.

Когда экономические субъекты вынуждены в условиях всеобщего распада своей самостоятельностью создавать хозяйственный организм заново, на первый план поневоле выходят чисто политические соображения. В делах приходится учитывать не столько экономические параметры сделки, сколько вероятность ее разрыва из-за политических пертурбаций. Разумному бизнесмену в таких условиях даже не хочется без острой нужды выходить за пределы своей республики. Ведь мало ли что может случиться в отношениях между "братскими народами" и их правительствами! Так что впереди у нас перспектива складывания нескольких самостоятельных региональных рынков на территории СССР. В каждом из них предпочтение будет отдаваться либо внутренним связям, либо таким внешним, в прочности которых не будет сомнения. А это значит, что новообразовавшиеся национальные республики будут стремиться не столько к развитию связей друг с другом, сколько к поиску партнеров в окружающем бывший СССР мире. Собственно, по этому пути уже пошла Восточная

Европа - наши бывшие сателлиты. Конечно, они не прочь развивать связи и с тем, что осталось от СССР, но это от нужды. А все их помыслы устремлены на Запад, в вождьенное ЕЭС. Так что рассчитывать, что экономика сама собой нас всех соединит, - не приходится. На обломках редко удается воссоздать старое здание - обычно как ни стараются, а выходит нечто новое, на предшествующее вовсе не похожее.

Но распад хозяйства союза на самостоятельные куски, каждый из которых - национальное государство - смотрит в свою "экономическую" сторону, еще полбеды. Ну, не хотят народы разных культур и языков жить вместе - лучше разойтись без войны, и экономика не должна быть этому препятствием. (Да она и не является, как это отмечено выше!) Куда страшнее, что подобная судьба может ждать и Российскую Федерацию. Причем я даже не имею в виду рвущиеся к самостоятельности автономии. Это само по себе чудовищно тяжелая проблема, где перемешано и реальное стремление народов к независимости, и интриги местных властителей, и глупость российских правителей. Но допустим, что и это как-то удастся решить, пусть даже (хоть и очень этого не хотелось бы) путем "ухода" части "строптивцев". Ужасно, что это не остановит процесс дробления России и распад может пройти, скажем, по границам областей, прямо по живому телу страны.

Причины такой тенденции очевидны: как бы стремительно ни проводился в жизнь вышеупомянутый экономический "джентльменский набор", опыт Англии 80-х и Польши, Венгрии, Чехословакии, ГДР последних лет говорит о том, что нас ждет долгий переходный период. В ходе него слой частных собственников и независимых предпринимателей будет расти медленно и постепенно, а государственная власть и проводимая ею политика будут играть решающую роль во всех экономических процессах. Предвидя при этом неплохую поживу, местные власти так и норовят остаться в своем регионе независимыми царьками. Ведь все рассчитывают на торговлю не столько с ближ-

ним соседом (именно для организации такой торговли нужно единое государство), сколько с заморской купчиной. Ну, а так как прибылью делиться неохота, то и бьются демократические и партократические местные вожди за особый статус подведомственной им территории.

Если бы основу нашей экономики составляло не разваливающееся тоталитарное хозяйство, а многочисленные средние и мелкие деловые структуры, опасность вышеуказанного процесса была бы не слишком велика. Конечно, относительно слабое развитие внутренних деловых связей и перевес экспортно-импортных операций - нехороший признак. При малейшем изменении международной конъюнктуры будет происходить острый кризис народного хозяйства страны и чем это будет чревато в политике? Но все мелкие независимые производственные и торговые экономические субъекты на связи с границей работать не могут. Так что внутренний рынок "обречен" не только существовать, но и развиваться, пусть и не так быстро, как он мог бы это делать в иных условиях. Однако сейчас в России господствуют (и еще многие годы будут господствовать) именно крупные хозяйственные структуры. Не говорю уже о крупных и сверхкрупных заводах - достаточно вспомнить о министерствах и ведомствах с их связями и влиянием. А тут еще любимейшим приемом приватизации у наших реформаторов является акционирование, так что и "экологическая ниша" для старых номенклатурных знакомых готова. Прежние руководящие команды назовут себя банками и холдинговыми кампаниями и после некоторой перетряски кадров благополучно будут "володеть и княжить" по-прежнему, прибрав к рукам контрольные пакеты акций бывших подведомственных предприятий. Многократно упоминаемая ныне опасность "номенклатурной" приватизации не в том, что вчерашние партократы станут новыми рябушинскими и путиловыми на награбленные деньги. Если они сделают это каждый в отдельности, - помогай им Бог. Беда только, что эта публика, пройдя соответствующий отбор и жизненную школу,



не способна действовать в одиночку и быстро соберется в стаи с новыми названиями и прежней сутью.

Чтобы выжить, такие структуры будут вынуждены активизировать экспорт сырья. Отсталость нашей технической базы, неповоротливость управленцев, наша неопытность и неумение отслеживать конъюнктуру - все это не позволит им экспортировать готовую продукцию из-за ее "конкурентоспособности" еще много лет. Значит, нас ждет еще более чудовищная, чем сейчас, вакханалия разграбления природных ресурсов ради того, чтобы перестроившаяся партократия могла сохранить свое прежнее положение.

Но и этого мало. Нельзя ждать от вчерашних парт- и хозбоссов, что они будут на мировом рынке хорошими дельцами. Скорее всего они постараются найти себе постоянных партнеров по экспортным сделкам. Каждая региональная группа партократических квазидельцов будет иметь дело со своей группой партнеров - так питерские партократы, собравшиеся вокруг "демократического" мэра Собчака, отчаянно налаживают контакты с французами, норовя им всучить оптом чуть не весь город. Стремление к независимости местных властителей получит подкрепление в виде ресурсов и возможностей их богатых зарубежных партнеров: ведь там тоже легче иметь дело с мелкими и потому слабыми региональными "царьками". Все это лишь ускорит процессы распада (сначала экономического, а затем и политического) России.

Можно ли что-либо противопоставить этим губительным тенденциям? Несомненно да! Для начала следует осознать, что именно нынешний упор на развитие международных хозяйственных связей, упор на привлечение в страну иностранного капитала неизбежно ведет к ее распаду. Ведь роль власти в нашей экономике еще десятилетия будет весьма велика, а при этом неизбежна борьба местных властей с центром за влияние на хозяйственные процессы. Так же неизбежно будет в этом случае массовое вмешательство в эту борьбу мощных "игроков" из-за рубежа, любителей ловить рыбку в мутной воде.

В то же время нужно помнить, что стопятидесятиmillionная Россия - сама по себе достаточно емкий рынок и может (по крайней мере в нынешний переходный период) развиваться в значительной мере самодостаточно. Ведь нам сейчас важно не достичь "передовых рубежей" в технике, технологии и потреблении (пора уже осознать, что с нашими проблемами нам до этих рубежей шагать еще годы и годы), сколько приложить все силы для создания гибкого и эффективного хозяйственного механизма. Ради этого придется поступиться достигнутым (тем более, что достижения держались на "нефтедолларах", которых больше нет) и пойти на предельно допустимую примитивизацию экономики. Пусть доступными для граждан и отечественных дельцов станут на этом этапе лишь потребительские товары и техника уровня 50-60 годов, а современные импортные вещи и оборудование будут безумно дороги - лишь бы этот "примитив" изготавливался независимыми фирмами, способными и желающими гибко удовлетворять покупательский спрос. Будут во множестве такие товаропроизводители - будет и возможность достаточно быстро преодолеть отсталость.

Но для массового возникновения таких фирм необходимо создать соответствующие условия. Необходимо, во-первых, сохранить единство российского рынка, а для этого нужно вести решительную борьбу с квазикommerческими партократическими структурами, особенно на региональном уровне. Требуется пресекать их поползновения стать монополистами и добиваться разорения и гибели уже существующих посткоммунистических олигархий. Для этого необходимо, во-первых, ограничить международные экономические связи страны, а во-вторых, свести к минимуму сами возможности овладения "командными высотами" экономики. Последнее необходимо сделать как через жесткое ограничение и даже свертывание процесса акционирования предприятий и купли-продажи акций, так и через опережающее развитие мелкого и среднего банковского бизнеса. Этим мы ограничим саму возможность пре-

вращения партократических мафий в холдинговые кампании и суперкрупные банки и дадим простор для развития действительно независимого предпринимательства. Следует не забывать, что складывающийся сейчас путь экономического развития от крупных структур к мелким через систему дочерних фирм, кабальных кредитов и сильного иностранного влияния Россия уже проходила в конце XIX - начале XX века и ничего хорошего из этого не вышло. Нужно принять все меры для того, чтобы едва начавшаяся возрождаться экономическая жизнь страны не попала под контроль олигархии (а точнее, региональных олигархий) известного происхождения. Помимо вышеуказанного, это можно будет сделать путем обложения экспортно-импортных операций высокими таможенными пошлинами и постановкой потока иностранных капиталов под жесткий общественный, чиновничий и депутатский контроль. Это ограничит возможности олигархических групп и будет способствовать если не их гибели, так распаду.

Необходимо сделать оговорку - ограничение международных связей не означает жизнь в изоляции. Не говоря уже о культурных, научных, спортивных и иных связях, которые безусловно необходимо развивать без всяких границ, и в экономике необходимо добиться лишь сведения этих связей к разумному, на сегодняшний день, минимуму. Необходимо добиться, чтобы наша традиционная экспортная продукция - сырье - уходила за границу лишь в таких количествах, которые обеспечивают импорт только абсолютно необходимого. За последние 20 лет мы все привыкли к определенному жизненному уровню и сейчас ради его сохранения стремительно проедаем все наши ресурсы. Такая практика должна стать экономически невыгодной и эффективно сделать это можно, только обложив экспорт и импорт высокими пошлинами. Расширение же международных связей при этом станет возможным лишь по мере диверсификации нашего экспорта за счет готовой продукции - недорогой, качественной и конкурентоспособной. Ну, а это станет возможным только после

окончательного оздоровления нашей экономики, и массовый успешный прорыв наших товаров на мировые рынки станет точным признаком такого оздоровления. Произойдет это не раньше, чем через многие годы - ведь нужно время, пока наши предприятия, реорганизовавшись технически, экономически и даже социально, смогут начать выпускать конкурентоспособные товары и вообще следовать законам рынка.

Ближайшие годы, а точнее даже десятилетия, будут временем переходным. Оно будет характеризоваться длительным сосуществованием государственных и частных экономических структур. При этом каждый участник хозяйственной жизни будет добиваться прежде всего (и это естественно) своих узкоэгоистичных целей, а власть должна будет не только, как во всем мире, гармонизировать их отношения, но и направлять развитие страны таким образом, чтобы госсектор сокращался, а частный рос. К тому же еще следует помнить, что подобные процессы идут негладко, велика вероятность социального взрыва, как следствия неизбежных на этом пути трудностей. Пройти все эти рифы без катастрофы - нелегкое дело для любой страны, а уж для нашей, с ее тяжелой "наследственностью", это тяжело вдвойне.

Уточним, от чего к чему будет этот переход? Если ограничиться только экономикой - это будет переход от централизованной плановой экономики, неэффективной и саморазрушающейся, к рыночному хозяйству свободного предпринимательства. Иного нам просто не дано, а политические и социальные идеалы, достижение культуры, традиции и нормы морали могут существовать лишь тогда, когда имеется здоровая экономическая база. Иначе, как это было показано выше, тенденции распада найдут себе идейное оправдание и форму.

Но здоровая экономика сама существует лишь тогда, когда общество - не масса казенных винтиков, а живой и полнокровный организм со всем разнообразием социальных слоев и групп. У нас же сейчас есть лишь разнообра-

зие должностей на казенной службе, а значит основной целью экономической реформы должно стать не столько обеспечение экономического роста или повышение жизненного уровня страны вообще, сколько создание условий для социальной перестройки общества. Естественно складывающуюся социальную структуру общества коммунисты 74 года уродовали абсолютно беспощадно. В результате в стране исчезли целые общественные слои и только сейчас с трудом идет их восстановление. Особенно пострадало крестьянство и предприниматели - их как класс уничтожили полностью, даже если их представители уцелели как личности. Чуть легче, но тоже весьма тяжело, пришлось городскому мещанству - ремесленникам и мелким торговцам. Им, пусть и "на нелегальном положении", удалось выжить как социальной группе и они сейчас растут в числе, хотя их еще очень мало. А ведь именно крестьянин, лавочник, ремесленник, мелкий и средний купец и предприниматель составляют основу среднего класса - фундамента любого здорового общества. Необходимо создать условия для опережающего развития именно этих слоев, как бы ни были важны остальные социальные группы. Иначе страна так и будет обречена метаться между всевластием олигархий (чиновных или состоящих из крупнейших дельцов) и разгулом люмпенизированных масс. Возрождению этому мешает как своекорыстно и реакционно настроенная власть, так и стремящиеся к монополизму структуры, основанные на старых партократических связях. Устранить эти препятствия - вот задача, которую должны ставить перед собой люди, думающие о возрождении России.

Эти строки я пишу прежде всего потому, что мне известно о стремлении НТС разработать новую программу, соответствующую изменившимся условиям. Надеюсь, что мои соображения окажутся для вас небесполезны. Но одновременно хотелось бы предостеречь вас от спешки, ведь во время идущей сейчас перестройки всей системы цен и хозяйственных связей легко попасть впросак. Программ-

ные документы требуют определенной доли конкретики, а в нынешней сумятице назвать конкретные долгосрочные (и даже средне- и краткосрочные) цели можно будет еще нескоро. Пусть уж лучше новая программа НТС появится чуть позже, но зато это будет документ на долгую перспективу.

И еще одно замечание хотелось бы сделать напоследок. До недавнего времени главным врагом страны была управлявшая ею машина тоталитарной власти компартии. Подрыв ее могущества в борьбе идей был основной задачей всех независимых политических организаций и групп вне различий их идеологических принципов. Но вот дело сделано, КПСС рухнула, и хотя еще существуют ее весьма крупные обломки, но, как любил говорить первый и последний президент ныне покойного СССР, "процесс пошел". На месте прежней незыблемой пирамиды управленческого могущества - обломки административных структур, хозяйственных связей, государственных служб, идеологий, культур и т. п. Ныне практически все российские политические организации (за исключением, пожалуй, лишь анархистов) провозглашают, что они намерены этот хаос упорядочить и предлагают свои рецепты. Опасность расширения и углубления распада очевидна всем, но слишком уж многие при этом подходят к этой проблеме с чисто формальных позиций. Слов нет, сохранить единство таких государственных структур, как целостная административная власть, единая армия, общие финансы, налоги, таможня и пр., весьма важно, но ведь это все - формальные части государственного организма.

Судьба государства решается не путем перекройки границ и управленческих систем. Его фундамент - желание граждан жить вместе на некоторой территории и противопоставление интересов и традиций всех на этой территории обитающих интересам и традициям всех находящихся вне ее. Раньше такое противопоставление находило выход в бесконечных войнах, но XX век показал как гибельность этого пути, так и возможность перевода межгосударствен-

ного соперничества в мирные формы. Торговые войны и экономические союзы, культурная экспансия одних и кризисы культуры других стран - все это, если участники этих процессов заранее считают для себя невозможным прибегать к аргументам силы, ведет лишь к общему росту богатства человечества. Но для того, чтобы Россия смогла полноправным участником, а не мелкими обломками войти в этот мир работы, соперничества и сотрудничества, всем ее обитателям необходимо осознать себя единством. Причем таким единством, которое одновременно и противостоит окружающему миру культурно и экономически, и в то же время тысячами нитей неразрывно с этим миром связано. Только так Россия сможет сохранить свою целостность и самобытность и при этом избежать войн как со старыми и новыми соседями, так и между борющимися за власть кланами внутри себя. Военное решение российских проблем было бы губительно для нас. Если после той гражданской войны на 74 года воцарились террор и нищета, то страшно даже подумать, что может произойти сейчас.

Никакая позитивная деятельность в стране не будет возможна до тех пор, пока не установится некоторое общее согласие о том, что необходимо делать для того, чтобы сохранить и упрочить государство российское. Но и далеко не всякое согласие полезно - иные идеи, "овладевшие массами", становятся не созидательной, а разрушительной и губительной силой. Таково, по моему твердому убеждению, и нынешнее стремление подавляющего большинства политической элиты страны во что бы то ни стало немедленно включить Россию в мировую экономику целиком и полностью. При этом не учитываются ни реальные возможности страны участвовать в международном разделении труда, ни социальные и экономические последствия такого участия, ни даже политическое и психологическое состояние нашего общества. Ведь чтобы такое включение не стало гибельным для страны (а примеров тому множество в истории "третьего мира"), от ее граждан требуется

определенная патриотическая самоотверженность. И чем беднее страна, тем более самоотверженны должны быть ее обитатели для того, чтобы вытащить свое государство из ямы. Мы же за 74 года власти коммунистов привыкли кланяться подачки у казны, уворачиваться от исполнения своего гражданского долга и ныне, когда ситуация изменилась, продолжаем делать то же. Разве что еще к этому добавилось наше яростное желание побыстрее растащить (простите, приватизировать!) все казенное имущество. Не удивительно, что сейчас любые авантюры проходят "на ура", а попытки противостоять авантюристам воспринимаются зачастую как борьба зловредных личностей с народными любимцами.

До тех пор, пока нынешнее общее согласие на разрушение, на борьбу каждого за сохранение или обретение личных привилегий не сменится согласием на созидание, толку у нас не будет. Но такое согласие должно вырости, обрести форму и овладеть умами большинства. Возможно, что именно на базе противопоставления интересов обитателей России интересам обитателей других стран в области экономики и удастся построить такое созидательное согласие. Во всяком случае при нынешней посткоммунистической деморализации общества примитивные экономические интересы — единственные, которые еще по-настоящему заботят советского гражданина.

Мне кажется, что только те политические движения, которые поймут это и сумеют ясно и точно донести до людей это свое понимание, обретут будущее. Остальные же либо канут в небытие, либо останутся в вечной и безнадежной оппозиции. Очень бы хотелось, чтобы вашу организацию минула эта печальная судьба.





### Авось и повезет\*

Странное дело – есть поэты, барды, авторы песен, читая которых глазами, в отличие от восприятия на слух, не находишь никакой разницы.

Нет разницы в восприятии аудио и видео.

Лично я знаю трех таких авторов – Александра Галича, Булата Окуджаву и Веронику Долину.

Другие остаются лишь голосами. А жаль!

Первое подобное разочарование пришло после чтения глазами стихов-песен Владимира Высоцкого, затем – многих других, и вот новое разочарование – книга Юлия Кима.

Вот еще одна странность – все последние десятилетия, которые сегодня обзывают "застойными", песни Кима звучали во многих фильмах и спектаклях – что и сделало по существу ему имя.

Странно, не правда ли?

Вроде знали его в одной плеяде с Визбором, Городницким, Анчаровым, Якушевой, Матвеевой, Галичем, и вдруг – голос с официального экрана!

А что прикажете делать? Чем мы жили в свободное время от зачитанных копий "Архипелага" и подписания всевозможных писем в защиту и протеста? Жили мы с вами, друзья, телевизором и не будем от этого отнекиваться.

А с телевизора нам пел Ким – не сам, а всевозможными голосами – Бумбараша, Мюнхаузена, героев "Обыкновенного чуда", Гулливера, Остапа Бендера, Красной Шапочки, Буратино, волшебников, чародеев, Мэкки Мессера и множества других.

Мы пели и вместе с ними, и после того, как герои уходили из памяти. А песни оставались. Хорошо это? Хорошо. Значит, песни хорошие.

Он написал несколько мюзиклов, из которых конечно, самый замечательный, это – "Недоросль", полувольное изложение Фонвизина.

---

\* Юлий Ким. Летучий ковер. Песни для театра и кино. М., "Киноцентр", 1990.

Эх, да что вспоминать! Эх, да что цитировать, хотя и хочется -

"Приходит день, приходит час,  
Приходит миг, приходит срок...  
И рвется связь.  
Кипит гранит, пылает лед,  
И легкий пух сбивает с ног -  
Что за напасть?  
Вдруг зацветает трын-трава,  
Вдруг соловьем поет сова,  
И даже тоненькую нить  
Не в состоянии разрубить  
Стальной клинок!"

("Волшебник")

"Как приятны интимные встречи!  
Как приятна любезная речь...  
Но - тушите, пожалуйста, свечи,  
Если пламя хотите зажечь!"

("Романс Люси")

"Я не разбойник  
И не апостол,  
И для меня, конечно, тоже все непросто,  
И очень может быть,  
Что от забот моих  
Я поседею раньше остальных.  
Но я не плачу!  
И не рыдаю!  
Хотя не знаю, где найду, где потеряю,  
И очень может быть,  
Что на свою беду  
Я потеряю больше, чем найду!.."

("Остап танцует фокстрот")

Как приятно преобразиться - войти в матрицу известного или неизвестного тебе литературного героя, как здорово побыть немножечко другим, чужим, в других, иных, не советских мирах и измерениях, где всё давно разложено по полочкам другими - писателями, режиссерами, драматургами.

Но ведь Юлий Ким мне лично известен совсем в ином качестве. Нет, не в качестве диссидента, хотя его известное письмо, подписанное также Петром Якиром (его тестем) и Ильей Габаем (его другом и сокурсником) в свое время (1968) прозвучало светло и мужественно.

Я помню его песни - "Разговор двух стукачей", "Четырнадцать лет попал пацан в тюрьму...", помню, как мы, гордясь и пугаясь собственной смелости, пели в общежитии:

"Всю Россию до небес  
раскачал НТС!  
Эх, раз, еще раз,  
еще много, много нас!"

И никто не думал, что путь Кима будет иным, чем путь Галича, ведь Ким был "свой".

Обманчивая поза своего. Для кого свой? Для мира инакомыслящих - свой для мира либеральных писателей - свой, для мира театра и кино - свой. Хорошо или плохо, если ты всюду свой?

У Кима никогда не стояло альтернативы - борьба или смирение, эмиграция или сдача. Он хотел работать и остаться в искусстве в тех условиях, которые существовали на тот момент.

И он сделал выбор.

Потому двадцать лет мы имели замечательного автора текстов песен композиторов Дашкевича, Гладкова и т. п. - Ю. Михайлова и не слышали песен Юлия Кима.

Галич выбрал свободу и был убит за нее.

Окуджава писал исторические романы.

Высоцкий играл в театре.

Анчаров рисовал.

Визбор снимался в ролях Бормана и прочих злодеев.

Городницкий исследовал дно Атлантического океана и стал доктором наук.

Все, кто остался в России, в свободное от основного занятия время занимались стихами и песнями. Ибо в *той ситуации* стихи и песни становились *не основным*, они не могли одновременно быть душой и телом, то есть творчеством и хлебом насущным.

То, что вырывалось к слушателю - случайное, прорвавшееся через сеть цензуры и паутину подозрения, - не делало погоды. Терялось в общей массе расхожей серятины.

Ким ушел в подполье подтекста.

Правда, подтекст все видели, но делали вид, что так и полагается, дескать, у нас свобода, дескать, здесь другая эпоха, нечего аллюзии наводить.

Потому у Кима и белел "парус такой одинокий на фоне стальных кораблей". Потому он и бежал в иронию, которая уже не спасала не только его или его лирических героев, но

слабела из года в год. Нет, не столько у автора, сколько в восприятии.

И потому, как бы капризная Маша ни плакала о чижики, который всё сидит в клетке, не поет, не скачет, а плачет, в ответ ей –

”Ах, Машенька–Маша, да ты посмотри,  
Какие проблемы вокруг и внутри:  
Хлеба не родятся, клокочет Бейрут,  
Тайфун над Флоридой – и страшно крадут!  
Пора избавляться от прошлых отрыжек!”

то помнишь, песня сия 1989 года, а не 1969 года, и нет ни преград, ни причин против ее написания и исполнения.

Если раньше песенный подтекст (если он оставался после цензурной правки) действовал в ключе сопротивления режиму, если сатира насквозь была социальной, если протест шел через сам факт подобного жанра, – то сегодня подобный текст не только архаичен, но и смешон.

В интервью Алле Гербер, опубликованном в той же книге, рассуждая о Высоцком и Галиче, сравнивая их, Ким невольно проговаривается: ”В серьезной поэзии вся патетика и лирика Галича совсем другие. А в балладах типа ”Письма из сумасшедшего дома” или ”Ой, Вань, гляди, какие клоуны” – там много общего. А знаешь, в чем причина колоссальной популярности Высоцкого? Его любили все – и народ, и начальство. А Галича – нет. ”Мадонна шла по Иудее” – далеко не все слушают. А Высоцкого – все”.

Мне лично ближе тот, кого начальство не любит и не слушает. А Юлию Киму – наоборот. Может, и ему захотелось, чтобы его слушало начальство, а не только завсегдатаи московских кухонь? И сила Высоцкого не в том, что он будто бы выразил какое-то чувство НЕСВОБОДЫ (Высоцкий был человеком, далеким от подобных материй), он был последним романтиком уходящего века. Мнение субъективное, я привожу его в контексте высказывания Кима.

Мы поняли главное – есть два пути: путь подцензурного творчества, путь т. н. ”промежуточной литературы”, и путь литературы нецензурной – не в смысле матерных выражений, а в смысле – литературы ”в стол”, в Самиздат, в Тамиздат.

Опять же повторяю: свой путь Юлий Ким выбрал – литература промежуточная, подцензурная, вся на подтексте, на аллюзиях, на намеках.

И тут возникает вопрос – а была ли ЛИТЕРАТУРА?

Литература – то, что глазами.

Глазами, правда, можно и театр, и кино, и массовые праздники на Красной площади и в Лужниках.

Но на слух – не литература (я не беру радио – здесь разговор особый). На слух – песня, песенка, шутка, шуточка, байка, баллада, ария.

Всё время ловишь (не себя, а автора!) на... советскости.

Не хочется употреблять модный термин "совок".

Будто рвется из души у него такое наболевшее, что дальше нельзя, вот-вот выкрикнет, вот-вот выскажет – ан нет.

Редко-редко выплеснется настоящее, да и то – из "Московских кухонь" – то есть из страдальческого, ностальгического мюзикла, то есть не из *самостоятельного*, а из *заданного* *заранее* – сюжетом, композицией, образом персонажа.

"Россия, мать чудная,  
Куда? Откуда? Как?  
Томленье непробудное,  
Рывки из мрака в мрак?  
Труднее и извилистей  
Найдутся ли пути?  
Да как же столько вынести,  
Чтоб сызнова идти?  
О, черные маруси!  
О, Потьма и Дальстрой!  
О, Господи Иисусе!  
О, Александр Второй!  
Который век бессонная  
Кухонная стряпня...!"

Но ведь и эта песня несвойственна Киму! Ведь тут явная перекличка с Галичем!

"Горькой горестью мечены  
Наши тихие плачи –  
От Петровской неметчины  
До нагайки казачьей!  
Птица вещая – троечка,  
Тряска вечная, чёртова!  
Не смущаясь ни столечка,  
Объявилась ты, троечка,  
Чрезвычайкой в Лефортово!"

А. Галич. "Русские плачи"

Но дело не в похожести, у Кима – иная боль, иная нота,

чем у Александра Аркадьевича. При всей близости сатирических песен Галича и Кима, эффект различен. После песен Галича – мурашки по коже и волосы дыбом, после Кима – улыбка и ухмылка, чувство, что тебя обманули в ожиданиях.

А может, песни и не надо печатать книгами, пусть останутся на магнитофонных кассетах нашей юности.

**Г. Чистякова**

## **Изнутри и снаружи\***

Андрей Караулов – человек известный в журналистском мире. Бывший театральный критик (довольно приличный, к слову) неожиданно, еще работая в редакции журнала "Театральная жизнь", стал публиковать интервью с некоторыми "сильными мира сего". Притом, не только с теми, кто БЫЛ таковым, но и кто СТАЛ. Так среди его героев оказались бывший председатель КГБ В. Е. Семичастный и нынешний (на время интервью) первый заместитель председателя КГБ Ф. Т. Бобков, бывшие члены Политбюро ЦК КПСС П. Е. Шелест, и Г. В. Воронов и мэр Санкт-Петербурга А. А. Собчак, и прочие другие, среди которых много людей известных – Андрей Битов, Юрий Власов, Сергей Аверинцев, Мария Розанова и Андрей Синявский, и так далее.

Книга интервью – явление новое для отечественной публицистики, в отличие от Запада, где даже на русском языке известны такие книги, как "Мастера" Б. Езерской или книга Соломона Волкова.

Время в России движется настолько быстро, что публицистика за ним не успевает, не говоря о полиграфии.

Тем интереснее читать и перечитывать книгу А. Караулова через полгода после ее выхода, когда "Вокруг Кремля" превратилась из модной книжки в сугубо историческую.

"Перестроечный" пафос большинства диалогов сегодня не то чтобы смешон, но наивен. Но в контексте крушения тоталитарного общества наив перерастает в абсурд, абсурдность не только утверждений героев, но и абсурдность всего времени, породившего их.

Станислав Куняев рассуждает о злобе, "которая душит

---

\* А. Караулов. Вокруг Кремля. М., "Новости", 1991.

нас". То есть сам Куняев и его журнал здесь ни при чем, во всем виноваты некие враги: "Сейчас такое драматическое время, когда ты как гражданин просто обязан выложить обществу и народу пакет (!!) своих убеждений; сегодня, как говорится, "не до жиру – быть бы живу". То, что ты не можешь позволить себе как поэт или как мыслитель, ты делаешь как гражданин. Вот и получают ножницы: скажем, решаешь какую-то конкретную проблему и постоянно ловишь себя на мысли, что, если бы время было стабильное и духовно насыщенное, ты бы не торопился, решал бы ту же самую проблему более глубоко, более объемно, что ли".

Логика убийственная.

Что значит духовно насыщенное время? Сегодня оно иное? А когда духовность была? В "застое"? Зря, наверно, Василий Аксенов называл их "чугунными десятилетиями"...

Тут уж Куняев просто смыкается с бывшим главным чекистом Семичастным:

"И ведь при Брежневе всё хорошо начиналось. На Пленумах ЦК шли открытые и доверительные разговоры... Подгорный (как теперь стало известно) решил, что нужно укрепить авторитет генерального секретаря, и вокруг Брежнева создали такую атмосферу, что он сам обалдел от своего величия. А ведь прежде Брежнев был не таким. Никакой тяги к "звездному дождю" у него не было. А мы, к беде нашей, не разглядели вовремя, как ловко он расставляет свои кадры, окружая себя холуями и подхалимами".

Вот как плохо случилось – не слушался бровеносец мудрых аппаратчиков и зазнался, а если бы слушался – хороший коммунизм бы настал...

Сегодня, когда в прошлое ушел отец тоталитарных режимов – коммунистический Советский Союз, очень любопытно читать о тех, кто насаждал и проповедовал доктрину коммунизма.

А еще больше интереса вызывают сегодня те, кто буквально несколько месяцев – нет, уже пару лет, а не месяцев! – всеми силами пытался идеологически поддержать миф о хороших коммунистах, о "социализме с человеческим лицом", реформировать систему, пожертвовать даже цензурой, но сохранить единую и неделимую империю.

Известный историк Владлен Логинов:

"Нас не смущает, что во время Великой Отечественной в тылу убивают предателей, диверсантов, гауляйтеров? А когда мы говорим о "красном терроре", мы тут же начинаем уверять себя, что это – предтеча сталинских репрессий. Всякое насилие над человеком и всякий террор есть зло. Но есть и принципиальные различия".

Вот ведь как можно противоречить самому себе в одной фразе! Террор есть зло. Хорошо, согласны. Но есть и различия. Так зло или различия? Как интересно объясняет Логинов свою позицию:

"Террор в условиях открытой, в том числе гражданской, войны – это одно. А сталинский террор, направленный против своего народа, проводившийся в иных условиях, – это совсем другое".

Ах, как трогательно! Ах, какая разница между расстрелянными миллионами дворян и миллионами большевиков-сталинцев-ленинцев! А то, что человек – чудо и лишение его жизни есть зло – такая аксиома не приходит в голову "прогрессивному" историку?

Как тут не вспомнить циничную записку Дзержинского: "Лишение свободы повинных людей есть зло, к которому в настоящее время необходимо еще прибегать, чтобы восторжествовало добро и правда. Но всегда нужно помнить, что это зло..."

Просто философ, а не главарь политической полиции!

Как тут не вспомнить "поэта" Андропова, пописывающего вирши в перерывах между подписыванием инструкций по ликвидации диссидентов.

Вот уж точно – "землю попашет – попишет стихи". Удивительно общее свойство у многих бывших номенклатурщиков – они энергично оправдываются. И не просто оправдываются, отменяя от себя всевозможные грехи, но и активно наступают – они *уверены*, что их время не прошло, что их отставка временна, что всё – в той или иной степени – вернется на свои места.

*Ахромеев, маршал*: "Наши вооруженные силы – это лучшие вооруженные силы в мире... В связи с тем, что в обществе идет перестройка, стали открыто проявлять себя антисоциалистические силы, прекрасно понимающие, что только армия и партия могут помешать им решить те задачи, к которым они стремятся. Это и есть основная объективная причина того, что усилились нападки на Вооруженные Силы".

*Согдеев, академик*: "Я уверен, что настоящей (не липовой) государственной космической программы (и даже осмысленной концепции) у нас никогда не было. Никогда. Я ее, во всяком случае, ни разу в жизни не видел".

*Алиев, бывший член Политбюро ЦК КПСС*: "Все цифры, которые я назвал, взяты из официальных источников. Для того, чтобы опровергать официальную статистику, надо, наверно, приводить другие данные. Но ведь их же нет. Они не существуют, других цифр и быть не может, потому что всё, о чем я говорю – правда".



*Семичастный, бывший председатель КГБ:* "При мне никакой такой политики не было, мы закрыли въезд только Тарсису, был в Москве такой сумасшедший, который считал себя писателем, жил он недалеко отсюда на Беговой, и каждый вечер устраивал у себя на квартире пресс-конференции для иностранцев".

*Чурбанов, бывший заместитель МВД:* "Я никогда не поверю, чтобы наш комсомольский брат позволял себе что-то такое. Мы занимались каждый своим конкретным делом. У нас просто не было сил на всякого рода недозволенное времяпровождение".

Читаешь и просто удивляешься – какие светлые, чистые, ангельские души – никто из них не предавал и не продавал, никто не подписывал бесчеловечных приказов, никто не заставлял здоровых людей упрятывать в сумасшедший дом, никто не тратил государственных средств, не брал миллионных взяток, не жил в свое удовольствие!

Бесполезно прививать оспу телефонному столбу – аксиома.

Потому наивными кажутся попытки журналиста пробудить в своих экс-высокопоставленных собеседниках что-то похожее на раскаяние, на чувство ответственности, на... совесть.

Увы!

Создается впечатление, что эти люди всю свою жизнь прожили за забором, который прочно отгораживал их от страны, народа и вообще всего подлинного – чувств, страданий, радостей.

Ирреальность происходящего подчеркивает выбор объектов – вчерашние "вершители судеб", лица с мавзолея, а сегодня – пенсионеры или заключенный (Чурбанов).

Среди монстров, среди людей, исчезнувших так же внезапно, как и появились, то есть среди временщиков, среди серости и середняков, среди эмигрантов внешних и внутренних есть диалог с Инной Соловьевой, известным искусствоведом. На мой взгляд – самый человечный, самый искренний в книге. Без кокетства.

Ей, к примеру, жалко и Кагановича, и Чаушеску. И она отвечает изумленному интервьюеру (воспитанному в советской ментальности), почему она их жалеет.

"Мы вообще перестали жалеть людей – и плохих, и хороших. Тут нет разницы. Кагановича мне жалко, потому что он глубокий старик, он совершал ужасные вещи, служил делу ужасному, но это не значит, что его нельзя жалеть".

Но вот ведь разница между восприятием поколений, и не только восприятием, но и оценкой – общей, стереотипной, и

индивидуальной, личностной: на гневный протест Караулова, что-де Чаушеску и Каганович преступники, Инна Натановна Соловьева, человек, познавший и принявший христианскую мудрость, отвечает:

"Конечно. Преступники. Но есть же чувство сострадания, хотя бы чисто физического. Пожилому человеку закатывают рукав, меряют давление, а через пять минут на том же экранчике телевизора показывают мертвое тело. Не удивлюсь, если через 75 лет Чаушеску причислят к лику мучеников, благо он был православный. Всё возможно... Николай II, если бы его судили законно, был бы, вероятно, признан виновным. Одно 9 января 1905 года чего стоит. Другое дело – как он принял падение царства; есть замечательные мемуары Жильяра, человека, сопровождавшего его в Тобольск. Царь был мужествен и кроток. Говорят (как проверить?), встретил смерть действительно как святой. Очень хорошо, что люди способны забывать, прощать и жалеть".

Так как же быть? Забыть всё то, что принесла нам кровавая коммунистическая клика? Которая 75 лет издевалась над собственным народом? Которая превратила нашу богатейшую страну Европы в нищую развалину?

Мудрая женщина отвечает притчево:

"По сути дела, у нас не было бюрократии, у нас был некий слой людей, вытягивавших и пожиравших все живые силы. Он сам ничего не делал, высасывал – и всё. Сейчас ученые говорят о том, что будет, если растопится вечная мерзлота, – ползет весь метан, который под ней в мерзлом болоте скопился, и планета задохнется. Казалось бы: перестройка, как хорошо, не будет вечной мерзлоты, не будет бюрократии – вот сейчас на нас и лезет тот метан, который под этой мерзлотой был".

Да, страшно сколько скопилось взрывчатой и вонючей злобы. Да, страшно за тех, на кого она направлена. Страшно и за тех, кто в ее власти!

И дальше:

"Идея национального возрождения, патриотизм... Какие страшные деформации происходят с идеей, как она звереет в толпе! Не толпа от нее звереет, а именно она, идея звереет и превращается неведомо во что; синеет от злобы".

Как хорошо, что наш мир состоит не только из семичастных, алиев, чурбанов, ахромеевых и прочих "совков", но и из таких замечательных людей, как Юрий Власов, Инна Соловьева, Михаил Гефтер, Эрнст Неизвестный, Мераб Мамардашвили, Андрей Битов и другие герои этой и новых, еще не собранных в одну – книг Андрея Караулова.

*Г. Чистякова*

## Имеющий быть одиноким\*

В одних книгах стихов схватываешь строчки, позже забываешь откуда они. Из других – запоминаются строфы, а то и целые стихотворения. Иногда – бывает и такое – книга входит в сознание целиком, слитком, где, как говорится, ни убавить, ни прибавить. За одной книгой встает время, иссеченное пространством, или пространство, изъятое из времени. Одни книги многолюдны и многоголосы, другие отданы на откуп одной воле, одному голосу. По одним книгам проходишь, как по городу, знакомишься, вживаешься, чувствуешь себя собеседником, современником, соплеменником, плотью от плоти. В других – тесно, как в комнате, но эта теснота потеснима: входи, комнатный житель, поглядим из окна, так виднее.

Но вот – не город, хоть в городе, не комната – хотя в здании. Одиночка – геометрическая очевидность нашего века. И населения – то всего – одиночество. И голос его – одинок, и взгляд его – одинокий луч, скользящий по поверхности. Нет-нет и выхватит что-то извне, принесет с собою, опробует на свет, форму, вкус и отпустит с Богом. Не определить себя одиночеству через внешнее, ибо и оно – одиноко, вневременно и лишено объема. Одиночество одиночек, одиночных камер, одиночество мира, где всё разъято, где общение иллюзорно, а диалог с самим собою не отличим от монолога. И летит в пустоту крик о помощи и разбивается на пути о подобные, другими одиночествами брошенные крики. И никому, в конце концов, нет ни до кого дела

в промерзшей стране, где царапает снег  
на рассвете стекло, и никак не проснуться.

Тема прочерчена резко, линейно, без полутонов, графически жестко. А если где и кровит, то не плоть материала, а задетая по касательной инструментом плоть гравера. Тема развивается в вариациях, выходящих за пределы книги; в вариациях развивается и поиск себя по жизни, до жизни, по-смертно. Ибо найти себя и встретиться с собою – не одно ли и то же, что обрести собеседника и выйти из заговоренной камеры одиночества, явить себя миру, как и явить мир себе, уверовать в его целесообразную реальность? Но ненахождение себя ставит под сомнение и реальность существования,

---

\* Григорий МАРК. "Гравер"

его воплощенность. Оказывается "попытка рождения" не удалась, рождение оказалось мнимым, бытие не совпало с планом жизни, с ее высоким замыслом,

но я не готов оказался,  
и надо назад возвращаться.

Надо, но куда? Где это бытие обетованное? Что это – до-рожденье или послерожденье, жизнь вечная или вечная смерть, и чем, кем, как определяется готовность воплотиться? Сознание "имеющего быть одиноким" мечется, стереоскопически сливаются в нем две картины мира: ирреальная, где проносится в машине лицо умершей мамы, и реальная, по которой шагают "убийцы за правое дело". И не только сливаются, но и подменяют одна другую. Тот мир, где

пахнет плесенью и смертью  
от Москвы и до Китая,

насквозь небытиен, внеисторичен и лишен благодати. Он выпал в осадок истории и с ним им же порожденное одиночество заживо умерших и заживо нерожденных. Он – нагроможденье бездушных, механическидвигающихся, плодящихся, бесконечно множащихся личин, тем более старательно имитирующих жизнь, чем более очевидна их с нею несовместимость. А мир подсознания, предощущения, догадки, мгновенного прозрения, бытия на грани пробуждения, мир внутренний, за-таенный, глубоко интимный и ничем, кроме веры в сверх-сущность, не детерминированный оборачивается второй реальностью – единственной реальностью, где одиночество властно говорит в полный голос.

Книга полна сарказма, но беспощадность поэта одинаково безжалостна и к объекту, и к субъекту повествования. Внешнее – всегда внешнее: в жанровых ли сценах разгулявшегося по стране Лиха, в собственном ли портрете, в остранинном ли описании собственной болезни. Так пишется история выживания духа, одинокого духа вынужденного одиночества. Так пишется история поколения сломанного, но не сломленного. Так скрепляется в монолит книга, казалось бы, разноплановых и тематически разнонаправленных стихотворений. Так закрепляется традиция, пусть боковая, но все еще не опознанная и не изученная, явленная русской литературе в "Загробных песнях" Константина Случевского.

"Гравер" – не итоговая книга, но книга итогов. Ее не назовешь сборником избранных стихотворений в принятом пони-

мании, когда под одной обложкой собирается уже известное по прежним книгам. В дочитательской истории поэта они, несомненно, были. В читательской их нет. Собрать такую книгу не просто: это явка с повинной. Не к читателю, разумеется, – кто этот читатель? – а к самому себе, однако на лобном месте. И тут уж не до того, чтобы предстать медитативной лирикой только или развернуться в сквозящей ядом иронии балладе. Тут другой счет, как на исповеди, всё или ничего. И выбирается всё. И акварель, и капричос – одинаково в строку. И достигается то, до чего не дотягивают многие, пусть и более совершенные в других отношениях книги – цельность сознания, отсутствие позы и та последняя доверительность, которая только и возможна, когда кончается время и надвигаются времена.

*Валерий Петрович*

#### КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**Б е с е д и н** Виталий. 22 года. Закончил среднюю школу, отслужил в армии. Студент. Стихи начал писать с 15 лет. Живет в г. Ровно.

**Б о г о с л о в с к и й** Андрей. Прозаик. Живет в Москве.

**Л и н н и к** Юрий Владимирович. Доктор филологических наук. Поэт. Литературный критик. Автор многочисленных статей и книг. Собиратель и коллекционер. Живет в Петро-заводске.

**К у з н е ц о в** Леонид. Поэт. Живет в Челябинске.

**С а п о в** Вадим. Род. в 1950 г. После технического вуза работал инженером-гидростроителем. Затем закончил философский факультет Московского университета. Работает в Институте социологических исследований АН СССР. Сотрудник журнала "Социс".

**С м и р н о в** Алексей. Московский прозаик и поэт. В 1991 году вышла отдельным изданием с предисловием Бориса Чичибабина его поэма "Дашти Марго" – афганский реквием.

**С о л о в ь е в а** Мария Николаевна. Родилась в г. Чанчунь (Китай) в 1924 году в семье русских эмигрантов. В пятилет-

нем возрасте вместе с родителями вернулась в Россию. Среднюю школу окончила в г. Ленинабаде Таджикской ССР. В 1944 г. окончила геологический факультет Среднеазиатского университета, где ее учителями были такие выдающиеся исследователи, как К. Н. Вендланд (позднее Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн), А. Н. Криштофович, Б. Н. Наследов, В. И. Попов, О. И. Сергунькова. Под их руководством она обучалась позднее в аспирантуре. Работала в Узбекском геологическом управлении, затем в Москве, во Всесоюзном аэрогеологическом тресте, впоследствии перешла на работу в Геологический институт АН СССР. Исследования проводила в Тянь-Шане, Кызылкумах, Северном Памире, в западном секторе Арктики, а также на севере и в центре России. По специальности опубликовано около 130 работ. Писать как прозу, так и стихи начала давно, но почти ничего не публиковала, хотя отзывы приходили самые благоприятные.

**Т у р б и н а** Любовь. Род. в 1948 г. в Ленинграде. Более 20 лет живет в Минске, но пишет по-русски. В Минске выпустила два сборника стихов. Член СП.

**Ч и с т я к о в а** Галина. По образованию юрист. Занимается также литературной работой. Живет в Москве.

Подписано к печати 10.03.92. Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 16,9. Уч.-изд. л. 14,92. Тираж 15 000 экз. Цена 6 руб. Заказ 731.

Ассоциация совместных предприятий, международных объединений и организаций.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Отпечатано на Ярославском полиграфкомбинате Министерства печати и информации Российской Федерации. 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

## **ЖУРНАЛ "ПОСЕВ"**

**"Посев" - общественно-политический журнал, выходит за рубежом с 1945 года.**

**"Посев" участвует во внутрироссийской политической борьбе за право, свободу и справедливость. Эта задача определяет направленность журнала, который:**

**поддерживает российское освободительное движение во всех его проявлениях;**

**стоит на позициях национально-государственных интересов России;**

**участвует в обсуждении современных и будущих проблем российского государства (политических, экономических, социальных, идеологических, духовных);**

**стремится к выявлению в России конструктивных сил, осознающих необходимость оздоровительных перемен во всех областях жизни страны и готовых к активному участию в их проведении.**

**С 1976 года журнал "Посев" выходил также в виде ежеквартального издания, предназначенного специально для переправки в страну и распространения среди советских граждан за рубежом. С 1990 года сливаются два издания - ежемесячный "Посев" и его кварталное издание. "Посев" в новой форме будет выходить каждый второй месяц на 160 страницах.**

# Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Журнал выходит 4 раза в год.  
320 страниц в номере.

Цена отдельного номера:	17,50 нм
Годовая подписка: в издательстве	60 нм
через магазины	70 нм
в СССР	30 руб.
организации:	35 руб.

Московский адрес для подписок:  
129010 Москва  
Абонентный ящик 72  
В. Батшев  
тел.: 465-05-05

Расходы по пересылке за счет подписчика

## ПОСЕВ

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ**

(6 выпусков в год)

В розничной продаже:	10 нм
Годовая подписка:	50 нм
В Москве:	3 руб.

Подписную плату следует посылать:  
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG  
D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15